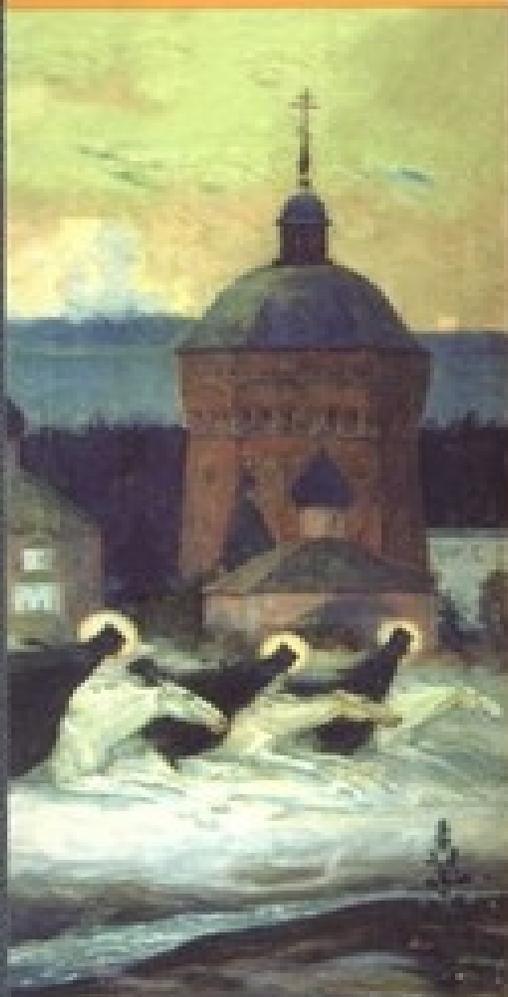


СКОПИН-ШУЙСКИЙ



Наталья
Петрова



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

В череде злодейств и предательств, которыми так богата история Смутного времени начала XVII века, князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский (1586–1610) являет собой один из немногих образцов доблести и чести. Замечательный полководец и умелый дипломат, он сумел очистить Московское государство от сторонников Тушинского вора, и в марте 1610 года — за два с половиной года до подвига Минина и Пожарского! — Москва с ликованием встречала его как своего избавителя. Князь пользовался всеобщей любовью, и кто знает, как повернулась бы история России и скольких бед и несчастий можно было бы избежать, если бы молодой и полный сил воевода, которому не исполнилось и двадцати четырех лет, не умер бы от загадочной и страшной болезни, по слухам отравленный завистниками, своими родичами, не желавшими делиться с ним властью... Автор книги, предлагаемой вниманию читателю, с нескрываемой любовью пишет о своем герое, воссоздавая историю его жизни на фоне драматических и трагических событий, происходивших тогда в России и за ее пределами.

- [Наталья Петрова](#)
- [ВСТУПЛЕНИЕ](#)
- [Глава первая](#)
 - [Дед](#)
 - [Отец](#)
 - [Воевода Скопин и фельдмаршал Делагарди](#)
 - [Со скипетром в руках](#)
- [Глава вторая](#)
 -
 - [Детство](#)
 - [Отрочество](#)
 - [Мать](#)
 - [Начало службы](#)
 - [Поход против самозванца](#)
- [Глава третья](#)
 - [«Смута в умах и смута на деле»](#)
 - [Мать царевича и ее «сын»](#)
 - [С мечом наголо](#)

- [Рыцарь нового государя](#)
- [Проходная пешка](#)
- [Московская свадьба](#)
- [Глава четвертая](#)
 - [«Шубник» на царстве](#)
 - [Первый бой стольника Скопина](#)
 - [«Шпыни» под Москвой](#)
 - [Воевода на «вылазке»](#)
 - [«Исход борьбы не определен»](#)
 - [«Тульское сидение»](#)
- [Глава пятая](#)
 - [Брянские вести](#)
 - [«Устав ратных дел»](#)
 - [Две свадьбы](#)
 - [«Шатость» на Незнани](#)
 - [Ходынская оплошность](#)
 - [«...И наполнилась чаша горечи полынной»](#)
 - [Шведская помощь](#)
- [Глава шестая](#)
 - [Переговоры](#)
 - [Мятеж во Пскове](#)
 - [Мятеж в Новгороде](#)
 - [Бегство](#)
 - [Строитель рати](#)
- [Глава седьмая](#)
 - [Выборгский договор](#)
 - [Якоб Делагарди](#)
 - [«Немецкая кованая рать»](#)
 - [Начало «очищения Московского государства»](#)
 - [Как полякам изменило счастье под Тверью](#)
 - [«Калязинское сидение»](#)
- [Глава восьмая](#)
 - [Александровская слобода](#)
 - [Благословение затворника Иринарха](#)
 - [«Троицкое стояние»](#)
 - [Конец Тушинского лагеря](#)
 - [Последний пир воеводы Скопина](#)
- [ПОСЛЕСЛОВИЕ](#)

- [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)
- [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ КНЯЗЯ МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА СКОПИНА-ШУЙСКОГО](#)
- [КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)
 - [33](#)
 - [34](#)

- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)

- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)

- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)

- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)

- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)
- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)
- [211](#)
- [212](#)
- [213](#)
- [214](#)
- [215](#)
- [216](#)
- [217](#)
- [218](#)
- [219](#)
- [220](#)
- [221](#)
- [222](#)
- [223](#)
- [224](#)
- [225](#)
- [226](#)
- [227](#)
- [228](#)
- [229](#)

- [230](#)
- [231](#)
- [232](#)
- [233](#)
- [234](#)
- [235](#)
- [236](#)
- [237](#)
- [238](#)
- [239](#)
- [240](#)
- [241](#)
- [242](#)
- [243](#)
- [244](#)
- [245](#)
- [246](#)
- [247](#)
- [248](#)
- [249](#)
- [250](#)
- [251](#)
- [252](#)
- [253](#)
- [254](#)
- [255](#)
- [256](#)
- [257](#)
- [258](#)
- [259](#)
- [260](#)
- [261](#)
- [262](#)
- [263](#)
- [264](#)
- [265](#)
- [266](#)
- [267](#)
- [268](#)

- [269](#)
- [270](#)
- [271](#)
- [272](#)
- [273](#)
- [274](#)
- [275](#)
- [276](#)
- [277](#)
- [278](#)
- [279](#)
- [280](#)
- [281](#)
- [282](#)
- [283](#)
- [284](#)
- [285](#)
- [286](#)
- [287](#)
- [288](#)
- [289](#)
- [290](#)
- [291](#)
- [292](#)
- [293](#)
- [294](#)
- [295](#)
- [296](#)
- [297](#)
- [298](#)
- [299](#)
- [300](#)
- [301](#)
- [302](#)
- [303](#)
- [304](#)
- [305](#)
- [306](#)
- [307](#)

- [308](#)
- [309](#)
- [310](#)
- [311](#)
- [312](#)
- [313](#)
- [314](#)
- [315](#)
- [316](#)
- [317](#)
- [318](#)
- [319](#)
- [320](#)
- [321](#)
- [322](#)
- [323](#)
- [324](#)
- [325](#)
- [326](#)
- [327](#)
- [328](#)
- [329](#)
- [330](#)
- [331](#)
- [332](#)
- [333](#)
- [334](#)
- [335](#)
- [336](#)
- [337](#)
- [338](#)
- [339](#)
- [340](#)
- [341](#)
- [342](#)
- [343](#)
- [344](#)
- [345](#)
- [346](#)

- [347](#)
- [348](#)
- [349](#)
- [350](#)
- [351](#)
- [352](#)
- [353](#)
- [354](#)
- [355](#)
- [356](#)
- [357](#)
- [358](#)
- [359](#)
- [360](#)
- [361](#)
- [362](#)
- [363](#)
- [364](#)
- [365](#)
- [366](#)
- [367](#)
- [368](#)
- [369](#)
- [370](#)
- [371](#)
- [372](#)
- [373](#)
- [374](#)
- [375](#)
- [376](#)
- [377](#)
- [378](#)
- [379](#)
- [380](#)
- [381](#)
- [382](#)
- [383](#)
- [384](#)
- [385](#)

- [386](#)
- [387](#)
- [388](#)
- [389](#)
- [390](#)
- [391](#)
- [392](#)
- [393](#)
- [394](#)
- [395](#)
- [396](#)
- [397](#)
- [398](#)
- [399](#)
- [400](#)
- [401](#)
- [402](#)
- [403](#)
- [404](#)
- [405](#)
- [406](#)
- [407](#)
- [408](#)
- [409](#)
- [410](#)
- [411](#)
- [412](#)
- [413](#)
- [414](#)
- [415](#)
- [416](#)
- [417](#)
- [418](#)
- [419](#)
- [420](#)
- [421](#)
- [422](#)
- [423](#)
- [424](#)

- [425](#)
- [426](#)
- [427](#)
- [428](#)
- [429](#)
- [430](#)
- [431](#)
- [432](#)
- [433](#)
- [434](#)
- [435](#)
- [436](#)
- [437](#)
- [438](#)
- [439](#)
- [440](#)
- [441](#)
- [442](#)
- [443](#)
- [444](#)
- [445](#)
- [446](#)
- [447](#)
- [448](#)
- [449](#)
- [450](#)
- [451](#)
- [452](#)
- [453](#)
- [454](#)
- [455](#)
- [456](#)
- [457](#)
- [458](#)
- [459](#)
- [460](#)
- [461](#)
- [462](#)
- [463](#)

- [464](#)
- [465](#)
- [466](#)
- [467](#)
- [468](#)
- [469](#)
- [470](#)
- [471](#)
- [472](#)
- [473](#)
- [474](#)
- [475](#)
- [476](#)
- [477](#)
- [478](#)
- [479](#)
- [480](#)
- [481](#)
- [482](#)
- [483](#)
- [484](#)
- [485](#)
- [486](#)
- [487](#)
- [488](#)
- [489](#)
- [490](#)
- [491](#)
- [492](#)
- [493](#)
- [494](#)
- [495](#)
- [496](#)
- [497](#)
- [498](#)
- [499](#)
- [500](#)
- [501](#)
- [502](#)

- [503](#)
- [504](#)
- [505](#)
- [506](#)
- [507](#)
- [508](#)
- [509](#)
- [510](#)
- [511](#)
- [512](#)
- [513](#)
- [514](#)
- [515](#)
- [516](#)
- [517](#)
- [518](#)
- [519](#)
- [520](#)
- [521](#)
- [522](#)
- [523](#)
- [524](#)
- [525](#)
- [526](#)
- [527](#)
- [528](#)
- [529](#)
- [530](#)
- [531](#)
- [532](#)
- [533](#)
- [534](#)
- [535](#)
- [536](#)
- [537](#)
- [538](#)
- [539](#)
- [540](#)
- [541](#)

- [542](#)
- [543](#)
- [544](#)
- [545](#)
- [546](#)
- [547](#)
- [548](#)
- [549](#)
- [550](#)
- [551](#)
- [552](#)
- [553](#)
- [554](#)
- [555](#)
- [556](#)
- [557](#)
- [558](#)
- [559](#)
- [560](#)
- [561](#)
- [562](#)
- [563](#)
- [564](#)
- [565](#)
- [566](#)
- [567](#)
- [568](#)
- [569](#)
- [570](#)
- [571](#)
- [572](#)
- [573](#)
- [574](#)
- [575](#)
- [576](#)
- [577](#)
- [578](#)
- [579](#)
- [580](#)

- [581](#)
 - [582](#)
 - [583](#)
 - [584](#)
 - [585](#)
 - [586](#)
 - [587](#)
 - [588](#)
 - [589](#)
 - [590](#)
 - [591](#)
 - [592](#)
 - [593](#)
 - [594](#)
 - [595](#)
 - [596](#)
 - [597](#)
 - [598](#)
 - [599](#)
-

Наталья Петрова Скопин-Шуйский

Слава Ти, Владыко человеколюбче, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, претерпевшему на сем честном и чудном кресте распятие и страсть по Своему Божеству для нашего спасения и показавшему сему роду милость и чудеса от Своего честного креста, помощь князю Михаилу на Литву на побеждение и прогнание.

*Из молитвы преподобного Иринарха
Затворника*

От древних до новейших времен России никто из подданных не заслуживал ни такой любви в жизни, ни такой горести и чести в могиле!..

*Н. М. Карамзин. История государства
Российского*

*К 400-летию снятия осады с Троице-Сергиева
монастыря*



Михаил Васильевич Скопин-Шуйский. Изображение на иконописной парсуне

ВСТУПЛЕНИЕ

В первых числах марта 1610 года, после двухлетнего «сидения» под Москвой, войско самозванца, так и не сумев захватить столицу, оставило наконец свой лагерь в Тушине и ушло в сторону Иосифо-Волоцкого монастыря. Там тушинцы разделились: одни последовали за самозванцем в Калугу, другие отправились под Смоленск к королю Сигизмунду III, а третьи, видя успехи войска князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, переметнулись на сторону царя Василия Ивановича.

12 марта 1610 года войско Скопина без боя вошло в Москву.

Когда-то в римской армии полководца, одержавшего крупную победу над противником, встречали особо торжественной церемонией — *триумфом*, именуя самого победителя *императором*. Впереди победно шествовавшего войска везли захваченные трофеи, вели в цепях пленных военачальников и царей, громко трубили фанфары, приветствуя колонны воинов, двигавшиеся по улицам города, а сам император в парадных доспехах ехал в запряженной четверкой лошадей колеснице через специально построенную по такому случаю триумфальную арку.

Конечно, в традициях русского войска победителей встречали иначе. Две такие встречи описаны: это въезд Ивана IV в Москву после взятия Казани в 1552 году и возвращение царя Алексея Михайловича из Смоленского похода в 1655 году. Основываясь на этих двух описаниях, попробуем представить, как могла бы выглядеть церемония торжественного въезда Скопина и его войска в 1610 году.

Первая встреча проходила не в Москве, а — в знак особого уважения — еще за городом, в селе Напрудном, что в двух верстах от столицы. Туда для оказания чести Скопину и его воеводам царь Василий Иванович Шуйский послал боярина князя Михайлу Федоровича Кашина, думного дворянина Василия Борисовича Сукина и дьяка Андрея Вореева. Князь Кашин от имени царя произнес перед воеводами и войском приветственную речь, благодарил главнокомандующего князя Скопина и других воевод за службу и, по обычаю, «здравствовал» воевод — справлялся об их здоровье; ответную речь произнес воевода Большого полка князь Михаил Скопин-Шуйский. Совершив все необходимое по протоколу, победители направились к городу.

Но ликование простого народа, его искреннее приветствие своего спасителя, которого именовали не иначе как «отцом Отечества», говорило о

действительно царской встрече, ему устроенной, — и не по протоколу, а от чистого сердца: «Народ же града Москвы, уздав его приезд боярской, от мала даже и до велика и вси вострепеташа сердца своими, возрадовася радостию неизглаголанною и от многия радости не можаху удержатися от слез. И вси с радостию поидоша на встречу ему, хотяху видете от Бога посланного воеводу...»^[1] Во всех церквах звонили колокола, радостные москвичи высыпали за деревянные стены Скородома встречать победителей, с крыш домов, с городских стен — отовсюду неслись крики приветствий, улицы были заполнены горожанами. Как только москвичи не называли воеводу Скопина: «оборонителем» и к врагам «огрозителем», «управителем» и «окормителем», «питателем и обогатителем»! Еще бы, благодаря его успешным действиям очистились подмосковные дороги, в город стали привозить продовольствие, дрова, корм для лошадей, словом, окончилась осада.

Вскоре показалось долгожданное войско: впереди ехал сам главнокомандующий, князь Михаил Скопин, рядом с ним — шведский генерал Якоб Делагарди. За ними следовали воеводы, которые вместе с князем участвовали не в одном сражении: и биты бывали, и победы одерживали, — князя Иван Куракин и Борис Лыков, верный товарищ Семен Головин, полковник Тенессон и с ним две с половиной тысячи наемников^[2]. Пешие и конные полки двигались по три человека в ряд, перед каждым полком несли расшитые золотом знамена, рядом со знаменщиком шли двое барабанщиков и громко били в барабаны. Войско было такое большое, что растянулось по всей Москве: ратники Большого полка уже подходили к Кремлю, а Сторожевого — едва только миновали Скородом.

У Сретенских ворот воевода Скопин спешил и до самого Кремля шел пешком. Его крупная, с коротко остриженными волосами голова была непокрыта, он радовался московскому ликованию, радовался самой Москве, в которой не был уже полтора года. Он вспоминал, как выехал отсюда осенью 1608 года с отрядом в 400 человек, плохо одетых и обутых, почти безоружных воинов, а вернулся в столицу во главе земского войска — по сути, первого ополчения, созданного в самый тяжелый момент Смуты. Изменился и он сам: все, что пережил он за эти полтора года, двумя глубокими складками обозначилось между бровей и морщинами залегло на высоком лбу, — никто не дал бы ему теперь его двадцати трех лет.

Князь Михаил крестился на московские церкви и спокойно, уверенно шел мимо толп приветствующих его москвичей, одетый в соболиную шубу

и расшитый золотом кафтан. Молодой красавец огромного роста, Скопин вызывал восхищение всех, кто его видел, он казался горожанам былинным богатырем, которому под силу любое царское поручение. Перед воеводой несли развернутое знамя с изображением Спаса Нерукотворного, оно прошло с его войском долгий и трудный путь от Новгорода до Москвы.

Перед входом в Кремль Скопин остановился у Лобного места, оглядел наполненную народом площадь, именуемую «Пожаром». Казалось, еще совсем недавно здесь лежал убитый самозванец в скоморошьей маске; отсюда и Василий Шуйский — еще боярин, а не царь, — обращался к москвичам, заверяя, что царевич Дмитрий был убит в Угличе. А сейчас перед собравшимися на площади стоял пусть не венчанный на царство, но именуемый всеми «спаситель Отечества», тот, кто действительно сумел снискать всенародную любовь и славу. Москвичи, не сговариваясь, положили перед своим освободителем земной поклон в знак благодарности, как если бы перед ними стоял сам царь. Скопин не ожидал такого проявления чувств — и сам в ответ поклонился в пояс всем собравшимся, а уже потом прошествовал с воеводами в Кремль.

В Успенском соборе Скопин принял благословение патриарха Гермогена, отстоял благодарственный молебен и после долго молился коленопреклоненно перед Владимирской иконой Божией Матери. Так когда-то просил помощи у Заступницы его отец Василий в 1581 году перед походом в Псков, так же и благодарил после возвращения, и не только он один — все полководцы, отправляясь в военный поход, начинали свой путь здесь, в Успенском соборе, здесь же его и завершали. Не единожды прибегали к помощи Богородицы, Ее образу — Владимирской иконе — в истории России, особенно когда решался вопрос о единстве и целостности страны. Вот и сейчас Скопин молился о прекращении внутренней Смуты в государстве, которая делала его Родину легкой добычей для врагов. А патриарх Гермоген, глядя на могучую фигуру преклонившего колени молодого воеводы, вспоминал слова святых отцов: «Истина не доказывается, но показывается».

Почему именно он, этот молодой князь, смог одолеть со своим наспех сколоченным войском опытного и сильного противника? У царя и без него хватало храбрых и умелых воевод, а весь успех достался именно ему, Михаилу Скопину-Шуйскому. Какая внутренняя работа происходила в этом совсем не юном на вид полководце? Где черпал он силы для победы над врагом? Ведь известно, что не одной лишь силой оружия выигрываются битвы, но и силой духа.

Может быть, ему помог и военный опыт предков его древнего и

знатного рода. Не от корней ли следует искать начало славного пути, приведшего Михаила триумфатором в Москву?

Глава первая

ПОТОМКИ СУЗДАЛЬСКИХ КНЯЗЕЙ

*Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни
несчастия размышляй...*

Еккл. 7: 14

Дед

Ветвь Скопиных — старшая на древнем и могучем древе рода Шуйских, потомков удельных суздальских князей. По европейским меркам их можно назвать *принцами крови*: в случае пресечения династии московских князей Шуйские могли претендовать на престол великого князя и царя.

Но ветвь Скопиных — и самая короткая: она начинается в XV веке Иваном Шуйским, по прозвищу Скопа, и заканчивается в начале XVII века князем Михаилом Васильевичем Скопиным-Шуйским. Наследников после себя знаменитый полководец не оставил.

Откуда появилось прозвище Скопины? Скопой именуют хищную птицу, близкую родственницу орла: если в реке рыбы достаточно, быть в том месте и скопе. В рязанских землях родовым прозвищем Скопиных даже назвали город — Скопин. За что именно прадед нашего героя получил такое прозвание, осталось загадкой, но, как известно, ничто так метко и ярко не характеризует человека, как данное ему народом прозвище, которое пойдет «в род и потомство». Орлиное племя Шуйских, потомков суздальско-нижегородских князей, дало России многих полководцев, которые прославились не только знатностью рода, но и своими блестящими победами. Хотя, по правде сказать, встречались в том племени и вороны в орлином оперении, но свойства скопы, когтившей своих врагов в политической борьбе или на поле брани, наследовали все потомки Скопы-Шуйского.

О родоначальнике Скопиных — князе Иване Васильевиче Скопе-Шуйском — известно немного. Его отцом был знаменитый в XV веке боярин и наместник в Пскове, Новгороде, Нижнем Новгороде, воевода в Казанском походе Василий по прозвищу Бледный. В 1519 году Иван Васильевич был пожалован боярством. Сын основателя династии Скопиных Федор Иванович — дед Михаила Скопина-Шуйского — служил при Василии III воеводой в Вязме, при Иване IV воеводой в Коломне и Плесе, неоднократно в течение полутора десятилетий ходил в военные походы и *наряжался* в экспедиции, в 1543 году был пожалован боярством^[3]. Бабкой Михаила Скопина была Мария Новосильцова — дочь известного воеводы начала XVI века Новосильцова-Китаева^[4].

Скопины были не только родовиты, но и богаты, им принадлежали огромные земельные владения. Сохранились названия вотчин, которыми

владел Михаил Васильевич Скопин, — они насчитывали около 4441 четверти земли^[5]. В Суздальском уезде Скопину принадлежали села Семеновское, Рождественское, Ивановское в Кехомской волости и слободка с деревнями — всего 3106 четвертей; в Переяславском уезде у него было 417 четвертей, в Бежецком 800 четвертей и в Московском 118 четвертей. Имел Скопин также поместья в Старицком, Пошехонском и Псковском уездах. После его смерти земли перешли к жене, княгине Александре Васильевне, а после ее смерти — к матери, княгине Алене Петровне. Часть родовых вотчин — села Ивановское (1645 четвертей) и Семеновское (380 четвертей) — после смерти Алены Петровны досталась родственнику Скопиных — князю Ивану Ивановичу Шуйскому; другие вотчины — как, например, суздальское село Рождественское — были пожалованы в монастырь^[6].

Как и другие Шуйские, дед Михаила был близок к престолу в годы малолетства Ивана IV. После кончины великого князя Василия III регентом при трехлетнем наследнике Иване стала его мать — 25-летняя вдова Елена Глинская. Как заметил философ, «правление женщины во все времена было редкостью; еще реже такое правление бывало благополучным; сочетание же благополучия и продолжительности есть вещь наиредчайшая»^[7]. Редкое для средневековой Руси женское правление не стало исключением в своей продолжительности: через пять лет политические противники отравили правительницу, о чем судачили современники и что подтвердили через столетия историки.

Об отравлениях нам еще придется говорить — жизнь Михаила Скопина-Шуйского прервется неожиданно, при весьма загадочных обстоятельствах, на 24-м году жизни. Здесь же заметим, что отравления были в Средние века самым распространенным средством сведения счетов в политической борьбе. Смертоносным ядом пропитывали книги, письма, игральные карты и одежду, его подсыпали в еду и питье, подмешивали в лекарства и вливали спящим в ухо. Частенько ядом пропитывали лезвие холодного оружия, чтобы даже легкое ранение, полученное во время поединка, становилось смертельным.

У молодой вдовы Елены Глинской было достаточно недругов, желавших ее смерти. Московские аристократы помнили о литовском происхождении «властодержавницы», не забыли они и неслыханного по тем временам поступка, который совершил ради любви к юной жене Василий III — сбрил бороду. Когда же великий князь умер, то, стремясь оградить от возможной междоусобной борьбы своего малолетнего сына,

Елена Глинская отдала приказание бросить в тюрьму двух братьев умершего мужа, причем одного — сразу после похорон Василия III. Не пощадила она и свою родню: в тюрьме по подозрению в отравлении Василия III оказались ее родной дядя, Михаил Глинский, и еще несколько знатных лиц. Вряд ли от таких действий правительницы число ее врагов уменьшалось.

Изучая русский погребальный обряд, современные историки среди прочих захоронений исследовали и прах Елены Глинской. Результаты исследования потрясли даже выдавших виды криминалистов: в хорошо сохранившихся волосах и ногтях великой княгини было найдено такое количество солей ртути, что его с избытком хватило бы на несколько отравлений. Кроме того, в костных останках сохранились мышьяк, свинец, цинк, медь и селен^[8]. Превышение нормы последних веществ еще можно как-то объяснить особенностью косметики того времени, действительно содержащей эти небезопасные для организма вещества, но вот насыщенность волос солями ртути — только отравлением этим самым любимом ядом Средневековья.

После смерти Елены Глинской начался период, который сам Иван Грозный назовет «царством без правителя», а один из его современников — «безгосударством». Боярские группировки Бельских и *природных* Рюриковичей Шуйских соперничали при дворе, заточали в тюрьмы, морили голодом и отправляли на казнь своих противников. «Кулак нам — совесть, а закон нам — меч», — сказал о подобных нравах современник той эпохи Шекспир. В 1542 году Шуйские фактически произвели переворот и стали править, не опасаясь конкурентов, безраздельно. Вскоре, возглавляемые алчным и властолюбивым Андреем Шуйским, они решили удалить царского приближенного Федора Воронцова, которого «обесчестили, оборвали на нем одежду... и хотели убить на наших глазах», как написал позже Иван Грозный. Убийства не произошло, юный царь упросил пощадить своего любимца, и Воронцова ждала всего лишь ссылка в Кострому.

Пока «стояла вражда между великого князя боярами», наследник подрастал, набирался сил и опыта правления. Уже в 13 лет юный царь впервые проявил свой нрав и отдал приказ схватить и убить Андрея Шуйского, повинного в удалении из Москвы Воронцова. После этой расправы Шуйские на время утратили свое главенство при дворе, а Глинские, напротив, вновь возвысились. Федор Скопин-Шуйский вместе с другими Шуйскими не по своей воле покинул Москву. Но удаление

Шуйских от власти было недолгим: своих обид и поражений этот клан никому не прощал и всегда стремился к реваншу, да и возможность для этого вскоре представилась.

В 1547 году великий князь Иван Васильевич венчался на царство. В тот год в Москве один за другим случилось несколько пожаров, а летом, которое выдалось особенно засушливым, вспыхнул пожар, «какого никогда не бывало». Начавшись на Арбате, огонь со скоростью молнии распространился к Неглинной, затем ветер ловко перебросил его к Кремлю, где он в мгновение ока зажег кровли кремлевских соборов. В тот июньский день безжалостный огонь спалил в деревянной Москве около 25 тысяч дворов и погубил более двух тысяч жителей. Сгорели расписанный Андреем Рублевым Благовещенский собор Кремля, Чудов монастырь, выгорели многие храмы. Чудом уцелел Успенский собор в Кремле и в нем наиболее чтимая в Москве Владимирская икона Божией Матери.

Что и говорить, пожары в те времена были делом обыкновенным: летописи пестрят сообщениями о них. За исключением каменных церквей почти все постройки в городах были деревянные — как правило, из ели и сосны, поэтому города выгорали в считанные часы, как смоляной факел. В 1433 году сгорел «от грома и молнии» город Колывань (Таллин), в 1438 году произошел пожар в Смоленске, в 1440 году выгорел весь Полоцк, в 1445-м — вся Москва, не сохранились даже каменные церкви. В 1488 году от пожара в Москве погибло пять тысяч жителей, а в 1493 году во время бури в Москве вспыхнул пожар небывалой силы, — «как Москва стала, таков пожар на Москве не бывал».

Пожар, как правило, вспыхивал из-за неосторожного обращения с огнем. В XVI–XVII веках даже издавались специальные противопожарные указы, запрещавшие горожанам топить летом печи в избах; для приготовления пищи предписывалось устраивать летние печи на дворе, а на случай опасности завести рядом с домами ящики с песком, багры, топоры и прочие необходимые в таких случаях приспособления.

После пожара 1547 года по Москве поползли упорные слухи, что случился он не сам собою, а причиной его стал поджог, поджигателями же называли Глинских. Поджоги действительно случались в Москве, в другой раз, может быть, этим слухам бы и не поверили. Но многочисленные жертвы и странным образом уцелевшие во время пожара усадьбы Глинских усилили давно разгоравшуюся нелюбовь к известному своим стяжательством семейству. К распространявшимся со скоростью огня домыслам добавлялись самые невероятные рассказы о колдовстве бабки царя — Анны Глинской. Нетрудно догадаться, в чьих интересах было

распространение этих пусть и нелепых, но очень своевременных слухов.

Когда через два дня после пожара молодой царь отправился в митрополичий Новинский монастырь навестить больного митрополита Макария («разбившегося», спасаясь от огня в Кремле), бояре решили воспользоваться случаем и открыто выказать царю недовольство Глинскими, представленными в глазах царя виновниками пожара. Летописец называет имена этих бояр-оппозиционеров: протопоп Федор Бармин, князь Федор Иванович Скопин-Шуйский, Юрий Темкин, Иван Петрович Федоров, Григорий Юрьевич Захарьин, Федор Нагой «и иные мнози»^[9]. Какие события произошли от момента ссылки князя Федора Скопина-Шуйского до его появления в Москве, неизвестно, но не стоит сомневаться, что пострадавший от интриг Глинских Федор не упустил случая расправиться со своими противниками. Выслушав бояр и своего духовника «протопопа Благовещенского Федора», царь приказал провести розыск по горячим следам.

Через несколько дней, «в неделю, на пятый день после великого пожара», то есть в воскресенье 26 июня, на площади перед Успенским собором в Кремле бояре собрали «черных людей», чтобы выяснить: «Кто Москву зажигал?» Собравшиеся поведали о «волховстве» Анны Глинской «с детьми», княгиня будто бы вынимала сердца у людей, клала их в воду, а тою водой окропляла Москву, и оттого Москва сгорела: «княгиня Анна сорокою летала да зажигала». Разумеется, у подозрений народных, помимо мистической, была и вполне реальная основа, которую назвал летописец: «И сие глаголаху чернии людие того ради, что в те поры Глинские у государя в приближение и в жалование, а от людей их черным людем насилство и грабеж, они же их от того не унимаху». Убежденность в том, что причина пожара — козни Глинских, была единодушной, и проводившие расследование рассудили, подобно римлянам, что «глас народа — глас Божий».

В городе, лежащем в руинах и черном от недавнего пожара, направить народный гнев в нужное русло было не трудно, и бояре, как считает летописец, «наустиша черни» на Глинских. Дядя царя Михаил Глинский был в то время во Ржеве, и гнев народный обрушился на его брата Юрия Глинского. Впав в озлобление и неистовство, толпа растерзала его прямо в Успенском соборе, а затем кинулась грабить дворы Глинских и убивать их людей. Через три дня охваченная безумием толпа явилась в село Воробьево, «глаголюще нелепая», требуя у царя выдачи его бабки Анны Глинской и дяди Михаила, которых царь якобы прятал у себя. Иван IV

приказал схватить и казнить крикунов, пресекая бунт.

Юный царь, получивший в наследство права государя всея Руси, едва вступал на дорогу самостоятельного правления. Однако многие исследователи эпохи Грозного отмечают резкую перемену, происшедшую в царе после московского пожара. Он и сам, спустя несколько лет, скажет об этом: «...вниде страх в душу мою и трепет в кости моя, и смирился дух мой и умилился, и познах своя согрешения». Пожар ли, испытанный ужас от народного гнева, осознание ли своей высокой миссии как помазанника Божия, который не должен уподобляться соперничающим у трона за милость правителя, были тому причиной, — можно только гадать. Как бы то ни было, но восстание 1547 года положило конец злоупотреблениям боярских кланов, и через год рядом с царем образовался новый круг людей, который Андрей Курбский назовет «Избранная рада». Входили в «раду» зачинатели многих преобразований в царствование Ивана Грозного.

Дальнейшая жизнь Федора Скопина-Шуйского протекала, видимо, спокойно. Он занимал видное место при дворе, пользовался уважением и получал награды: в 1548 году Федор вместе с братом царицы Никитой Романовичем заслужил «золотой угорский» — прообраз медали. О том, каким доверием пользовался дед будущего полководца у царя, красноречиво говорит следующий факт: когда Иван IV отправился в 1555 году в Коломенский поход, то оставил Федора Ивановича Скопина и Ивана Михайловича Шуйского советниками при своем брате Юрии^[10].

Свои дни Федор Скопин окончил в 1557 году. Перед смертью он, по обычаю, постригся в схиму с именем Феодосий и был погребен в фамильной усыпальнице князей Скопиных-Шуйских в Суздале, в церкви Рождества Богородицы^[11]. Его жена Мария также перед смертью приняла постриг с именем Марфы, а спустя несколько лет их сын Василий — отец Михаила Скопина — на помин своих родителей сделал богатый вклад в Соловецкий монастырь: водосвятную чашу^[12].

Отец

Год рождения отца Михаила — князя Василия Федоровича Скопина-Шуйского — неизвестен. Но по надписи на водосвятной чаше, вложенной в Соловецкий монастырь, можно определить день его рождения: «Княже Василий княже Федоров сын Шуйского Скопина, а молитвенное имя ему Иакова Исповедника марта 21». Молитвенное, или «прямое», имя — это имя святого, память которого совершалась в день рождения. Следовательно, Василий Скопин родился 21 марта, в день памяти преподобного Иакова Исповедника.

Первое упоминание о службах Василия Скопина-Шуйского относится к 1572 году, когда он назван уже в чине стольника. В этом году Иван IV отменил опричнину и запретил даже упоминать о ней. Однако государство еще долгие годы оставалось разделенным на «земщину» и «опричнину», и, по мнению исследователя А. П. Павлова, Василий Скопин вместе с другими Шуйскими в годы царствования Ивана IV сделал приличную карьеру и был зачислен в государеву «дворовую» Думу^[13]. Историк Смуты С. Ф. Платонов также считал род Шуйских «единственным из заметнейших восточно-русских княжеских родов, все ветви которого преуспели в эпоху опричнины»^[14]. Посмотрев на послужной список отца Михаила Скопина, с таким выводом вполне можно согласиться.

В 1575 году князь Василий Скопин-Шуйский назван уже среди дворян первой статьи и отмечен особой милостью: он присутствует на свадьбе Ивана IV с Анной Васильчиковой. На следующий год Василий Скопин принимает участие в походе против крымского хана Девлет-Гирея, находясь в стане государя «у ночных сторож в головах»^[15]. Еще через год, в 1577 году, князь отправляется на другую войну — Ливонскую, где в чине боярина командует Сторожевым полком в Лифляндском походе^[16]. События Ливонской войны и взаимоотношения России со Швецией непосредственно коснутся семьи Скопиных-Шуйских, и потому остановимся на них подробнее.

Для того чтобы понять суть происходившего на северо-западных границах Руси, необходимо вернуться почти на столетие назад от времени рождения князя Михаила, в конец XV века. Именно тогда на краю Европы, в маленькой по российским меркам Португалии, принц Энрике по прозвищу Мореплаватель отдавал приказания снаряжать каравеллы,

которые отправлялись по таинственному Атлантическому океану на поиски богатой Индии. А вскоре, в 1492 году, Христофор Колумб, отыскивая кратчайший путь в Индию, первым достиг берегов Нового Света. Открытие новых земель принесло европейцам не только научные познания, но в первую очередь — мощные потоки драгоценных металлов. Один за другим отплывали от берегов сказочно богатой земли Эльдorado, ставшей реальностью, испанские галеоны, груженные слитками золота и серебра, — к середине XVI века рудники Перу, Боливии и Чили давали уже половину всей добычи драгоценных металлов в мире.

А на другом краю Старого Света великий князь Московский Иван III, именуемый в грамотах уже *государем всея Руси*, отдавал в 1492 году приказание заложить напротив Нарвы, принадлежавшей Ливонскому ордену, русскую крепость — Ивангород. Этот город станет его любимым детищем, опираясь на него и крепости Новгорода, Пскова и Копорья, московский государь начнет прокладывать путь к Балтийскому морю.

В начале XV века в Европе еще мало кто знал о существовании нового государства к востоку от Вислы. Но когда во второй половине столетия Московское государство сбросило ордынский гнет, подчинило Новгород и Псков и заявило во всеуслышание о себе как о восприемнице павшей от турок-османов в 1453 году православной Византии, — не обращать на него внимания было уже невозможно.

Зачем молодому государству понадобилось Балтийское море, где его ожидало неизбежное столкновение с сильными и опасными соперниками? Этот вопрос задавали России неоднократно, пока Петр I, выигравший Северную войну и основавший новую столицу Санкт-Петербург, не дал на него четкий и ясный ответ. Овладение морем выводило страну из изоляции, расширяло горизонты, создавало новые возможности для экономического, политического и культурного развития. В этом смысле государя Ивана III современные историки называют предшественником императора Петра. И если Петр I в XVIII веке властной рукой *прорубил окно* в Европу, то Иван III в XV веке попытался *открыть форточку*, чем вполне заслужил себе памятник где-нибудь на берегу Балтийского моря ^[17].

Как для Испании и Португалии, чьи берега омывает Атлантический океан, были естественны поиски новых богатых земель, а для маленькой островной Англии неизбежно наличие мощного флота, так и для развивающейся Руси столь же естественно и неизбежно было обретение собственных морских ворот, чтобы без посредников вести торговлю. Но овладение Балтикой было непростой задачей. Международный торговый

союз купцов Балтийских стран не для того создавал свою могущественную корпорацию Ганза, чтобы лишать ее членов такой важной статьи дохода, как посредническая торговля с русскими землями. Семьдесят входивших в союз городов не одно столетие богатели, не позволяя никому вести торговлю с Русью — только через посредничество Ганзы. Тех, кто рисковал ослушаться, наказывали нанятые купцами пираты, отбивавшие корабли с товарами. Ганзейцы имели свое представительство в Новгороде, покупали у русских меха, воск, пеньку и другие товары и перепродавали их в Европе, изрядно наживаясь на этом. Так же обстояло дело и с европейскими товарами — драгоценными и цветными металлами, в которых так нуждалось Русское государство: привозить их в русские города могли только купцы Ганзы.

Не найдя взаимопонимания с ганзейцами, Иван III предпринял жесткие меры: закрыл представительство Ганзы в Новгороде, к тому времени уже вошедшем в состав Московского государства, передал имущество ганзейцев в казну, а их самих изгнал. Правда, ненадолго — его сын Василий III восстановил права ганзейских купцов свободно торговать в Новгороде и Пскове. Почувствовав за спиной ганзейцев поддержку европейских государств, Иван Васильевич решил воевать со Швецией и в 1495 году отдал приказ осадить город Выборг.

Война проходила крайне неудачно для Ивана III: русским войскам не удалось захватить каменную, хорошо укрепленную шведскую крепость Выборг, а шведы, в свою очередь, осадили и разрушили Ивангород. В 1497 году военные действия закончились перемирием сроком на шесть лет, не принеся России желанного выхода к Балтийскому морю.

Впрочем, Иван III рук не опускал и использовал все возможности наладить собственную торговлю в Балтийском море. Весной 1496 года, то есть в самый разгар войны, русский посол Григорий Истома отправился от устья Северной Двины на запад и доплыл до Копенгагена. Результатом его переговоров стал договор с Фландрией. Фландрией в то время именовали земли в низовьях рек Шельда, Маас и Рейн. Это был самый оживленный торговый район Европы. Жители фламандских городов из привозной английской шерсти выделывали прочные и красивые ткани, славившиеся во всей Европе.

Попытки заключить торговые соглашения с Данией, Нидерландами и особенно Англией русские государи энергично предпринимали на протяжении всего XVI столетия. В перерывах между войнами подобные договоры заключались и со Швецией. Один из таких договоров, заключенных при Иване IV, предоставлял шведским купцам право

торговать в Москве, Казани, Астрахани и даже проезжать через русские земли в Индию и Китай. В ответ русские купцы получали право торговать в Швеции и отправляться дальше в Любек, Антверпен и Испанию.

Однако московские государи не оставляли и попыток силой овладеть побережьем Балтики. В 1558 году внук Ивана III — Иван IV — начал Ливонскую войну, в которой самое активное участие принял отец Михаила — Василий Скопин-Шуйский. Военные действия развивались поначалу вполне успешно для Ивана IV: в 1558 году русские войска взяли штурмом принадлежащую Ливонскому ордену крепость Нарва. С этого момента и в течение последующих тридцати лет город Нарва играл ведущую роль в торговле Русского государства с европейскими странами.

В XVI — начале XVII века Россия остро нуждалась в европейской торговле, для нее это был практически единственный источник поступления благородных металлов. Самую дорогую часть российского импорта тех лет составляло кастильское золото, затем шли сукна, камчатые ткани, сатин, южные фрукты и пряности — эти товары предназначались для богатых людей. Прибыль от продажи такого груза составляла до 200 процентов. Для людей попроще — говоря современным языком, массового покупателя — везли сельдь, пиво, грубые шерстяные ткани, черепицу, котлы, горшки, кастрюли, инструменты. В обратном направлении русские купцы везли меха (главным образом, куниц и соболей), кожи, воск, сало. Однако самым главным товаром для России в европейской торговле все же оставались драгоценные металлы ^[18].

Поход 1577 года в Лифляндию, в котором принял участие Василий Скопин-Шуйский, был, пожалуй, самым удачным за всю историю Ливонской войны: за три месяца русские войска заняли все прибрежные крепости, за исключением Риги и Ревеля, и Иван Грозный стал хозяином практически всей Ливонии. Однако здесь ему пришлось столкнуться с интересами Польши, Швеции и Дании, — с ними магистр Ливонского ордена заблаговременно заключил союз, и потому России пришлось воевать уже с коалицией государств.

В 1579 году Стефан Баторий, занявший польский престол, объявил войну России и двинул свое войско на Полоцк. К несчастью для России, Стефан Баторий оказался талантливым и успешным полководцем. Когда он захватил Полоцк и Великие Луки и перед ним открылись дороги на Псков и Новгород, царю пришлось думать уже не о завоевании выхода в Балтику, а об удержании собственных городов. Иван IV начал вести переговоры о мире. Царь готов был идти на большие уступки, предлагая не только

Ливонию, но и Полоцкую землю вместе с Полоцком. Но окрыленный успехом Баторий, прослышав от перебежчиков о слабости гарнизонов русских крепостей Новгорода и Пскова, хотел уже завоевать весь северо-восток России.

К моменту вторжения войск Стефана Батория в Россию русские полки оказались растянуты вдоль линии фронта от ливонского города Кокенгаузен до Смоленска. Узнать, куда в первую очередь направит свои полки польский король, разведке не удалось. переброска войск в те годы занимала немалое время, а ситуация усугублялась тем, что русской армии одновременно приходилось отражать наступление шведов у Нарвы и постоянно держать часть войск на южных границах, опасаясь нападения крымчаков. Внезапность вторжения войск Батория, распыленность сил русской армии, неверный выбор главного направления, малочисленность крепостных гарнизонов — все это было причиной неудач, преследовавших Ивана IV^[19].

Опасаясь захвата Пскова польскими войсками, Иван Грозный в 1580 году отправляет князя Василия Скопина-Шуйского воеводой в этот пограничный город. Вместе с ним обороной города руководил его родственник — Иван Петрович Шуйский. Воеводами были также назначены «Микита Очин-Плещеев, да князь Ондрей Хворостинин, да князь Володимер княж Иванов сын Бохтеяров-Ростовский, да князь Василей княж Михайлов сын Лобанов»^[20]. Выбор царя был отнюдь не случаен. Перед нами предстают люди не только именитые, но и опытные, имевшие за плечами не одно сражение. Никита Иванович Очина-Плещеев был воеводой в Смоленске, Изборске, Туле, Серпухове — все это приграничные крепости, защищавшие западные и южные рубежи. Участвовал он и в походе против шведов, оборонял Москву от набегов крымских татар.

Князь Андрей Иванович Хворостинин отличался храбростью, порой безрассудной, и физической силой. Как отмечали современники, царь ценил в нем «телесную и нравственную силу»^[21]. Он назначался воеводой в Калуге, Тарусе, Новгороде и особенно отличился победой над крымскими татарами в 1566 году. Князь Владимир Иванович Бахтеяров-Ростовский был воеводой в Руссе, Новгороде, Торопце, Брянске, Рязани, Нижнем Новгороде. В русско-шведской войне 1590 года он вместе с другими полководцами штурмовал Нарву. Василий Михайлович Лобанов-Ростовский участвовал в Ливонской войне в государевом полку, назначался воеводой в Пронск, Коломну, Ивангород, Свяжск, Каширу и Астрахань.

Как видим, послужной список каждого из псковских воевод богат, и все же главным воеводой царь назначил князя Василия Скопина-Шуйского, его имя разрядные книги называют первым в списке воевод. По отзывам современников, большим уважением царя пользовался также Иван Шуйский — «по своему уму», но иностранцы, описывавшие события под Псковом и отмечавшие личное мужество Ивана Шуйского, единодушно называли первым псковским защитником именно князя Василия.

По традиции, сложившейся со времен Куликовской битвы, а может быть, и еще раньше, полководец, отправлявшийся в дальний поход, молился в Московском Успенском соборе перед Владимирской иконой Божией Матери — к ее помощи всегда обращались в период тяжких для Русского государства испытаний. Молился о благополучном завершении похода и Василий Скопин-Шуйский вместе с другими воеводами и клялся не сдавать врагу города «до своей смерти»^[22].

Клялся и польский государь Стефан Баторий взять Псков, именуемый «воротами в Ливонию», — взять во что бы то ни стало, целым или разрушенным, зимой или летом. С собой под стены Пскова король привел разноплеменное войско в 47 тысяч человек, в которое входили и собственная польско-литовская армия, и 27 тысяч наемников: венгров, немцев, датчан и шотландцев^[23].

Данное под Псковом слово Баторий не сдержал — город выдержал осаду. Свои же несбыточные надежды поляки смогли увидеть воплощенными лишь на полотне художника XIX века Яна Матейки, названном «Стефан Баторий под Псковом». Там побежденные псковичи несут грозному полководцу ключи от города, владыка Киприан угодливо держит перед Баторием блюдо с караваем, а стоящий рядом с ним папский легат иезуит Антонио Поссевино в задумчивости потирает тонкие пальцы, наблюдая за происходящим. Современные польские историки призывают не рассматривать картину буквально — это, мол, не Польша и Россия, а некий образ, символ: оказывается, «перед нами противопоставление победоносной польской демократии восточной сатрапии Ивана Грозного»^[24]. Вот такой незамысловатый политико-художественный образ, которому, к счастью, не дают воплотиться в жизнь уже который век.

Но вернемся под Псков. В нем все было готово к встрече Батория: починены укрепления, вырыты рвы и траншеи на подходах к городу, расставлены орудия, каждому воину указано его место — в кремле, Среднем городе, Большом, Запсковье или на внешней, как ее называли Окольной, стене. Всего в городе находилось около 16 тысяч жителей, а

гарнизон насчитывал тысячу дворян и детей боярских, две с половиной тысячи стрельцов и 500 казаков. Даже вместе с вооруженными жителями города силы защитников составляли меньше двадцати тысяч человек, и это против 47-тысячной опытной, прошедшей не одно сражение армии! Правда, большую часть этой армии составляли наемники, которые пришли в Московию получить деньги и пограбить, а вовсе не погибнуть под стенами Пскова.

В день Рождества Богородицы, 8 сентября, поляки пошли на приступ. Образовав проломы в стенах, нападающие захватили две башни, но воспользоваться этим псковичи им не дали: они подложили порох под башни и взорвали их вместе с нападавшими. Защитник крепости мрачно описал, как «литовские воины смешались с псковской каменной стеной Свиной башни и из своих тел под Псковом другую башню сложили»^[25]. Тех, кто оказался на стенах и в проломах, псковичи расстреливали из пищалей, забрасывали камнями и поленьями, лили на них кипяток. Ловкачей, попытавшихся перелезть через стены, цепляли крюками и сбрасывали вниз. К ночи сумели отбить приступ и выгнать из крепости захватчиков. «Наконец, — по словам Н. М. Карамзина, — все нерусское бежало»^[26]. Защитники крепости потеряли убитыми более 800 человек, а нападавшие — около пяти тысяч. Осенью и зимой 1581/82 года польская армия предприняла 30 попыток взять штурмом несговорчивый Псков, но все — тщетно.

После окончания штурма к крепостным стенам вышли псковские женщины, которые во все время многомесячной осады не покинули города. Они веревками тащили оставленные поляками легкие пушки, помогали раненым, подносили воду. Уже одно их присутствие возбуждало боевой дух воинов, придавало смелости и уверенности в победе.

Стойкость защитников отмечали и по другую сторону крепостного рва: «Не так крепки стены, как твердость и способность обороняться, большая осторожность и немалый недостаток орудий, пороху, пуль и других боевых материалов»^[27]. И если стойкость и мужество можно назвать личным достоинством защитников, то прекрасная организация боевых действий, своевременная забота о доставке боеприпасов — безусловно, заслуга воевод — Василия Скопина и Ивана Шуйского. Недаром Н. М. Карамзин считал, что «Псков, или Шуйский, спас Россию от величайшей опасности»^[28].

Особенно досаждала польско-литовской армии артиллерия псковичей. Из мощных орудий, наиболее крупными среди которых были «Барс» и

«Трескотуха», псковичи на каждый выстрел осаждавших отвечали десятью, «и редко без вреда», как отмечали потерпевшие. Когда кто-то из поляков пустил в крепость стрелу со сломанным острием, то она прилетела обратно с посланием, изложенным по-военному кратко и крепко: «Худо стреляете, б... с...!»

«То правда, что худо!» — согласились поляки и отнесли показать стрелу Баторию. Меткость русских стрелков каждый день сокращала число осаждавших, а все увеличивающееся число неудачных штурмов заметно убавляло боевой пыл польского войска. К тому же защитники крепости постоянно тревожили королевскую армию своими вылазками. За все время осады их было совершено 46! Недостаток продовольствия, фуража, пороха, большое число погибших и умерших от ран, «страшные» русские холода — все это заставило армию Батория иначе смотреть на происходящее. «Как бы нам не потерять здесь и ту частичку славы, которую мы добыли в последнее время», — жаловался один из осаждавших ^[29].

В начале ноября в польском войске прошел слух, будто Скопин-Шуйский убит ^[30]. Посланный поджечь польский лагерь подросток, схваченный поляками, рассказал о смерти Василия Федоровича: он сидел в избе, когда туда влетело ядро и ударило в стену, отколовшийся обломок бревна якобы убил его. Специально ли мальчик был научен сказать о мнимой гибели одного из организаторов обороны или за смерть приняли ранение Скопина — источники умалчивают. Однако вскоре стало ясно, что слух не подтвердился.

Между тем раздосадованный неудачей сентябрьского штурма Баторий отдал приказ перейти к длительной осаде, а чтобы войску было чем заняться, храбрый король решил захватить расположенный недалеко от Пскова Печерский монастырь. Интересно именуется Батория псковский автор «Повести о прихождении польского короля Стефана Батория под град Псков». Используя игру слов: «батор» на венгерском означает «храбрый», — он называет короля «Обатуром», — так в псковском крае припечатывали дерзкого и нахального человека.

«Похвально ли для витязей воевать с чернецами?» — спросила братия монастыря пришедших под ее стены немцев и венгров. Но «витязей» вопрос о штурме христианской обители не смутил. Как цинично отметил польский автор, «там можно найти большую добычу: в монастыре очень много наших купцов, захваченных в плен с имуществом и деньгами, которые они везли из лагеря домой. Желали бы мы немцам там позабавиться» ^[31].

Монастырская братия пограничного монастыря не раз видела под своими стенами захватчиков, и чернецы вместе со стрельцами сумели отстоять Божий дом. Враги признавались, что «тамошние монахи творят чудеса храбрости и сильно бьют немцев». Не помогали ни штурмы при помощи лестниц, ни проломы в стенах: «пробьют пролом в стене, пойдут на приступ, а там дальше и ни с места. Это удивляет всех: одни говорят, что это святое место, другие — что заколдованное, но во всяком случае подвиги монахов достойны уважения и удивления»^[32]. Засевшие в засадах по дорогам к монастырю крестьяне и стрельцы немало содействовали успеху: отбивали пленных, забирали у поляков награбленное в деревнях продовольствие, захватывали их самих в плен.

Воевода Скопин и фельдмаршал Делагарди

Пока отец нашего героя вместе с доблестными псковичами защищал город, на севере появился родитель персонажа, с которым Михаилу Скопину-Шуйскому придется провести бок о бок немало времени: фельдмаршал Понтус Делагарди возглавил шведское войско, которое перешло границу и вторглось в Карелию.

Карельская земля издавна служила яблоком раздора между шведами и новгородцами: каждая сторона считала ее своей. Если шведы появлялись на этой земле и строили крепости, желая закрепиться здесь, то сразу вслед за ними приходили новгородские полки и те крепости срывали; подчас шведы даже не успевали дать им названия. Те из крепостей, которые сохранялись, переходили из рук в руки. В 1293 году шведы захватили основанное новгородцами в XI–XII веках поселение и построили в нем крепость, назвав ее Выборг. В тот год новгородцы не успели ее срыть, потому что походу помешала оттепель: вода разлилась, коням не было корма. А на следующий год укрепившиеся в крепости шведы сумели отразить новгородский штурм; крепость устояла. Многочисленные столкновения между шведами и русскими завершились к 1323 году первым мирным договором. В русской крепости Орешек, построенной на Неве, московский князь Юрий Данилович вместе с новгородцами подписал со шведами Ореховский мир и установил границу по реке Сестре. Мир оказался непрочным — пользуясь тем, что Москва в XIV–XV веках сосредоточила все силы на борьбе с ордынцами, Швеция прибрала к рукам ряд территорий в западной части Карелии. И только покончив с ненавистным игом, Иван III попытался вернуть потерянные территории, однако война со Швецией завершилась неудачно для Руси.

В преддверии Ливонской войны, желая избежать борьбы с коалицией государств, Иван IV попытался заключить союз с какой-либо из Балтийских стран. Находившийся в то время на шведском престоле Эрик XIV согласился заключить договор с царем, но этому союзу не суждена была долгая жизнь. Шведский король страдал приступами безумия — был «не сам у себя своею персоною», как объяснили русским послам. Переговоры затянулись, а тем временем шведская оппозиция совершила переворот и возвела на престол томящегося в заточении родного брата короля Юхана. Во время политического катаклизма кроме свергнутого короля пострадали и русские послы: их ограбили, раздели до рубах и выпроводили из страны.

Одним из активных участников низложения короля и расторжения готовящегося с Россией договора выступил французский барон де ЛаГарди.

Барон де ЛаГарди родился на юге Франции^[33], обучался в знаменитом университете города Болоньи, но нашел себя не на ученом поприще, а на военном. Начав службу во Франции, он служил затем в войсках Шотландии и Дании. Швеция и Дания к тому времени уже не один год вели войну за господство на Балтийском море. Участвуя в войне против Швеции, «солдат удачи» попал в плен и остался на службе у шведского короля. Биографию барона никак не назовешь исключительной: в то время в Европе сотни «псов войны», как называли тогда наемников, воевали в армиях разных стран. Были даже целые государства (Швейцария), население которых «торговлю кровью» делало своим ремеслом, а те, кто занимался вербовкой наемников, находили это весьма прибыльным делом.

Именно этим доходным занятием и занимался барон де ЛаГарди на родине во Франции, куда в 1566 году его послали шведы. Дальнейшая судьба барона была самым тесным образом связана со шведско-русскими отношениями, он оказался в водовороте происходивших на северо-востоке Европы событий.

Появление шведов у русских границ в 1581 году было конечно же не случайным. Воспользовавшись затянувшейся осадой Пскова, подстегиваемые требованиями Батория начать активные действия, шведские войска за три месяца 1581 года взяли одну за другой крепости Падис, Лоде, Фиккель, Леаль, Габзель. Наконец пала и Нарва, потеряв весь свой гарнизон и почти всех жителей города — около семи тысяч человек. Теперь наступила очередь других русских городов. Пока при посредничестве папского легата А. Поссевино Россия вела переговоры о мире с поляками, в несколько дней шведами были завоеваны Ивангород, пограничный Ям и Копорье с уездами. Крепость Ивангород постыдно сдал неприятелю воевода А. Бельский, который должен был возглавлять оборону города.

Ужас в русских городах при наступлении шведов был так велик, что в церквах служили молебны об избавлении от страшного врага. В Ивангороде Понтус Делагарди, как писали его имя русские авторы, захватил одну из лучших русских пушек — огромную пищаль «Волк», отлитую знаменитым мастером Андреем Чоховым. В качестве своего главного трофея шведы после окончания войны перевезли ее в замок близ Стокгольма.

Успехи шведской армии, как это ни странно, вызвали неудовольствие

ее союзников, безнадежно засевших под Псковом. «Мы грызем скорлупу, а он кушает орехи, за нашею охраною он спокойно на берегу ловит рыбу, а мы в открытом море», — роптали в польском войске. «Шведы так много забрали в Ливонии, что, пожалуй, и нам ничего не останется; следует нам взять хоть что-нибудь поскорее»^[34].

В январе 1582 года Россия и Речь Посполитая после долгих переговоров подписали перемирие сроком на 10 лет. Многомесячная осада не завершилась ничем, сам король покинул войско еще в декабре. На условия заключенного договора конечно же повлияла стойкость защитников Пскова. По договору Баторий отказывался от претензий на Псков, Новгород и Смоленск, в ответ на это Россия уступала все свои земли в Ливонии. Существенной статьей перемирия было также согласие поляков не подключать шведов к участию в договоре, что развязывало Ивану IV руки в выяснении отношений со Швецией.

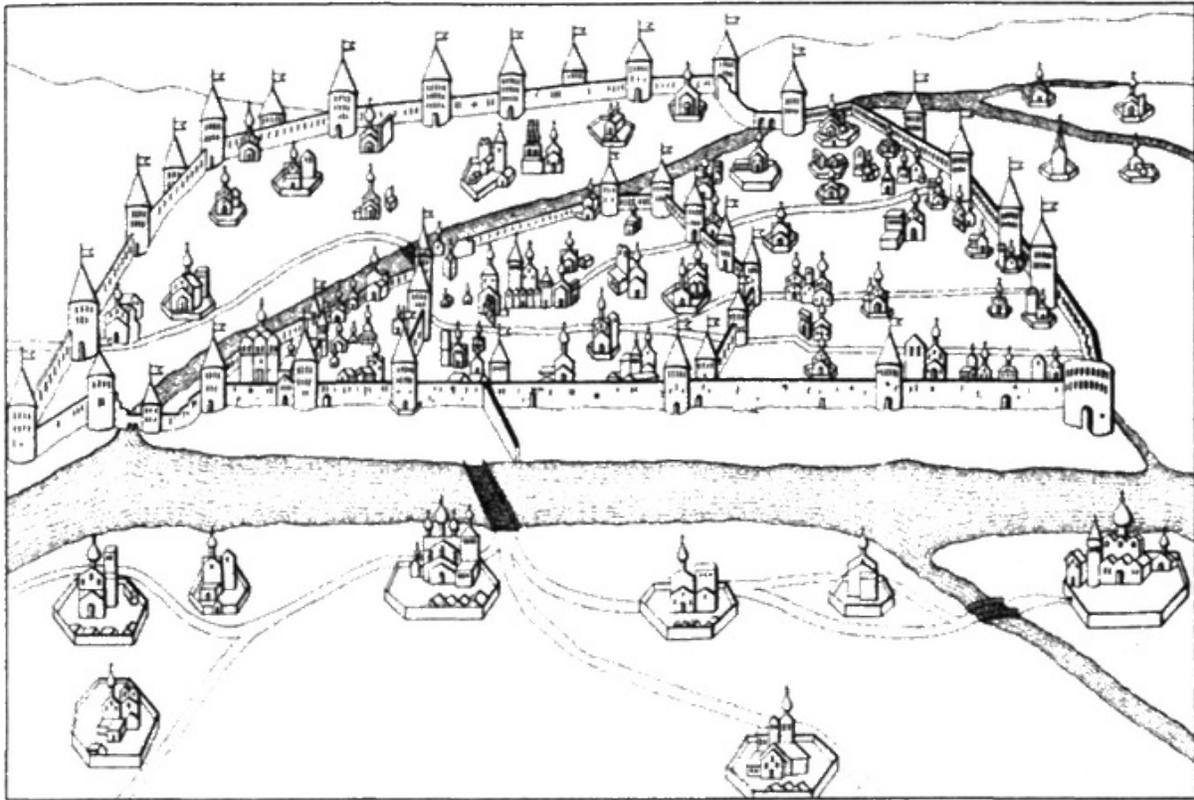
В октябре того же 1582 года войско Делагарди попыталось взять крепость Орешек, но было отбито защитниками и отступило. Однако длительная война против коалиции государств, непрекращающиеся набеги крымцев и опричнина существенно ослабили и Русское государство. Поэтому в 1583 году Москва была вынуждена заключить со Швецией Плюсское перемирие сроком на три года, уступив пограничные крепости Ивангород, Ям, Копорье и Корелу. За Россией осталась лишь крепость Орешек на реке Неве для выхода в Финский залив. Ясно, что заключенное на таких условиях перемирие являло собой пролог будущих военных действий.

По окончании войны защитники Пскова получили должное вознаграждение и новые назначения: Иван Петрович Шуйский остался воеводой там же, во Пскове, Василий Федорович Скопин-Шуйский поехал в Новгород.

В 1584 году умер Иван Грозный, престол унаследовал его сын Федор. Как это водится в международных делах, иностранных соседей интересовало прежде всего, не поменяется ли главная линия внешней политики России при новом правителе.

Понтус Делагарди, назначенный быть наместником в Эстонии, направил новгородскому воеводе князю Скопину-Шуйскому письмо, в котором запрашивал его: будут ли соблюдаться Россией условия Плюсского перемирия и когда ждать в Стокгольм русских послов для заключения «вечного мира»? Чтобы времени зря не терять, Делагарди приложил к своему посланию соответствующие грамоты для будущих послов. Однако

русская сторона сочла письмо оскорбительным и оставила его без ответа.



Вид Пскова во время осады города Стефаном Баторием. Рисунок с иконы

Казалось бы, что может быть оскорбительным для России в таком нехитром послании? Практически все. Во-первых, русские государи никогда не считали шведских королей себе равными. Долгое время Швеция находилась под властью датского короля, и поэтому в период установления Московией международных связей в XV–XVI веках великие князья заключали договоры непосредственно с Данией. Такой же порядок в России предпочитали сохранять и тогда, когда Швеция стала независимой. В письме шведскому королю Юхану III Иван IV пояснял, что тот никак не может именовать его «братом» своим, потому что равным русскому государю может быть только «цесарь римский» или иной прирожденный государь. Шведский король прирожденным государем не является, а стал им в результате переворота, и потому именуется Грозным «мужичьим» государем ^[35]. А поскольку Шведская земля рассматривалась в России

«ниже иных» государств или, как выразился Грозный, считалась «не настоящим королевством», то русский государь решал вопросы со шведами через своих подданных — новгородских наместников. Вот почему ни Иван III, ни его сын Василий, ни внук Иван Грозный своих послов в Стокгольм не отправляли.

К тому же в своем послании надменный полководец, опьяненный недавними победами, намеренно искажил титул русского государя, а шведского короля назвал «великим князем Ижерским и Шелонския пятины в земле Русской». Земля к северу и югу от Невы, называемая Ижорскою, и принадлежавшая Новгороду область по реке Шелонь издревле были частью русских земель, а потому и содержание послания, и его тон выглядели издевательскими.

Не дождавшись русских послов, Делагарди прислал вторую грамоту. И снова Скопин-Шуйский не удостоил заносчивого француза ответом, поручив сделать это второму воеводе, М. П. Катыреву-Ростовскому. Тот с достоинством написал, что незнание Делагарди обычаев понятно — он ведь «пришлец в Шведской земле». Напомнив об эмигрантском происхождении барона, воевода указал и на его невысокий, как бы мы сегодня сказали, социальный статус: «А что ты писал государя нашего титул не по-пригожу, так это потому, что ты при государях не живал» ^[36].

Большого оскорбления для предводителя победившего войска от лица побежденных трудно было и представить. Взбешенный Делагарди написал продолжающему сохранять молчание Скопину-Шуйскому, что отнюдь не считает его выше себя: «Я всегда был такой же, как ты, если только не лучше тебя». Второму воеводе он обиженно ответил, что в Швеции никто не считает и не называет его иноземцем, а при дворе государя своего он действительно не был, потому что воевал в это время в русской земле, и с большим успехом: «Вы все стоите в своем великом русском безумном невежестве и гордости; а пригоже было бы вам это оставить, потому что прибыли вам от этого мало».

Прибыли от такого дипломатического «лая» действительно не было никакой, но достоинство во взаимоотношениях с «ненастоящим», пусть и победившим на время королевством сохранить старались. К тому же в России помнили о недавнем оскорблении своих послов, происшедшем не без попустительства Делагарди. Правда, Иван Грозный после того случая прибег к адекватным мерам: при появлении в России шведских послов он приказал поступить с ними так же — ограбить и выслать.

Россия, только что вышедшая из многолетней войны и потерявшая

свои исконные территории, искала со Швецией не союз искренней любви, а пусть и худой, но мир, с тем, чтобы в будущем вернуть свои земли. Именно с этой целью в 1585 году русские послы отправились встречаться со шведскими на устье реки Плюссы, где за два года до того был заключен договор.

Шведскую сторону представлял все тот же Делагарди. Русские послы имели распоряжения от царя ни в коем случае не разрывать мирный договор, просить русские города обратно сначала даром, а если откажут, то предложить шведам деньги — за Ям, Копорье, Ивангород и Корелу 15 тысяч рублей. Шведы даром конечно же ничего отдавать не собирались — «даром только яблоки да груши отдают» — и требовали за первые два города сумму неслыханную — 400 тысяч! Неуступчивость шведских послов и цена, которую они заломили, говорили о слишком свежих воспоминаниях одержанных Делагарди побед. Неизвестно, чем закончились бы тогда для России переговоры с его участием, если бы в самый их разгар не случилось непредвиденное.

Переправляясь через Нарову, 65-летний Делагарди утонул в реке, — так сказать, окончил жизнь в водовороте событий русско-шведских отношений. Московские послы немедленно известили о том Федора Ивановича, который посчитал, что произошло это «Божиим милосердием». В отсутствие главного лица переговоры завершились подтверждением старого мира еще на четыре года, и хотя Россия своих городов не вернула, но получила на несколько лет отсрочку от войны.

Понтуса Делагарди похоронили со всеми почестями в Таллине, в соборе Девы Марии. На надгробной плите богатого саркофага изображали боевые подвиги почившего военачальника. Со смертью Делагарди его имя, однако, не исчезло со страниц русской истории. За пять лет до своей кончины Понтус заключил брак с Софией Гилленгиельм, в 1583 году у них родился сын Джакоб (Яков). Ему предстояло вырасти сиротой — его мать умерла в том же году, когда погиб и отец. Примерно в это же время — в 1586 году — у Скопина-Шуйского родился сын Михаил. Яков Понтус Делагарди и Михаил Васильевич Скопин-Шуйский спустя несколько лет встретятся в России, где им предстоит сражаться бок о бок с войском самозванца. Так драматичным и причудливым образом переплелись в истории России две фамилии — русских полководцев Скопиных-Шуйских и шведских наемников Делагарди.

Со скипетром в руках

Отец Михаила после удачной обороны Пскова и окончания Ливонской войны вместе с Иваном Шуйским был в особой чести у Ивана Грозного. Оставляя царство своему наследнику — старшему сыну Федору, царь, видимо, включил Скопина в число регентов. Об этом недвусмысленно говорит участие Василия Скопина в церемонии венчания царя Федора Ивановича на царство. Во время обряда в Успенском соборе князь Федор Иванович Мстиславский держал над головой царя венец — царскую «шапку», а князь Василий Скопин-Шуйский — скипетр — жезл, символизирующий власть государя. Третьему участнику церемонии — Борису Годунову было поручено «яблоко» — держава^[37]. Позже Скопин присутствовал и на торжественном обеде вместе с близкими царю людьми — тем же князем Ф. И. Мстиславским и Д. И. Годуновым^[38].

В начале своего царствования Федор Иванович благоволил к Шуйским. Они получили богатые кормления и земельные пожалования: Иван Петрович Шуйский был пожалован в кормление Псковом и Кинешмой, Василий Федорович Скопин-Шуйский удостоился «великого государева жалованья» — города Каргополя^[39]. Василий Федорович Скопин-Шуйский заседал и в Боярской думе. Английский посланник Д. Флетчер, побывавший в России во времена Федора Ивановича, назвал имя Василия Федоровича Скопина-Шуйского в списке думных бояр третьим по знатности, после князей Федора Ивановича Мстиславского и Ивана Михайловича Глинского. При этом англичанин прибавил, правда, что всех троих вельмож более ценят за их знатность, нежели за ум^[40]. И все же не одной знатностью отличался отец Скопина — как человек с богатой военной биографией и немалым опытом, он конечно же давал в Думе советы именно по военной части.

Иначе отозвался англичанин о Василии Шуйском, назвав его «самым умным из Шуйских». Можно добавить еще — также самым изворотливым и ловким: не было такого заговора, в котором бы князь Василий Иванович не поучаствовал, тщась захватить власть, и не было такой клятвы, которую он не нарушил бы. Попадал он в опалу и при Федоре Ивановиче, и при Борисе Годунове; при Лжедмитрии I и вовсе едва не сложил голову на плахе. Но всякий раз за бурей следовал штиль, и он снова оказывался среди первых лиц государства, пока не достиг, наконец, желанной вершины со

скипетром в руках и шапкой Мономаха на голове. Однако жизнь свою он окончил не на вершине, а у подножия, потеряв в плену и власть, и родину, и жизнь, и доброе имя.

Один из таких заговоров, в который вольно или невольно оказался вовлечен и отец Михаила, состоялся в мае 1586 года. Целью заговора было развести царя с сестрой Бориса Годунова, царицей Ириной, по причине бездетности их брака, и предложить ему новую невесту — Ирину Мстиславскую, сестру князя Федора Мстиславского. Заговорщики привлекли на свою сторону торговых и посадских людей, которые шумной толпой пытались ворваться в Кремль, так что даже пришлось усилить охрану.

Однако Бориса Годунова вполне устраивал бездетный брак его сестры. Он даже сумел убедить митрополита Дионисия, что в этом случае у второго сына Ивана IV, царевича Дмитрия, не будет соперников и, следовательно, не возникнет борьба за власть. И поэтому Борис не только сумел расстроить заговор, но и вовремя обезглавить его: в сентябре 1586 года на Шуйских была положена царская опала. Что и говорить, «яблоко» — державу — Годунов сжимал в своей руке крепко. Однако этого ему было мало, он уже простер руку и к царскому жезлу, желая сам именоваться «скипетроносцем».

Главные заговорщики — князья Шуйские — были отправлены в ссылку, защитник Пскова Иван Петрович Шуйский сослан в дальний монастырь на Белом озере, где умер при загадочных обстоятельствах. Вместе с Шуйскими пострадали и их сторонники: Татевы, Колычевы, Быкасовы, Урусовы. Несостоявшуюся невесту царя — Ирину Мстиславскую — постригли в Вознесенский монастырь в Кремле, земских и торговых людей, примкнувших к заговорщикам, казнили. Так Годунов расправился со своими главными политическими противниками — сильным кланом князей Шуйских, потомственных Рюриковичей.

Чтобы скрыть случившееся перед иностранными дворами, послам, отправляющимся в Литву в 1587 году, дали наказ: если спросят, за что на Шуйских государь опалу положил и за что казнили земских посадских людей, отвечать: государь князя Ивана Петровича за его службу пожаловал своим великим жалованьем, дал в кормление Псков и с пригородами; братья его стали перед государем измену делать, на всякое лихо умышлять с торговыми мужиками, а князь Иван Петрович им потакал, к ним приставал и неправды многие показал перед государем ^[41].

Возможно, Василий Скопин и не принимал активное участие в

заговоре, лишь «потакал» заговорщикам, как и его боевой товарищ Иван Шуйский. Однако в то время родовая связь скрепляла членов рода не только во время возвышения одного из них, но и во время опалы, — уж если и карали кого-нибудь, то, случалось, страдал и весь род. Похоже, по этой причине пострадал и отец Михаила: его лишили кормления в богатом Каргополе. Правда, в сравнении с участью Ивана Шуйского, он, что называется, легко отделался.

Осенью у Василия Скопина должен был появиться долгожданный ребенок. От одной мысли, что его отправят в далекую ссылку или организуют ему «внезапную» смерть по дороге и он никогда не увидит своего наследника, было невыносимо. Что он, воевода и полководец, мог предпринять в хитро сплетенной не им придворной интриге? Только горячо молиться за счастливое разрешение ситуации. И еще по христианской традиции Василий Федорович сделал богатый вклад в Соловецкий монастырь — подарил обители серебряную водосвятную чашу, созданную новгородскими искусными мастерами, украшенную чеканкой, резьбой, позолотой и эмалью. Произошло это в августе 1586 года, в канун опальных расправ. По венцу чаши князь приказал сделать надпись: «Лета 7094 (1586) августа в 10 день во дни благоверного и христоролюбивого царя и великого князя Федора Ивановича всея Россия самодержца и при освященном митрополите Дионисии и при архиепископе Александре Великого Новгорода и Пскова при игумене Иакове Соловецкие обители сию чару дал в дом всемилостивого Спаса и Пречистыя Богородицы и великим чудотворцем и начальником Соловецким Зосиме и Савватию на освящение воды князь Василий княже Федоров сын Шуйского Скопина а по отце по своем князе Федоре в иноцех Федосие по матери по своей по княгине Марие во иноцех Марфе и по своих родителей и по грешной своей душе»^[42].

Этот вклад в монастырь — невольное доказательство причастности князя Василия Скопина к событиям 1586 года, по крайней мере — его осведомленности о заговоре. Что же, участие в жизни «скипетродержавцев» едва не стоило жизни самому Василию Скопину: видно, удел Скопиных — не за власть бороться, а охранять безопасность государства с мечом наголо. Именно в этом и преуспеет его сын Михаил.

Жизнь Скопина-старшего, особенно на фоне бурной политической судьбы его родственника князя Василия Шуйского конечно же выглядит скромно: он не руководил заговорами, не жаждал власти, не отправлялся в ссылки. Но назначения он получал по службе самые ответственные, бывал

неоднократно воеводой в двух важнейших пограничных городах России — в Новгороде и Пскове; его преданность и надежность были оценены и царем Иваном IV, и его сыном царем Федором Ивановичем. Может быть, именно от отца молодой Скопин унаследовал осторожность и ответственность, разборчивость в выборе средств для достижения цели — качества, необходимые и политику, и полководцу.

Глава вторая

СЛУЖБЫ СТОЛЬНИКА СКОПИНА

*Муж книжен без ума добра аки слепец есть.
Муж мудр без книг подобен есть оплоту без
подпор.*

Древнерусский афоризм

Среди множества статей и монографий, посвященных богатому драматическими событиями Смутному времени, едва найдется три-четыре очерка, написанных о нашем герое — князе Михаиле Скопине-Шуйском ^[43]. Да и как можно писать о человеке, от которого, по словам историка В. С. Иконникова, «до нас не дошло ни одного слова, ни одного письма»? Не менее пессимистично смотрел на дело составления биографии Скопина С. М. Соловьев: «...живых людей, с резко определенным образом, мы не найдем ни в Скопине, ни в Ляпунове, ни в Пожарском, ни в Минине». А Н. И. Костомаров, посвятив Михаилу Скопину отдельный очерк, тем не менее не увидел в нем ни одной индивидуальной черты: «В повествованиях о его деяниях нет ни одного места, где бы он явился со свойственным ему одному, отличным от других, образом взглядов, чувств и приемов».

При таком строгом приговоре именитых историков непросто начинать писать биографию героя. Однако по ходу работы выяснялось, что о Михаиле Скопине сохранилось множество известий в документах Смутного времени; его современники — будь то русский автор или иностранец, побывший в России, — не забыли рассказать или хотя бы упомянуть о полководце: столь неординарной личностью он им представлялся. В XVII веке Михаилу Скопину-Шуйскому посвятили две повести, где изложили события его короткой, но яркой биографии. Отдельного рассказа о земной жизни удостаивались лишь причисленные к лику святых, вот почему биография, написанная в XVII веке, — вещь редкая, можно сказать, единичная, и вряд ли выбор героя для автора был случаен.

В народе о славном полководце — освободителе Москвы и «спасителе Отечества», как его называли, — сложили не одну песню и балладу. Сам факт существования и биографии, и народных песен сразу обращает на

себя внимание и заставляет более пристально присмотреться к личности Скопина. Спустя почти четыре столетия нам, пережившим бурную эпоху конца XX столетия, и сами герои Смуты, и мотивы их поступков становятся ближе и, может быть, понятнее, чем историкам, жившим в начале века. «Каждый век, приобретая новые идеи, приобретает и новые глаза», — заметил Генрих Гейне. К тому же за последнее столетие опубликовано немало документов, не только написанных о нашем герое, но и продиктованных им самим. Объединив всю эту россыпь свидетельств и не претендуя на совершенную полноту изложения, мы попытаемся воссоздать портрет Михаила Скопина в его главных, основных чертах.

К слову, о портрете. Кроме повестей и песен, посвященных Скопину-Шуйскому, сохранился — случай тоже исключительный — его портрет, или иконописная парсуна. Помещена она была над гробницей Михаила Скопина в Архангельском соборе Кремля и являлась, по мнению специалистов, частью трехчастной иконы, где в центре находилась икона Спаса, справа — изображение усопшего, а слева — икона тезоименитого святого; усопший и его святой предстояли Христу как в Деисусе. Была ли написана икона сразу после смерти Михаила Скопина или спустя полвека — это предмет исследований и обсуждений искусствоведов^[44]. Нам же видится здесь важным иное: далеко не каждый известный человек той эпохи удостоивался быть запечатленным живописцем.

Детство

Итак, одна из повестей, посвященных Скопину, называется «Писание о преставлении и погребении князя Скопина-Шуйского», другая — «Повесть о рождении князя Михаила Васильевича». «Писание», по мнению исследователей, было создано в 1612 году современником и очевидцем описанных в ней печальных событий, «Повесть» — несколько позже, в 1620 году, после окончания Смуты. Русское Средневековье — эпоха немногословная, о частной жизни того времени узнать непросто, да и сам образ жизни людей Средневековья для нас порой остается загадкой. Ни летописцы, ни сказители его не описывали — зачем писать о том, что и так всем знакомо, обыденно? Оба произведения, написанные по горячим следам, как и посвященные Скопину исторические песни, отразили прежде всего отношение народа к внезапной кончине Скопина; изложение в них носит явный отпечаток песенного, былинного стиля, скорбь по рано ушедшему из жизни полководцу звучит в каждой их строчке, о нем говорится как о народном герое. И все же, несмотря на панегирический характер — перед нами первый опыт биографии Скопина-Шуйского, тем более важный для нас, что в нем запечатлелось свидетельство современников.

В «Повести о рождении» так описывается начало жизненного пути будущего полководца: «Родися убо сей великий воин и воевода князь Михаил Васильевич Шуйской в лета 7095 и наречено бысть имя его на память Собора святого Архангела Михаила месяца ноября в 8 день»^[45]. То есть родился он в 1586 году, наречен именем в честь Архангела Михаила, память которого празднуется 8 (по новому стилю 21-го) ноября. Согласно указанию Требника и по традиции того времени, христианским именем ребенка нарекали на восьмой день после рождения, если же крестины происходили в другой день, то имя ему все равно давали в честь одного из тех святых, которых поминали на восьмой день после рождения^[46]. Можно предположить, исходя из описанной традиции, что родился Михаил 1 ноября. Впрочем, в те времена особо торжественно отмечали не день рождения, а именины — день, в который поминали небесного покровителя. У каждого человека есть свое предназначение на земле, и выбранное имя об этом предназначении свидетельствует. То, что небесным покровителем Михаила стал предводитель небесных сил, вождь и полководец — архистратиг Михаил, — указывало на путь будущего воина и защитника.

«Повесть...» коротко описывает детство героя. Как и другие младенцы, он в свое время научился ходить, заговорил, «таже и по млечней пици к земнородным пицам хлебу и овощем присовокупляется». Воспитание боярских отроков было призвано подготовить будущего воина, дипломата или чиновника, — в этих сферах находили свое призвание выходцы из знатных семей. Зачастую им приходилось, выполняя великокняжеские и царские поручения, проявлять себя на всех трех поприщах. Но главной для многих оставалась конечно же военная служба.

Многие знатные роды хранили предания о подвигах предков в ратном деле и передавали их из поколения в поколение. Часы досуга заполнялись воспоминаниями о их победах, взрослые мужчины любили рассказывать истории из собственной военной биографии, а мальчишки — слушать их. Военская доблесть и ее обретение, сохранение чести и доброго имени — вот главный предмет этих рассказов. Не забывали ветераны упомянуть и о своих поражениях и неудачах, коих в многочисленных походах против татарских, литовских и шведских войск было немало, — ошибки отцов должны были послужить уроком для молодых. Отец не раз рассказывал Михаилу о сражениях Ливонской войны и Ругодивском походе против шведов. Но самым ярким детским впечатлением конечно же оставался услышанный от отца рассказ об обороне Пскова. Вот где было чему поучиться! Не беда, что слушатель еще был мал: о том, как метко стреляли русские пушкари и как защитники взорвали крепостную башню вместе с ворвавшимися туда поляками, Михаил запомнил на всю жизнь.

Любимым семейным чтением в те годы было Священное Писание. Отец, когда бывал дома, сам читал его вслух, а потом нередко беседовал с сыном о прочитанном. Семейная воспитательная традиция, формировавшаяся на протяжении всего Средневековья, наиболее полно представлена в знаменитом «Домострое». Его первая глава так и называется «Наказание от отца к сыну». В ней отец учит сына «быти во всяком христианском законе, и во всякой чистой совести и правде, с верою творящее волю Божию, и хранящи заповеди Его, себе утверждающе во всяком страхе Божии и в законном жительстве». То есть главная задача отца — учить сына соблюдать евангельские заповеди. В этом «Домострой» продолжил линию воспитания, определенную еще Владимиром Мономахом в его «Поучении» своим сыновьям. Оба произведения рисуют тот образец жизни для молодого человека, к которому необходимо стремиться. Реальная же жизнь в ее ежедневных испытаниях и заботах, однако, вводила от этого идеала. Преодоление преград с меньшими, по возможности, потерями и составляло тот опыт, который отец вместе с

наставлениями передавал своим детям. Личный пример отца был главным и единственным средством воспитания сына.

В 1586 году, в пору поздней осени, когда родился Михаил, род Шуйских еще не оправился от учиненной над ними Борисом Годуновым расправы. Но отец Михаила выжил и, видимо, к моменту рождения сына находился в Москве. Однако уже в декабре того же года царское войско отправляется в Можайск, где ожидает нападения польского короля Стефана Батория, и Василий Скопин-Шуйский получает назначение командовать полком правой руки^[47]. Поэтому, недолго побыв в семье, счастливый отец, как и полагается воеводе, уходит в военный поход. Автор «Повести о рождении князя Михаила Васильевича» скупно описывает детство героя, об отце почти ничего не рассказывает, но можно не сомневаться, что бурная политическая и военная жизнь России XVI столетия вряд ли позволяла боярину и воеводе проводить много времени дома.

В 1590 году начинается новая война со Швецией, и опытного полководца Скопина-Шуйского переводят осадным воеводой в Новгород, занимавший важное стратегическое положение в приграничной области; там же Скопин остается «годовать» и в 1591 году^[48]. Как главный воевода он отвечал не только за оборону Новгорода, но также расписывал по полкам людей и воевод во время похода.

Вместе с ним в Новгороде воеводствовал князь Тимофей Романович Трубецкой, который пользовался явным расположением Бориса Годунова. Это покровительство и позволило князю Трубецкому начать местничать со старшим в роде Шуйских — Скопиным. Попытки князя Трубецкого «подать щот» на воеводу Скопина — несомненный отголосок дела Шуйских 1586 года. О том, насколько уверенно чувствовали себя при царе Федоре фавориты Бориса Годунова, свидетельствует царское решение по этому местническому делу: челобитная Трубецкого была принята в Разрядном приказе, то есть местническому делу был дан ход. Любопытно, что встречную челобитную, защищая честь рода Шуйских, подал не сам князь Василий Скопин-Шуйский, а его родственники — братья Василий и Дмитрий Шуйские.

Возглавивший в 1591 году следственную комиссию по делу об убийстве царевича Дмитрия, Василий Шуйский, видимо, уже считал себя вполне реабилитированным и потому смело написал в челобитной царю, что князь Трубецкой бил челом «на князь Василья Федоровича Шуйского о местех не по делу; а боярину князю Тимофею мочно быть менши их меншова брата»^[49] — так «принцы крови» Шуйские указали князю

Трубецкому его место.

Почему князь Василий Скопин-Шуйский сам не подал челобитную царю — объяснить трудно. Была ли причиной тому его занятость в походах (в годы войны со Швецией он ходил воеводой государева полка в поход под Ругодив и Ивангород; поход был удачным, и шведы запросили перемирие)? А может быть, здесь сказались и нежелание Скопина заниматься местническим спором, за которое с готовностью взялись братья Шуйские. Как бы то ни было, но после того похода и совпавшего с ним по времени местнического спора князь Василий Скопин военных поручений больше не получал и был отставлен от ратных дел.

С момента пожалования в 1577 году Василию Скопину боярства (которое редко кто получал до тридцати лет) прошло более полутора десятка лет. По меркам того времени, он был человеком уже немолодым, возможно, раненным не в одном сражении и слабым здоровьем. Поэтому окончание его военной карьеры в 1591 году могло быть и данью возрасту^[50]. Начиная с 1592 года, когда Михаилу исполнилось шесть лет, отца уже больше волновало воспитание сына, так что назначение «сидеть» в Судном Владимирском приказе вместе с думным дворянином Игнатием Петровичем Татищевым и дьяком Афанасием Малыгиным^[51] пришлось как нельзя кстати.

В этом приказе рассматривались все судебные дела бояр и московских вельмож, а также дворян разных уездов: «кто желает обвинять их, должен заявить сюда, здесь производится и суд, если дело частного характера»^[52]. Чтобы выносить решения по тяжбам знати, требовался немалый жизненный опыт, умение лавировать, обходить заведомо гиблые места, не навлекать на себя опалу, но и не терять при этом собственного достоинства.

Судный приказ, как и остальные приказы, находился в Москве, и у Василия Федоровича с новым назначением появилась возможность больше времени проводить в семье. Михаил, вероятно, был его единственным сыном: во всяком случае, о других детях Скопина источники молчат; к тому же известно, что раннюю кончину Михаила его мать будет оплакивать, как смерть своего единственного чада. Можно не сомневаться, что отец Михаила в эти годы уделял много внимания мальчику: читал ему книги, покупал или распорядился изготовить для него игрушки, наблюдал за его забавами. Самыми любимыми мальчишескими игрушками были конечно же те, что готовили к ратному делу: деревянные «пищали», луки со стрелами, барабаны и деревянный «конь, потешная лошадка». Такие игрушки, принадлежащие маленькому Михаилу Романову, хранятся ныне в

музее — наверняка были они и у маленького Михаила Скопина. Носил он также и детские доспехи.

Когда мальчику исполнялось три-четыре года, обычно совершался традиционный на Руси обряд пострига и сажания на настоящего коня. В этот день в дом приглашали родственников, крестных отца и мать. Отец подавал куму ножницы, и тот выстригал волосы на темени мальчика, после чего кум и кума выводили крестника во двор и передавали отцу, а тот, приняв сына с поклоном, сажал на коня. Обряд сажания на коня описывался в летописях еще со времен Киевской Руси, он символизировал подготовку к будущей воинской службе, был ее прообразом. С этого момента начинался новый жизненный период в жизни мальчика, он переселялся в покои отца, и воспитывали его уже мужчины, правда, под присмотром кормилицы и мамок.

Детские развлечения и игры тех лет знакомы и нашим детям — зимой катание на санках с гор, летом — качели; мальчишки любили играть в тычку или свайку: бросать нож через черту или в кольцо. Именно за таким занятием — игрой в тычку — настигла смерть царевича Дмитрия в Угличе. Иностранцы часто упоминают о том, что любимым занятием москвитов была игра в шахматы. Известно, что Иван Грозный любил шахматы, шахматные доски изготавливали и для детей, они продавались в торговых рядах.

Но особенную любовь и дети, и взрослые проявляли к военным забавам, которые развивали силу и позволяли проявить находчивость. Среди военных игр самой известной можно назвать «взятие снежного городка». Из снега вырезали блоки и сооружали из них крепость, дети и подростки обоего пола были ее пешими защитниками, а молодые люди верхом на конях играли роль нападающих. Защитники вооружались снежками и крепкими прутьями лозы, которыми они стегали лошадей. Художник В. Суриков запечатлел на своей знаменитой картине один из моментов этой игры.

Чтобы захватить крепость, нападающий должен уметь хорошо управлять лошадью, которая норовит встать на дыбы, когда ее хлещут по бокам прутьями или бросают в нее снежки. Одного этого, однако, для победы мало: нужно не только усидеть на коне, но и попытаться заставить его перепрыгнуть через снежную стену. От наездника требуются и ловкость, и храбрость, и даже некоторая военная хитрость, которой найдется место позже на настоящем поле сражения. Эта игра сохранялась в России вплоть до XX века, а в Сибири в нее играют и по сей день.

Другим любимым развлечением были кулачные бои. Встречались для

поединков и один на один, и стенка на стенку, когда выходили бороться целой улицей или слободой. Эти потасовки рассматривали не как способ сведения счетов, а скорее как соревнование, прививавшее умение держать удар. Проходили кулачные бои, как и штурм снежной крепости, зимой, — чтобы снег смягчал возможное падение от удара. Кулачные бои приучали молодых людей не только к выносливости; поговорка «лежачего не бьют» сохранила нам память о суровых мужских забавах, которые давали одновременно и уроки справедливости ^[53].

Современники описывали молодого Михаила как человека огромного роста и богатырского сложения, имевшего талант полководца. Такие природные данные в одночасье не возникают, физическая крепость формируется, как и характер, неустанными упражнениями. Одно лишь сидение за столом с ложкой вряд ли сложило бы такой яркий облик Михаила, запомнившийся всем, знавшим его. Поэтому можно смело представить, как Михаил вместе со сверстниками не только наблюдал за зимними играми, но и принимал в них живейшее участие: таскал глыбы снега для крепости, хлестал прутьями коней, пытавшихся взять крепость, лепил снежки и руководил такими же, как и он, мальчишками в кулачных боях. Так в мирных забавах лепился характер будущего полководца.

Отрочество

Когда дитя достигало семи лет, детство оканчивалось, наступало отрочество. С этого времени отрока учили грамоте. Особой чертой Михаила его биограф называет прилежание «к книжному учению». Знание, или «книжность», в России приветствовалось, ибо княжескому отроку предстояло повелевать людьми, а мудрость приходила не только из собственного или отцовского опыта, но и из чужого, накопленного столетиями, — такой опыт черпали прежде всего в книгах. Недаром летописец сравнивал книги с реками, «наполняющими вселенную», в них находили и утешение, и «неисчислимую глубину».

В Средневековье среди сильных мира сего встречалось немало людей, знавших несколько языков и любивших читать. Среди книжных людей древней Руси летописцы называли князя Владимира Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Ярослава Галицкого Осмомысла, Владимира Волынского, Константина Ростовского. Отец Владимира Мономаха князь Всеволод выучил пять языков, отчего ему, по словам сына, и «честь есть от инех земель».

После более чем двухвекового монголо-татарского ига книжность, как и вся русская культура, пришла в упадок. Число образованных людей даже среди власть имущих было невелико: князь Дмитрий Донской, к примеру, был неграмотным. Встречались и среди священников не умеющие прочесть даже Священное Писание. Новгородский архиепископ Геннадий по этому поводу сокрушался: «А се приведут ко мне мужика, и язъ велю ему Апостол дати чести, а он не умеет ни ступити; и язъ ему велю Псалтырю дати, и он и по тому одва бредет; и язъ его оторку (откажусь от него. — Н. П.), и они изветь (оправдание. — Н. П..) творят: „земля, господине, такова, не можем добыта, кто бы горазд грамоте“; ино ведь то всю землю излаять (подыскивал. — Н. П.), что нет человека в земле, кого бы избрати на поповство»^[54].

Во второй половине XVI века происходят изменения в лучшую сторону. В 1563 году Иван Федоров по указу Ивана IV и при содействии митрополита Московского Макария начинает печатать первую книгу — «Апостол». Борис Годунов поощрял образованность и даже послал первых учеников за границу обучаться языкам и прочим наукам. В XVI столетии образцом начитанности можно назвать царя Ивана IV, который был известен и как владелец огромной библиотеки. Книжными людьми

называли архиепископа Новгородского Геннадия и преподобного Иосифа Волоцкого, в кругу которых в конце XV века был создан первый полный свод Библии на русском языке. Ко времени рождения Михаила Скопина в России уже читали не переписанное от руки, а напечатанное на станке Священное Писание. Хранилось оно и в доме Скопиных.

Важно отметить, что в сознании русских людей того времени «книжность» епископов, князей, горожан вовсе не была синонимом той «книжности» догматиков и толкователей, о которой говорится в Евангелии. «Книжными» именовали тех, кто имел пристрастие к чтению, заказывал переписчикам книги, собирал библиотеки, сам составлял рукописные книги. Таких, судя по скупому перечню имен, названных летописцами, было немного ^[55].

С печатанием книг в России множатся азбуки и арифметики, составляются карты-схемы Российского государства, появляются школы и училища в стране. Художник Н. Ф. Некрасов отразил черту той эпохи, написав картину «Борис Годунов рассматривает карту, по которой учится его сын». На столе перед царевичем Федором «яблоко» — глобус, в руках «кружало», как называли тогда циркуль, которым царевич измеряет расстояние по разложенной перед ним карте. За спиной юного царевича стоит Борис Годунов, наблюдая за успехами наследника.

Вполне возможно, что обучение Михаила Скопина, бывшего ровесником царевичу Федору (разница в возрасте у них составляла всего три года), проходило так же. Вот только отец уже не руководил его обучением и не мог порадоваться успехам сына — он скончался в 1595 году, едва Михаил достиг восьми лет: «Преставися в лето 7103, в Суздале граде погребают и ко гробом прародитель и родитель своих прилагают его и достойное надгробное пение и учреждение устроившее. Сему же отрочате младу осмолетну сущи отеческая любви разлучившуся остася» ^[56]. Князя Василия Федоровича Скопина-Шуйского погребли в родовой усыпальнице в Суздале, вместе с его предками. Перед кончиной он принял постриг с именем Иона ^[57].

Как будто в утешение оставшемуся без отца ребенку, Господь, по замечанию автора «Повести о рожении», дает «быстроту разума», отчего тот легко «приемлет учение книжное» ^[58]. Книжное обучение с момента появления христианства на Руси имело единственную цель — чтение Священного Писания и понимание богослужебных книг. Начиналось обучение Михаила приглашенным для него учителем с азбуки: сначала мальчик выучил буквы, потом слоги двух-и трехбуквенные. Чтобы

облегчить запоминание букв, учитель записал для него известную всем в то время азбучную молитву. Написана она была акростихом, — каждая строка стиха начиналась с соответствующей буквы азбуки:

Аз — сим словом молю ся Богу,
Боже всея твари зижителю,
Видимья и невидимья!
Господи духа послѣ живущаго,
Да вдохнет ми в сердце Слово!^[59]

После того как отрок освоил чтение, его начали обучать счету и письму по прописям. В дошедшем до нас рукописном букваре Кариона Истомина рядом с буквами, написанными разными почерками, видны и нарисованные картинки: рядом с буквой «аз» — Адам, с «буки» — брань, или война. Возможно, по такой же рисованной азбуке учился читать и Михаил. Он внимательно рассматривал изображения всадников с мечами и копьями, солнце, луну и звезды, диковинных животных вроде единорога и качающиеся в беспокойных волнах корабли.

Пройдя азы, боярский сын приступил к чтению и разбору молитв вечернего и утреннего правила, затем служб и часов. Теперь основными книгами Михаила были Часослов, а после него и Псалтирь. Благодаря тому, что по этим книгам учились читать, грамотный человек того времени знал содержание Псалтири наизусть.

Далеко не всем учение давалось легко. Как заметил архиепископ Геннадий: «А иным ведь силы книжные не мощно достати, толко же азбуку границу и с подтителными словы выучить... а они не хотят учиться азбуке, да хотя и учатся, а не от усердия». Любой труд требует усилий, а учеба — тот же труд. Так что прилежание Скопина-Шуйского к книжному учению свидетельствовало о его трудолюбии и усердии, а успехи в освоении наук выделяли его среди ровесников. «Аще горести не вкусити, то и конечныя сладости не видати», — заметил один из переписчиков книг.

Освоение грамоты вело по лестнице учения к книжной премудрости, которая, как было написано в азбуке XVII века, «подобна есть солнечной светлости, но и солнечную светлость мрачный облак закрывает, а книжную премудрость и вся тварь сокрыта не может»^[60].

Мать

Смерть отца для ребенка в малом возрасте — огромная потеря, но сиротство его половинное, пока жива мать. Нередко оставшийся без отца отрок бывает окружен вниманием и заботами матери даже больше, чем дети в иных семьях.

Что мы знаем о матери Михаила, княгине Алене Петровне? Как о любой женщине той эпохи, немногое. Происходила она из княжеского рода Татевых, ветви князей Стародубских (Ряполовских), ведущей свое происхождение от Рюрика. Ее отец Петр Иванович Татев получил боярство при Иване IV, а его родные братья, Андрей и Федор, дядья Алены, служили наместниками и воеводами. Матерью Алены Петровны была А. И. Стригина^[61]. Петр Иванович — в иночестве Пимен — скончался 22 сентября 1581 года и похоронен в Троице-Сергиевой лавре^[62]. Кроме дочери Алены ему наследовал сын Борис, сам отец троих сыновей.

И Борис Петрович, и двоюродный брат матери Иван Андреевич после того, как Алена Петровна овдовела, фактически стали наставниками маленького Михаила. Вместе со своими двоюродными и троюродными братьями воспитывался и рос оставшийся без отца мальчик. Когда же, повзрослев, он вступит на ратный путь, то первые свои военные назначения будет получать вместе с родным дядей Борисом Петровичем, под его началом; в Разрядных книгах их имена будут всегда стоять рядом. Под крылом дяди он получит и первое боевое крещение в боях с Болотниковым под Москвой, с ним же рядом будет оставаться до самой гибели Бориса Петровича в 1607 году.

Средневековое общество особенно плотно связывали нити родства, и корнем рода всегда выступал мужчина, — именно поэтому русские родословные книги вели счет поколений только по мужской линии. Но случалось, что роль главы семьи переходила в руки женщины, от которой в этих условиях требовались и жесткий характер, и умение быть рачительной хозяйкой. История сохранила нам немало имен «матерых вдов», властной рукой управлявших и своими домочадцами, и холопами: в этом ряду стоят и княгиня Ольга, и посадница Марфа Борецкая, и Елена Глинская. Не являя себя явно, но сквозь отдельные поступки все же высвечивая свой характер, Алена Петровна выступает перед нами именно такой женщиной, поневоле вставшей во главе своей семьи.

Занимая высокое положение вдовы думного боярина, Алена Петровна

бывала на многих официальных мероприятиях. К тому же старший в то время среди Шуйских, князь Василий Иванович, долгое время оставался не женат, и поэтому роль старшей из женщин в роде Шуйских принадлежала Алене Петровне. Присутствовала она и на боярских пирах, и на царских свадьбах: ее имя упоминается на торжественном обеде по случаю венчания на царство Лжедмитрия I и на его свадьбе. Знала она и нравы знати, и цену слухам и доносам, особенно в царствование Бориса Годунова, когда доносительство, поощряемое подозрительным царем, расцвело пышным цветом.

В 1598 году скончался последний представитель правящей ветви династии Рюриковичей — царь Федор Иванович, не оставивший после себя наследников. Год кончины царя Федора современник назовет «пучиной нашей скорби» и «годом общего рыдания», многие потом в годы Смуты будут считать Федора Ивановича последним законным правителем.

В государстве спешно принимались меры безопасности на случай иностранного вторжения. Были усилены гарнизоны пограничных крепостей Смоленска и Пскова. Находящихся в это время послов и купцов старались как можно скорее выпроводить за границу, а до отъезда содержали под стражей, выдавая продовольствие и сено для лошадей за казенный счет, — так боялись распространения вестей за границу. Интересно, что в этот момент не возникло даже намека на то брожение, какое через несколько лет и современники, и вслед за ними историки назовут Смутой^[63]. Власть четко выполняла свои обязанности, и события не выходили из привычного для них русла.

Между тем в Москве шла борьба за власть, о которой по городу ползли слухи. Еще при жизни равнодушного к величию царя Федора Ивановича фактическим правителем государства стал его шурин Борис Годунов. Однако имелись и другие претенденты на престол, и среди них все чаще называли имена братьев Романовых. Об этом написал в своих мемуарах Конрад Буссов, немец на русской службе: умирающий Федор Иванович отдал царский скипетр не Борису Годунову, а Федору Никитичу Романову, но тот предложил его своему брату, а брат в свою очередь — другому брату по старшинству. Пока они передавали друг другу скипетр, Борис Годунов будто бы протянул руку и схватил его, а умиравший царь произнес: «Ну, кто хочет, тот пусть и берет скипетр, а мне не вмоготу больше держать его»^[64], — и скончался. Легенда эта выглядит совершенно неправдоподобной; тем не менее у нее есть вполне реальные основания: Романовы состояли в родстве с царем и знатностью превосходили многих

других, тем более неродовитого Годунова. Федор Никитич Романов вполне мог стать преемником царя Федора Ивановича ^[65].

Спустя сорок дней после кончины государя в Москву начали съезжаться представители сословий, земель и городов на Земский собор, вскоре 500 членов Собора под председательством патриарха Иова провозгласили царем Бориса Годунова, многократно перед тем отказавшегося от престола. Так в России появился первый избранный соборно — землею, духовенством и Боярской думой — царь. Казалось бы, получив власть на Земском соборе и став законным правителем, Годунов мог быть спокоен за свое место на троне. Но «вчерашний раб, татарин, зять Малюты», каким представил его Пушкин, помнил о своей незнатности, о том, что возвышением своим он обязан не происхождению, а избранию. Не принадлежала к знатному роду и его жена, царица Марья. Ее отец Малюта Скуратов стремительно пошел в гору, едва начались опричные казни, царь доверял верному Малюте самые грязные поручения. К воцарению Годунова многие еще хорошо помнили опричные «подвиги» Малюты и его ближайших родственников.

Опытный и жесткий политик, Годунов прекрасно знал нравы родовитого боярства, плетущего сети заговоров вокруг престола, почувствовал он на себе и презрительное отношение кичливой знати к «худородным». Усвоивший уроки опричнины, он, по словам одного из персонажей драмы «Борис Годунов», правил «совсем как царь Иван, не к ночи будь помянут». Вот только Иван IV казнил своих противников открыто, а Борис Годунов пытал тайно и отправлял в ссылку, топил в реках и отравлял ядом; заговоры, реальные и мнимые, он подавлял со всей беспощадностью своего времени.

По точному определению С. М. Соловьева, Годунов, достигнув вершины власти, все же «унизился до зависти», а зависть, как известно, еще со времен Каина и Авеля всегда была плохим советчиком. Главным объектом зависти было по-прежнему семейство Романовых, с которым Годунов к этому времени даже успел породниться: родная сестра братьев Романовых — Ирина Никитична была замужем за дядей царя Бориса — Иваном Ивановичем Годуновым. Тем не менее Годунов видел в них своих главных противников.

В 1600 году на братьев Романовых написал донос их же человек, обвинивший бояр в колдовстве. Подобное обвинение было одним из самых серьезных в то время, поскольку подразумевало желание «извести» царя или его близких. Воспользовавшись доносом на Романовых, которым

подбросили «доказательства» «ведовства», царь «наложил на них опалу». Начались следствие и допросы людей Романовых и их самих.

В результате всех пятерых братьев Никитичей, их жен, детей и ближайших родственников сослали по разным городам. Старшего из братьев, Федора Никитича, — будущего патриарха и отца будущего царя Михаила Романова, — многократно пытав, постригли насильно с именем Филарет и отправили в далекий Антониев Сийский монастырь на север. Его жену постригли и сослали в один из заонежских погостов, детей — пятилетнего Михаила с младшими братом и сестрой — вместе с теткой отвезли на Белое озеро.

Из донесений видно, что жили сосланные в крайней нужде и голоде, даже детям молока давали «не помногу». Из пятерых сосланных братьев в таких условиях выжили только двое — Филарет и Иван, двое других были удушены. У Василия, сосланного в Сибирь, кандалы сняли лишь перед тем, как он испустил дух. Приставы не отходили от них ни на шаг, подслушивая по указанию Годунова все их разговоры, и немедленно доносили обо всем царю.

К тяготам жизни ссыльных добавлялась неизвестность: царь запретил всякое общение родственников между собой. Страха за себя у них уже не было, но знать, что такие же муки терпят твои дети, было невыносимее любых оков. XVI век известен жестокостью своих нравов, но никакие описания пыток и расправ не производят такого тяжелого впечатления, как признание отчаявшегося в ссылке отца семейства. «Лихо на меня жена да дети; как их помянешь, ино что рогатиной в сердце толкнет, — писал Филарет из монастыря, — много иное они мне мешают: дай, Господи, слышать, чтобы их ранее Бог прибрал, и яз бы тому обрадовался...»^[66]

Об участи Романовых и условиях их содержания в Москве, разумеется, знали, — сердобольные монахи монастырей, где жили сосланные, подавали весточки оставшимся в живых родственникам. Глухое брожение взаимной ненависти избранного царя и горделивой знати чувствовали даже иностранцы. «Я слышал большой ропот от многих знатных людей. Обе стороны (Борис Годунов и знать. — *Н.П.*) скрывали свою вражду, с большой осторожностью взвешивая свои возможности», — написал один из них в своих записках^[67]. Однако открыто выступать против царя никто не решался, добровольцев сложить голову на плахе не было — знать выжидала удобного момента.

Пострадали после ссылки Романовых и те, кто был известен дружбой с ними, — среди них и Скопины-Шуйские. О событиях тех лет рассказывает

местническое дело князя Бориса Лыкова и князя Дмитрия Пожарского 1609 года. Их спор начался еще во времена Бориса Годунова, когда в сентябре 1602 года князь Дмитрий Пожарский подал челобитную на князя Бориса Лыкова^[68]. Поводом для этого послужили претензии матери князя Дмитрия: ей было велено присутствовать на приеме у царевны Ксении Годуновой, а матери князя Бориса Лыкова — у царицы. Княгиня Пожарская усмотрела в этом большой урон чести своего рода, и молодой Пожарский подал челобитную царю о том, что «матери его княгине Марье быть меньше княж Михайловны княгини Лыкова не вместе».

По сложившейся в то время традиции, если получивший место или назначение считал его ниже своего положения на иерархической лестнице чинов, то есть «порухой отечеству», то он мог местничать — оспаривать назначение перед царем или Боярской думой. Подобные споры и в мирное время, и на поле сражения были отнюдь не редкостью, известны случаи, когда сражение проигрывали именно по причине бездействия или отказа выполнять распоряжения старшего. Иван IV в 1550 году ограничил своим указом местничество в военное время, но в реальности оно сохранялось и позже, вплоть до его полной отмены в 1682 году.

Какое решение обычно принимал государь, получив подобную жалобу? Если дело происходило в военное время, то часто просил служить «без мест» и отложить спор до времени, иногда поручал записать жалобу и произвести розыск «по архивам»; случалось, порой, что жалобщик «не доспевал ничего». Если недовольный царским решением все же отказывался выехать на службу, то его могли, несмотря на всю его родовитость, «сковать и вывезть в телеге... да послать на службу», как, например, боярина и воеводу Петра Шереметева в 1596 году.

К жалобе, поданной князем Пожарским в 1602 году, прилагалась подробная выписка из разрядов — «отводная память» за последние сто лет, в которой перечислялись «случаи» назначений предков Пожарского на несколько мест выше, чем Лыковых. Князь Борис Лыков в долгу не остался, представил свои доказательства, и начался местнический спор. Лыков утверждал, что Пожарский «пособляет своей худобе и своему отечеству... пишет не зная, и говорит не ведая», а Пожарский уверял, что «Борис Лыков глупает, не знаячи нашего родства пишет».

Когда «тяжба родителями» ни к чему не привела, одна из сторон прибегла к приему иного рода. По утверждению князя Лыкова, князь Дмитрий Пожарский написал донос Годунову, будто бы Лыков «умышлял» с другими боярами — Голицыными и Татевыми — на царя «всякое зло». А

жена Василия Скопина-Шуйского вместе с матерью Бориса Лыкова «рассуждали про царицу Марью, и про царевну Аксиныю злыми словами». И за эти «затейные доводы» царь Борис и царица Марья на мать Лыкова и на него самого «положили опалу и стали гнев держать без сыску».

Князь Лыков был давнишним другом Романовых, а позже станет их родственником. Состоял он в родстве и с Татевыми^[69]; есть предположение, что Голицыны и Татевы также состояли в родстве между собой^[70]. Упоминание этих связанных семейными узами фамилий вместе, да еще через год после окончания дела Романовых, не могло не вызвать подозрения у мнительного Годунова. Не был забыт им и заговор 1586 года. Но, к счастью для родовитых семейств, кроме разговоров за ними ничего серьезного, видимо, не значилось. Расследования не проводили и, как пишет в своей челобитной Лыков, «стали гнев держать без сыску». Царский гнев выразился в последовавших за этим назначениях: Бориса Михайловича Лыкова Годунов «для своей доуки», как пишет князь, отправил воеводой в далекий Белгород, Ивана Андреевича Татева — в пограничный Чернигов, Бориса Петровича Татева — во вновь отстроенную крепость на засечной черте Царев-Борисов. Таким образом, заговор, если он и вправду существовал, уничтожили еще в зародыше отсылкой заговорщиков на границы государства, поближе к неприятелю. Опала коснулась и женщин: матери Лыкова запретили выезжать из Москвы — «не велели от себя без указа с дворишка съезжать», как пишет в той же челобитной Лыков. Не стоит сомневаться, что такая же участь постигла и Алену Петровну Скопину-Шуйскую, собеседницу княгини Лыковой, говорившей «злые слова» о царице и царевне.

Князь Дмитрий Пожарский происходил из того же рода удельных князей Стародубских, что и Татевы, и приходился им свойственником. Но высоких чинов в их семье никто не получал, богатыми они тоже не были. Даже после победы собранного под командованием Пожарского ополчения в 1612 году ему не дали больших земельных пожалований — главного богатства того времени, так что предмет для зависти у небогатого и незнатного Пожарского конечно же был.

Разделение в те годы на тех, кто писал доносы, и тех, кто от них страдал, было очевидно: «Отныне если слуга доносил на своего хозяина, хотя бы ложно, в надежде получить свободу, он бывал им (Борисом Годуновым. — *Н. П.*) вознагражден, а хозяина или кого-нибудь из его главных слуг подвергали пытке, чтобы заставить их сознаться в том, чего они никогда не делали, не видели и не слышали...»^[71] Получил ли что от

своевременно поданного Борису Годунову сигнала молодой Дмитрий Пожарский, неизвестно, впрочем, Лыков намекал в челобитной Василию Шуйскому в 1609 году, что «царь Борис его князя Дмитрия за те затейные доводы и за многая лганья жалуючи».

В 1602 году, когда происходили описанные события, Алена Петровна уже была вдовой. Ее поддержка — родные и двоюродные братья оказались отосланы далеко от Москвы, у царя и у царицы, не отличавшейся мягкостью нрава, и Татевы, и Скопины, и Шуйские оказались в немилости. Единственный сын и наследник был еще в отроческом возрасте, на кого опереться? В такой ситуации только женщина с властным и сильным характером будет способна выстоять и не впасть в отчаяние, и не только выстоять, но еще привить эти качества своему сыну, невольно являя собой лучший жизненный урок стойкости и твердости духа.

Что она могла посоветовать на будущее Михаилу? Беречься от наветов и лжи, не давать вовлекать себя в заговоры, опасаться гнева власть имущих? Автор биографии Михаила Скопина отвечает на этот вопрос вполне определенно: «не гордети и не возноситься и велика себе родством не глаголати, и на другое своих не клеветали и прочее тиху и молчаливу быти». Такой урок вынес молодой Скопин из свалившихся на его семью несчастий, что, впрочем, не уберегло его самого от доносов и наветов в будущем.

Начало службы

Можно не удивляться тому, что Алена Петровна постаралась удержать Михаила вдали от соблазнов власти. Но всю жизнь сына около своей юбки не удержишь — отрочество оканчивалось в ту пору в пятнадцать лет, и в этом возрасте дети бояр записывались в службу. Первый чин, который они получали, назывался *царские жильцы*.

«Поспел» на службу, как тогда говорили, и Михаил Скопин. «Повесть о рождении» рассказывает о его начале службы: «Еще бо ему младу суццу не у совершен возраст дошед (не достиг совершеннолетия. — *Н. П.*) и воевоцкаго сана не удостиже младости ради, и сего ради во царские жилцы вводится». То есть воеводой, как отец, ему еще рано было становиться, а жильцом — самое время.

Когда-то жильцы составляли нечто вроде охранного отряда государя и действительно *жили* около дворца, за что и получили свое название: «А к ночи все столники, и стряпчие, и жилцы сберутся, и ночуют все у государя в полатах; а на всякую ночь стерегут, на постельном крыльце, по столнику да по стряпчему, да по пять человек жильцов...»^[72] Позже жильцы составили чин придворной службы^[73]. В пору пожалования Скопина-Шуйского этим чином, или «введения» его в чин, как тогда говорили, жильцы сопровождали государя в походе, выполняли различные поручения. И если для провинциальных дворян попасть в жильцы означало ступить на самую высокую ступень служебной лестницы, то для детей родовитых бояр такое назначение было всего лишь началом карьеры, ее первой ступенью.

Конечно, опала родственников Скопина не была забыта памятливым Годуновым, но свой следующий, очередной чин — стольника — Михаил получил не позже своих сверстников и очень гордился им. В Разрядных книгах мы встречаем его имя впервые в сентябре 1604 года во время описания торжественного приема царем Борисом Годуновым «казылбаского» — то есть персидского — посла: «...ел посол у государя в Грановитой палате... В столы смотрели и сказывали стольники: в большой стол сказывал стольник князь Михайло Васильевич Шуйской-Скопин»^[74].

Обязанностью стольников было «смотреть в стол», то есть руководить подачей блюд и вин, наблюдать за порядком, чтобы пир шел своим чередом, и никто бы не оказался обижен. Михаил Скопин на приеме персидского

посла «сказывал в большой стол»: громким, зычным голосом, который было слышно на всю Грановитую палату, он произносил имена гостей, кому государь посылал со своего стола кушанье или вино. Такие «подачи» знаменовали особую честь для гостя, и дело стольника было эту честь подчеркнуть.

— Великий государь жалует тебя своим государевым жалованием — подает тебе чарку государева винца, — кланялся стольник в сторону оделенного милостью гостя.

Отмеченный вниманием государя гость вставал, кланялся государю и принимал чарку, вместе с ним кланялись и сидящие рядом гости. На торжественных обедах по случаю приема послов произносили тосты за здоровье и братскую любовь государя, которого представлял посол, а потом за здоровье царя. Так что стольник Скопин на царском обеде 1604 года произносил тосты в честь персидского шаха Аббаса I и здравицу Борису Годунову. Как вспоминали послы, порой провозглашение стольниками «подач» и задравные тосты шли так часто, что гости едва успевали есть. Тех, кто не всегда соизмерял свои возможности с количеством подносимых чаш, на следующий день по распоряжению царя навещали те же стольники, справляясь о их здоровье.

В одеждах из золотой и серебряной парчи, с высокими, украшенными драгоценными камнями и жемчугом воротниками, в горлатных шапках, стольники то и дело провозглашали здравицы и придавали и без того церемонному пиру еще большую торжественность^[75]. Михаил, которому не исполнилось в тот год еще и семнадцати лет, выделялся среди других придворных своим высоким, не по летам, ростом и статным сложением: «велик бо возрастом телес своих по Давиду пророку паче сынов человеческих»^[76].

На пире по случаю приезда персидского посольства взгляды всех гостей невольно приковывал к себе дар шаха Аббаса I «брату московскому» Борису Годунову: это был золотой трон древних персидских государей, который привез персидский посол Лачин-Бек. Похожий на высокий табурет с низкой спинкой, весь окованный золотыми листьями с тисненным по ним узором, трон жарко горел отраженным в нем пламенем сотен свечей, освещавших Грановитую палату. Богато украшенный бирюзой, поражавший великолепием и роскошью, он тем не менее оставался изящным, что говорило о тонком понимании искусства и несомненном таланте изготовивших его древних мастеров.

За что же такой дар был послан русскому царю из Персии? Стольник

Скопин слышал от посольских дьяков, что особенная любовь Аббаса к России возникла не случайно — дело было в Иверии, которую шах хотел прибрать к своим рукам. Но Годунов, благосклонно приняв трон, все же отдавать персам христианскую Грузию за подарки не собирался^[77]. Михаил еще с детства отличался живым умом и любознательностью, его интересовали подробности жизни других народов, дальние земли, военные походы. Слушая рассказы о дальней Грузии, Михаил Скопин мечтал: вот бы отправиться воевать против турков или персов! Да и какой сын боярский не мечтает о военных походах и сражениях в шестнадцать лет.

Но кроме «смотрения» за столами стольник Скопин никаких поручений при Годунове не получал. Документы ли утрачены, или же не было самих поручений юному Михаилу — неизвестно. Хотя другие стольники несли службу в приказах, отличались в посольской и военной службе; в крупных, занимавших важное стратегическое положение городах были помощниками воевод, а в небольших городках — даже воеводами. Но и оставаясь при дворе, молодой Скопин набирался опыта, проходил школу придворной жизни, — стольники составляли в то время своеобразную «гвардию» государя, — и таким образом готовился к самостоятельной государственной деятельности^[78].

А между тем наступало время, о котором, по словам очевидца, «невозможно... исписати или реши языком или помыслити умом, яко смутися Руская земля между собою бранию»^[79].

Относительно благополучные начальные годы правления Годунова прервались целой полосой голодных лет. В 1600 году случился неурожай: ранние августовские заморозки побили еще не убранные рожь, пшеницу, овес. Неурожайные годы не были редкостью, обычно запасы хлеба позволяли дожить до следующего урожая. Но весной и летом следующего, 1602 года сначала землю залили дожди, а потом и вовсе ударили холода, и те озимые, что не успели вымокнуть, вымерзли. В стране начался голод, а вскоре появились и его вечные спутники — эпидемии холеры и чумы. «Того же лета грех ради наших глад бысть по всей земле Рустей... И многое бесчисленное множество от того гладу изомроша людей, ядуще же тогда псину и мертвичину и ину скаредину, ея же и писати нелеть, а ржи четверть купиша тогда по три рубли и свыше...»^[80]

Владельцы холопов, чтобы избавиться от лишних ртов, отпускали своих людей со дворов, и те бродили по дорогам, побираясь. По словам Авраама Палицына, за неполных три года только в одной Москве погребли 127 тысяч человек. Современники описывают страшные картины голода.

«Многие в городах лежали мертвые на улицах, многие на дорогах и тропинках с травой или соломой во рту. Многие ели кору, траву или корни и тем утоляли голод. Многие ели навоз и другие отбросы. Многие лизали с земли кровь, которая сочилась из убитых животных. Многие ели конину, кошек и крыс»^[81], — написал швед Петр Петрей. Случались вещи и более чудовищные. «Довольно привычно было видеть, как муж покидал жену и детей, жена умерщвляла мужа, мать — детей, чтобы их съесть»^[82], — поведал француз Жак Маржерет.

Иностранцы смотрят на бедствия чужой страны глазами сторонних наблюдателей, и редко их взгляд бывал беспристрастным. На Россию они высокомерно взирали как на недоразвитую Европу, не любя и презирая ее жителей, скрывать свое отношение к ней они и не пытались. Нелюбовь не только не делает взгляд «свежим», но и вообще не позволяет увидеть и уж тем более понять многое. Тот, кто хотел найти в стране лишь подтверждение дикости нравов ее жителей, конечно, увидел только недостатки, а постигшие ее народ беды расписал до кошмара. Ужаснувшись невиданным голодомором начала XVII века, иностранцы прошли мимо случаев мужества и человеколюбия того же времени.

Их современницей была Ульяна Осорьина, вдова муромского дворянина. Известная с юных лет своим «нищелюбием» и помощью обездоленным, в голодные годы она и сама, уже будучи немолодой женщиной, оказалась в нищете. Однако, как вспоминали позже ее домочадцы, в отчаяние она не впала, даже наоборот, вселяла спокойствие и уверенность в других. По ее совету в доме начали печь хлеб с примесью лебеды и древесной коры, «и молитвою ея бысть хлеб сладок». Испеченного хлеба хватало не только для всей семьи, но еще и для всех приходивших просить милостыню. По словам нищих, вкуснее ее хлеба нигде они больше не едали: «Много села обидою и чисты хлебы приемлем, а такова всладость не наедаемся, яко сладок хлеб у вдовы сея»^[83]. Так тяжелые минуты упадка человеческого духа соседствуют рядом с примерами его необыкновенного возвышения, тем рождая картину ушедшей эпохи во всей ее полноте.

Правительство пыталось бороться с бедствием: было приказано раздавать хлеб голодающим из царских житниц, холопам начали выдавать «отпускные», чтобы им было на что кормиться. Но, как часто бывает, благое начинание обернулось еще большим бедствием: чиновники, ответственные за раздачу муки и денег голодающим, присваивали их себе, розданное из государственных закромов зерно попадало к перекупщикам, а

богатые владельцы зерна, имевшие запасы, воспользовались голодом и взвинтили цены.

Что же оставалось делать несчастным? Одни ударялись в разбой, «богатых дома грабили и разбивали и зажигали». В 1603 года Михаил Скопин слышал ходившие по Москве страшные вести о том, как в окрестностях города объявился разбойный атаман Хлопко. Его отряд из беглых холопов и казаков сражался с посланным против них войском по всем правилам воинской науки, в бою с ними был убит окольный Иван Басманов. Схваченных вместе с раненым атаманом разбойников казнили, — москвичи ходили смотреть на плененного атамана, — уцелевшие в бою разбойники бежали в Северскую землю.

Польские и Северские, как их называли тогда, земли — на границе с Польшей по левому берегу Днепра, от Десны до верховьев Северского Донца — меньше пострадали от голода и издавна принимали к себе всех беглых. «С Дону выдачи нет», — говорили тогда хозяева этих мест казаки.

Слово «казак» в переводе с тюркского означает «свободный, независимый человек». Казаками именовали в те годы вольных людей, которые «гуляли», где хотели. Жили они вплоть до конца XVII века в основном промыслами — охотой, рыбалкой, бортничеством. Земледелием им было заниматься запрещено, оно наносило «урон военной службе». Впрочем, охотились казаки чаще не на дичь, а на проезжавших по большим дорогам купцов и послов; если случалось брать важных и богатых пленников, то за них просили выкуп. Заселяемое казаками поле у южных границ страны именовали Диким, через него люди торговые и служилые без крайней нужды старались не ездить. Для казаков была «чужая головушка полушка, да и своя шейка — копейка».

Московское правительство пыталось извлечь пользу от пребывания у своих границ такой воинственной и трудно управляемой массы людей: договаривались с ними об охране границ от ногайских и татарских набегов, посылали им порох и зерно. Служилых казаков стали называть *городовыми*, им все чаще поручали приглядывать за Азовом и сопровождать московских послов через Дикое поле. В конце XVI века таких казаков насчитывалось около пяти-шести тысяч ^[84].

Иными были «верховые», или вольные, казаки, селившиеся в верховьях Дона. Они жили в основном разбоем внутри Дикого поля или войной, все равно с кем, — «где бы ни воевать, только бы воевать, потому что неприлично благородному человеку быть без битвы» ^[85]. Поход против турок, поляков или грабеж русских купцов был для них привычным делом.

К концу XVI века вольные казаки уже селились не только на Дону, их станицы возникали по обоим берегам Волги, они проникали на Яик и Терек. В это время их насчитывалось от восьми до десяти тысяч ^[86]. «Верховые» кичились перед «служилыми», или «низовыми», казаками своей вольностью, дорожили ею и гордились, что они не несут ни перед кем никаких обязанностей. «Докажите начальству, что вы не ясачные татары, не пахотные солдаты, а вольные люди, славные яицкие казаки», — учили атаманы молодых казаков.

В казацкой вольной среде нередко возникали обвинения в «измене», под которыми понималось нарушение казачьих традиций, служба «басурманам», а позже — хула на царя. За коротким «слушанием» дела на казацком круге сразу следовало наказание, как правило, оно было единственным — смертная казнь. Осужденного забивали дубинами или камнями, тело сбрасывали в реку, а имущество делили между собой. За годы Смуты нравы казацкой среды и принцип — «кто силен, тот и прав» невольно перенимали и другие сословия, прежде всего служилые люди «по прибору». Право кулака, как единственного средства восстановления справедливости, грабежи и насилия придавали восставшим неслыханную прежде дерзость в речах и поступках.

Все попытки Бориса Годунова договориться с казаками о службе закончились провалом. Посланного из Москвы Петра Хруцова в первый раз казаки отправили обратно, а во второй, когда уже у границ появился самозванец, связали и привезли пленником к «царю Димитрию». И понятно почему: своеволие было основой жизненного уклада казаков, они не привыкли признавать над собой никакой власти, решения они принимали «кругом» на майдане и лишь на время военных походов избирали атаманов, есаулов, сотников и пятидесятников ^[87].

Именно казаки и сыграют одну из главных ролей в Смутную эпоху. Легко избирая и смещая своих военных вождей, они таким способом будут стремиться возводить на престол и низвергать своею волей царей и дух этой вольницы разнесут от границ вглубь страны. Обуздать стихию вольницы непросто, но можно использовать ее в своих целях, что и предпринимали многие авантюристы и самозванцы Смутного времени.

Поход против самозванца

15 мая 1591 года в Угличе произошла трагедия, имевшая тяжелые и кровавые последствия для всей страны. Девятилетний царевич Дмитрий играл вместе со своими сверстниками на заднем дворе в «тычку»: в очерченный круг мальчишки поочередно бросали нож, который должен был воткнуться лезвием в землю. Внезапно раздался крик. Выбежавшая на крыльцо терема мать царевича Мария Нагая увидела своего сына с перерезанным горлом, всего в крови, на руках кормилицы. Мария заголосила, завывала, стала рвать на себе волосы, и в этот момент кто-то ударил в набатный колокол.

Дмитрий был рожден в 1581 году в последнем браке Ивана IV с Марией Федоровной Нагой. После смерти Ивана Грозного царевича Дмитрия вместе с матерью отправили в Углич, в выделенный им по завещанию удел. При них состоял соответствующий их положению двор, недостатка они ни в чем не знали, но мальчик временами мог «иступати умом и телом оцепеневати», то есть страдал падучей болезнью — так именовали тогда эпилепсию. Несмотря на свой недуг, он должен был занять престол после своего старшего брата Федора Ивановича, у которого к тому времени не было наследников.

На звук колокола встревоженные горожане начали собираться на дворе у княжеского терема, прискакал брат царицы Михаил Нагой. Когда жители узнали о случившемся, то в гневе подняли восстание, обвинив в преступлении доверенных людей и посланцев Годунова — Битяговского и его сына. Недолго думая, толпа возмущенных горожан схватила дьяка с сыном и растерзала их, после чего разгромила Приказную избу и убила еще нескольких человек, заподозренных в убийстве Дмитрия. Когда через четыре дня из Москвы приехала следственная комиссия, то она разбирала уже не только причины смерти царевича, но и обстоятельства гибели государевых людей. Виновных в гибели Дмитрия так и не смогли установить, зато глава следственной комиссии, ловкий и склонный к интригам князь Василий Иванович Шуйский, сумел и дело завершить, и царю Борису Годунову угодить: было объявлено, что-де «царевич сам ножичком покололся, летячи на землю», а случилось то «нерадением Нагих». Впоследствии Василий будет трижды свидетельствовать о происшедших событиях, всякий раз меняя свои показания. После его третьей клятвы современник напишет: «Людие же о сем никако никому же

веры не яша, ни святейшему патриарху, ни князю Василию Ивановичу Шуйскому»^[88].

А вот жителей Углича, обвиненных в убийстве сына и отца Битяговских, наказали жестоко: иных казнили, иных секли кнутом, некоторым рвали языки и ссылали в Сибирь. Царицу Марию, в наказание за недосмотр своего сына, постригли в монахини под именем Марфа и отправили в дальний монастырь. Подвергли наказанию даже набатный колокол, возвестивший о гибели царевича, — его били кнутом, вырвали язык и отвезли в город Тобольск.

Несмотря на то, что расследование не обнаружило причастности Годунова к смерти царевича, народная молва упорно приписывала ему это убийство и называла грядущие события «возмездием» царю Борису. Как написал современник событий дьяк Иван Тимофеев, «все тогда онемеша и равно ему попустиша и безгласни бо быша, яко рыбы». Видно, в колокол тот набатный ударили в Угличе, а звон от него пошел по всей России, породив смятение в людских умах и сердцах...

В то время когда Михаил Скопин в чине стольника провозглашал в Москве «здравницы» царю и гостям, у границ России объявился «воскресший» царевич Дмитрий Иванович, предъявивший права на престол. Свое движение по избранным ими дорогам Скопин и самозванец начнут почти одновременно. Их пути пересекутся в высшей точке: один займет вожделенный престол, другой примет присягу и будет ему честно служить; оба уйдут из жизни молодыми. Но финал их краткой жизни будет противоположным: самозванца ожидает позорный конец, Скопин же примет смерть как герой и скончается в зените своей славы.

Кем был на самом деле «царевич Димитрий», историки выясняют до сих пор: одни считают его бывшим монахом — «ростригой» Григорием Отрепьевым; другие высказывают сомнения в том, что самозванец и Отрепьев — одно лицо. Не будем углубляться в проблему выяснения личности самозванца, повторим лишь вслед за исследователем Смуты С. Ф. Платоновым его осторожное высказывание по этому поводу: «Мы не имеем надежды ни распутать, ни даже разрубить этот таинственный гордиев узел, и считаем себя не столь счастливыми, как те писатели, для которых все ясно в истории ложного Дмитрия»^[89]. Очевидно другое: появление претендента на престол явно легло на благодатную почву, Смута рождалась во внутренних проблемах государства. «Димитрий я иль нет, — что им за дело? / Но я предлог раздоров и войны», — прозорливо заметил А. С. Пушкин устами своего героя.

Самозванство как явление возросло не на отечественной почве, и не в XVII веке. В России три его мощные волны рождались в первую очередь неясностью престолонаследия: в начале XVII века, когда прервалась династия Рюриковичей, во второй половине XVIII — после убийства Петра III и в первой четверти XIX — в период междуцарствия. Особенно примечательно в этом отношении начало XVII века, когда впервые в истории России появляется *выбранный* государь, — именно в этом событии коренятся истоки Смуты.

Когда царю Борису донесли о появлении «царевича», его и прежде неумная подозрительность усилилась до болезненности. «Борис с тех пор целые дни только и делал, что пытал и мучил по этому поводу», — записал современник. Он и раньше стремился свои неудачи объяснять «происками бояр», и явление самозванца сразу объявил делом их рук. Однако кем бы ни был «спасшийся» царевич, с опасностью необходимо было бороться, и царь издал указ о сборе войска.

Войско того времени состояло из пехоты, конницы, артиллерии (или, как тогда говорили, «наряда») и вспомогательных отрядов. Пехоту составляли стрельцы, даточные люди — их собирали в основном с монастырских и церковных земель, — служащие в городах казаки и, в случае необходимости, боевые холопы дворян.

В коннице главную роль играло дворянское ополчение, нанятые на службу иноземцы, конные даточные люди, стрельцы и казаки. Дворянское ополчение, составлявшее основу армии, собиралось, как и всякое другое ополчение, при возникновении военной опасности, поскольку в то время государству было еще не под силу содержать постоянную регулярную армию. Однако некоторые ее элементы — в виде стрелецкого войска — появились в России после реформы середины XVI века. Что же касается ополчения, то каждый дворянин, являвшийся на службу по приказу царя, должен быть при коне, вооружен и в сопровождении боевых холопов, на запасных лошадях были навьючены тюки с продовольствием.

Еще в середине XVI века Иван IV провел военную реформу, по которой владельцы поместий и вотчин должны были поставлять в армию с каждых ста четвертей принадлежащей им «доброй», то есть хорошей по качеству, земли, по одному конному и вооруженному воину. С первых двухсот четвертей владелец земли выезжал на службу сам и выставлял одного человека, затем с каждой сотни — по одному человеку. Тем, кто не являлся на службу — их называли «нетчиками», — грозили конфискация поместий и даже смертная казнь. После длительной Ливонской войны и голода первых лет XVII столетия разорившееся служилое сословие не

могло поставить такого количества боевых холопов, как раньше. Поэтому Соборный приговор 1604 года пересмотрел старые нормы службы: теперь в поход выставляли одного человека не со ста, а с двухсот четвертей земли^[90].

Выросло за эти годы и число не явившихся на службу. «Роспись» войска, собранного в 1604 году, пестрит такими объяснениями отсутствия воинов: «взят в полон», «убит», «ранен», «постригся». Но то все причины уважительные, если же дворяне не являлись на службу без объяснений, их ожидал царский гнев. «...Князей и бояр и всех, кто обязан был идти на войну, но оставался еще дома, он приказал за приставами гнать из их имений в стан; у некоторых непокорных он велел отнять поместья, некоторых бросить в тюрьмы, а некоторых, по его приказу, так выпороли плетью, что кожа у них на спине до того полопалась, что на ней не видно было живого места, — писал очевидец событий. — ...Почувствовав такую суровость, никто из тех, кому надлежало быть в стане, не захотел, чтобы его схватили дома...»^[91] Применение столь суровых мер объясняется тем, что ехать в войско никто не торопился, поэтому собрать его удалось лишь к середине ноября.

В сентябре 1604 года самозванец с небольшими силами приблизился к московским рубежам. На правом берегу Десны находились пограничные города Чернигов, Новгород-Северский, Моравск. В случае их захвата перед самозванцем открывалось несколько дорог, по которым можно было идти в центр страны: одна проходила от Новгорода-Северского на Брянск и Калугу; другая, именуемая «посольской», шла от Путивля на Рыльск, Кромы, Орел, Мценск и дальше также на Калугу или Тулу. Была еще и так называемая Крымская дорога, по которой ходили на русские земли крымские татары: от пограничного Царева-Борисова, основанного Годуновым на берегу Северского Донца, далее к Белгороду, Ельцу и Веневу.

Многие города по мере продвижения самозванца от границы вглубь страны переходили на его сторону; он еще и не начал свой поход, как ему присягнули жители Моравска, вскоре к ним присоединились черниговцы. В течение октября Лжедмитрию сдались Путивль, Рыльск, Курск, Кромы; к ужасу Годунова, вслед за ними последовали Белгород, Царев-Борисов и другие опорные пограничные крепости. Лагерь самозванца в Кромах пополнялся каждый день перебежчиками из царского войска. Конрад Буссов, немец на службе у Бориса Годунова, написал о царском войске: «Стояли они там около трех месяцев, расстреляли много пороха и свинца и ничего не добились, ибо слишком много у них было измены, и она с каждым днем усиливалась»^[92]. Дело дошло до того, что посланный

самозванцем обоз с продовольствием — сотни саней — и отряд в 500 казаков, их сопровождавший, беспрепятственно и совершенно безнаказанно прошли мимо царских войск, пока наконец кто-то не обратил на них внимание. Нежелание царского войска сражаться с отрядами самозванца замечали многие наемники на службе Годунова. По словам опытного в военном деле Ж. Маржерета, воеводы преследовали противника «так медленно, что можно было подумать, что они не хотят встретиться». Царь был потрясен захлестнувшей войско волной измены.

Почти во всех городах измена начиналась с мятежа казаков, стрельцов и служилых людей. Восставшие захватывали воевод и тащили их к «Дмитрию Ивановичу» — кого за бороду на веревке, как, например, воеводу Путивля окольного М. М. Салтыкова, или связанным, как воеводу Рыльска Г. Б. Рощу-Долгорукого и его помощника голову Я. Змеева. Кстати, спустя короткое время двое последних снова были посланы в Рыльск, теперь уже воеводами Дмитрия. Опасаясь казни за измену, они обороняли город от верных Годунову войск насмерть, за что были впоследствии пожалованы и награждены самозванцем, а вот Салтыков ничего от него не получил — отказался присягать и пребывал пленником.

Воеводой Чернигова был двоюродный дядя Михаила Скопина — Иван Андреевич Татев. Он руководил обороной города до тех пор, пока не взбунтовались городские посады. Автор «Нового летописца» так описывает развернувшиеся в городе события: «...и приидоша ж вси ратные люди, и его (Татева. — Н. П.) поимаше, и сами здалися к ростриге». Вместе с Татевым захватили и других воевод — одних ранили, других отправили в тюрьму. Когда самозванец приказал привести пленных воевод к кресту, дворянин Н. С. Воронцов-Вельяминов отказался наотрез и был здесь же, на месте, убит. После такого показательного правосудия остальные воеводы уже не сопротивлялись.

В ставку самозванца в Путивле привели из Белгорода пленного воеводу князя Бориса Михайловича Лыкова, из Царева-Борисова — родного дядю Скопина, воеводу князя Бориса Петровича Татева^[93]. Вскоре Годунова ждал еще один удар: отправленные им для укрепления гарнизона в Царев-Борисов 500 московских стрельцов перешли на сторону самозванца.

А что Скопин, воевал ли он с самозванцем? В «Росписи» войска, отправленного против самозванца в 1604 году, упоминаются воины, собранные с земель Михаила Скопина — со всех имевшихся у него поместий и вотчин: «Князя Михаила княж Васильева сына Скопина

Шуйского 56 человек конных»^[94]. Заметим, число немалое, требовавшее больших средств. Тем более что воины должны были являться не только «конны», но и «оружны», с припасами для себя и лошадей. Для сравнения: дядя Скопина Иван Иванович Шуйский выставил 12 человек конных, Иван Васильевич Голицын — девять человек. Больше Скопина — 60 человек — смог отправить в войско только один человек — князь Федор Иванович Шереметев.

Поставленные Скопиным воины определялись в полк правой руки, которым командовал его родственник по отцу Д. И. Шуйский. Однако сам Михаил в росписи войска не значится, не встречаем мы его имени и в сообщениях о последующих сражениях с отрядами самозванца.

Почему молодой Скопин не явился в войско, набираемое по многократным напоминаниям царя? Причин тому может быть несколько. Первая: серьезные поручения государя. Однако по молодости лет князь Михаил вряд ли мог их получить, к тому времени ему не исполнилось еще и восемнадцати лет. К тому же обязанности стольника вовсе не освобождали его от несения службы. Причина вторая: внезапная болезнь. Но в таком случае рядом с именем воина стояла бы соответствующая запись (как, впрочем, и в случае важного поручения). К тому же уважительной причиной признавалось лишь тяжкое ранение. Судя же по описаниям современников и изображению на портрете, Михаил был человеком богатырского сложения и крепкого здоровья.

И, наконец, причина третья — семейная. В Москву к моменту набора войска уже дошли сведения о первых сражениях с войском «Дмитрия Ивановича», и сведения были неутешительные. Алена Петровна знала, что ее родной брат, не сумевший оборонить пограничную крепость, или, как поговаривали злые языки, намеренно ее сдавший, сидел в плену у новоявленного царевича, двоюродный — там же. Оба, как было известно, принесли присягу самозванцу, то есть признали его. Автор «Иного сказания» назовет сражения между войсками самозванца и Бориса Годунова «борьбой проклятого еретика со святоубийцею». Но на чьей стороне была правда? И чем завершится их противостояние? Этого никто не знал. И вот в такой неясный, тяжелый и смутный момент отправлять единственного сына в войско, в которое и опытные вояки не спешат прибыть?! Может быть, подождать, пока все прояснится, сославшись на молодость Михаила?! А чтобы царь не гневался, собрать, не мешкая, людей в войско, и побольше, закрывая рты всем, кто может задать неприятные вопросы.

Обычный отряд боевых холопов, по средневековым меркам сравнимый с рыцарским копьем, по современным — с отделением, составлял 10–12 человек. Алена Петровна отдала распоряжение снарядить в войско практически взвод — 56 конных воинов.

Пока был жив Борис Годунов, войско, набранное в 1604 году, одерживало победы над самозванцем, и воеводы царские до времени оставались верны государю. Осажденный Новгород-Северский не сдался, армия самозванца бежала, бросив своего предводителя. С оставшимися у него отрядами Лжедмитрий потерпел поражение в бою у села Добрыничи и сам едва спасся бегством. Настроения перешедших на сторону Лжедмитрия с горечью описал современник: «О беда нас постигла велика! Того берега отпыхом, а другого не хватихомся, и стали есмя яко среди пучины морстей»^[95].

Однако в апреле 1605 года, в самый разгар событий, неожиданно скончался царь Борис, оставив после себя наследником сына Федора. В этот момент ситуация окончательно изменилась в пользу самозванца. Еще недавно приводивший войско к присяге царевичу Федору Борисовичу боярин Петр Басманов, которого называли «единственным защитником» Годуновых, перешел на сторону самозванца. А стольник Михаил Скопин-Шуйский летом 1605 года отправится в пограничный Ивангород с ответственным поручением нового государя: приводить тамошнее население к присяге, или, как будет записано после свержения самозванца, — «приводить ко кресту от Ростриги»^[96].

Исследователь Смуты И. Е. Забелин напишет об этом времени: «Позорное слово изменник... потеряло свой истинный смысл. Все поголовно сделались изменниками и ворами...»^[97]

Глава третья

ЦАРСКИЙ МЕЧНИК

*Долину брани объезжая,
Он видит множество мечей.
Но все легки да слишком малы,
А князь красавец был не вялый,
Не то что витязь наших дней.*

А. С. Пушкин. Руслан и Людмила

«Смута в умах и смута на деле»

В словаре В. И. Даля смута определяется как «раздор между народом и властью». Пожалуй, точнее и не определить причину, расколовшую страну на части и породившую брожение в ней. Историк И. Е. Забелин замечательно описал суть происходящего в те годы: «Смутное время не было временем революции, перетасовки и перестановки новых и старых порядков. Оно было... всесторонним банкротством правительства, полным банкротством его нравственной силы. Правительство было не чисто, оно изолгалось, оно ознаменовало себя целым рядом возмутительных подлогов, народ это видел хорошо и поднялся на восстановление правды... Смутное время тем особенно и замечательно, что в нем роли правительства и народа переставились. В это время не народ бунтовал и безобразничал... а безобразничала и шаталась вся правящая владеющая среда» ^[98].

«Безобразничанье» правящей элиты особенно хорошо видно из текста присяг. К ним в те годы так часто приводили народ, что он уже и к самим присягам, и к правителям, которым вынужденно присягал, раз от разу терял доверие.

Плотная, похожая на пергамен бумага, рисунки печатей с двуглавыми орлами, столбцы старославянского текста — перед нами фолиант из Собрания государственных грамот и договоров, изданных в Российской империи. В этом томе собраны документы времен правления Бориса Годунова, Лжедмитрия, Василия Шуйского; краткость их царствования и плотность происшедших в эти 12 лет событий — с 1598 по 1610 год — особенно зримы, когда они объединены под одной обложкой, и речи царей Смуты и клявшегося им народа слышны с расположенных по соседству страниц.

Вот грамота за номером 85: «Присяга, по которой предписано приводить ко кресту... в верности царице Марии Григорьевне, царю Феодору Борисовичу и царице Ксении Борисовне». Она написана в апреле 1605 года, после кончины Бориса Годунова. Текст этой присяги оглашали перед войском, стоявшим под Кромами против самозванца, а также в городах Поморья и Сибири: «Иного государя мимо них не искати, не хотети и не мыслити, и не изменити им государем ни в чем», — читали воеводы в Пскове, Новгороде, Астрахани и Казани. Упоминалось в грамоте имя того, к кому обещали «не приставати», — «вор, который называется князем Дмитрием Углецким». Боярская дума, духовенство, а вслед за ними

дворяне, служилые и посадские люди клялись, что если узнают о ком, кто «злое умышление» против царицы и ее детей задумает, «с теми людьми... мне битись до смерти»^[99]. Но не пройдет и двух месяцев, как клятвы будут забыты, а царица Мария Годунова и ее 16-летний сын Федор будут удушены, Ксения попадет в наложницы к новому царю; дома и дворы Годуновых в Москве разграбят, их родственников сошлют.

Перелистываем всего несколько страниц — и вот перед нами грамота за номером 91: еще одна присяга, теперь уже тому самому «вору» Дмитрию и его мнимой матери Марии Федоровне, год тот же — 1605-й, месяц июнь; да и текст присяги практически тот же: «Целую крест Государыне своей царице и великой княгине иноке Марфе Федоровне всеа Руси, и прирожному государю своему царю и великому князю Дмитрею Ивановичю всеа Руси, на том: служити мне им, Государем своим, и прямите и добра хотети во всем в правду, безо всякия хитрости...» Бросается в глаза фраза о «прирожденном государе» — так подчеркивалось его отличие от избранного на Земском соборе Бориса Годунова, ну и, конечно, в грамоте упоминаются враги, к которым клялись не переходить: «Иного государя не искати, и не хотета, и не мыслите, не изменити им Государем ни в чем, и с-ыменники их, с Федкою Борисовым сыном Годунова, и с его матерью, и с их родством и советники не ссылатася писмом никакими мерами...»^[100] И эту клятву власти предержавшие всего через год нарушат, а «прирожденный государь», которого объявят самозванцем, будет убит в Москве. Но и выбранный вслед за ним на Земском соборе Василий Шуйский долго не усидит на престоле — через четыре года он будет насильно сведен с него еще так недавно клявшимися ему в верности боярами.

Как же народу не зашататься, видя такое шатание власти? «К воле привыкать легко, к порядку трудно», — скажет герой драмы А. Н. Островского, посвященной событиям Смуты. Первое, что заколебалось, зашаталось в народе, — его нравственные устои; самозваная, а часто и самоизбранная власть как будто открыла невидимые шлюзы, — и мутный поток Смуты поднял со дна души все, что до времени дремало там не востребуемым. Когда через три столетия в России вновь поколеблются устои общества и вспыхнет новая Смута гражданской войны, патриарх Тихон напишет в декабре 1917 года послание — нет, не к властям, — к бесчинствующему народу: «...гибельная смута терзает Родину нашу, скорби от нашествия иноплеменник и междоусобной брани. Но всего губительнее снедающая сердца смута духовная».

Что думал о появлении самозванца и как действовал в тех обстоятельствах восемнадцатилетний стольник Михаил Скопин? Автор биографии Скопина-Шуйского назвал время взросления Михаила *страстивым и нужным*. Выражение это можно перевести на современный язык как «мучительное, или грешное», и «трудное». Назвал он его так не потому, что казалось оно ему необыкновенным, — всяк о своем времени готов рассуждать, как о самом трудном, но единственно, чтобы отметить: молодой Михаил в столь непростые годы сумел сохранить нравственную чистоту, не прибегал к клевете и не возносился своим происхождением. Поневоле задаешься вопросом, вспоминая перипетии тех лет: так ли широка, без соблазнов, была дорога, по которой шагал этот юноша? А ежели узка, то возможно ли, находясь в гуще политических событий, не запятнать свое имя? Можем ли мы верить его современникам?

Документы тех лет напрямую ничего не говорят об участии Скопина в поддержке самозванца, но и о борьбе против него — также. Мы знаем, что в походе против Лжедмитрия I Михаил не участвовал, оба его дяди неволею или добровольно, но оказались на стороне самозванца, большой любви к Годуновым у семейства Скопиных быть не могло. И вот новое известие — стольник Скопин послан царем Дмитрием с поручением в приграничную крепость Ивангород.

«...Иного государя не искати, и не хотети, и не мыслите, не изменити им Государем ни в чем», — зачитывал он в крепости присягу новому царю и приводил ко кресту жителей города. Возможно, это его первая серьезная служба после «сказывания в стол» при Борисе Годунове, которая давала возможность показать себя и отличиться при новом, почти таком же молодом, как и он сам, государе. А значит, открывалась дорога к будущим придворным и военным чинам, ибо боярский сын Михаил Скопин воспитывался прежде всего как государев человек. Итак, воцарение молодого Дмитрия сулило большие перспективы и обещало, говоря современным языком, карьеру стольнику Скопину. А как встретил нового государя остальной народ? Неужели никто не засомневался в его подлинности? И что сыграло решающую роль в переходе на сторону самозванца?

В начале сентября 1604 года донские казаки взяли в плен дворянина Петра Хрущова и привели его к лжецарю: «Что к царевичу его ведут, не верил (понеже о смерти его известен был), а как к царевичу приведен был и увидя лице его, сказал, что он собственному отеческому лицу подобен. И так в кандалах приведенный пал лицом до земли пред царевичем, с

пролитием великих слез...»^[101] Расчувствовавшийся «царевич» велел снять с пленного кандалы, правда, приказал содержать под стражей. Текст допроса Хрущева, конечно, можно считать, как пишут некоторые историки, «подвергнутым тенденциозной обработке» в стане Лжедмитрия, так оно, наверное, и было: вряд ли Петр Хрущов проливал слезы, признавая похожесть Дмитрия на его родителя Ивана Грозного. И вопросы, которые задавал «царь», — о своей «матери», о покойной «невестке» — жене царя Федора, о том, как к нему относятся в войске, — также имеют очевидную цель: доказать подлинность своего происхождения. Отвечая на последний вопрос, Хрущов передал сказанные в беседе с ним слова гетмана Петра Шереметева: «Трудно против природного государя воевать».

И опять, как в тексте присяги самозванцу, повторяется это определение — «природный государь». Как верить Борису Годунову, государю *избранному*, когда есть, оказывается, *природный*? Сомнение в подлинности, *природности* династии Годуновых порождало, при наличии других условий, брожение в стране. Не случайно на монетах, отчеканенных во время Второго ополчения, собранного Козьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским, появится изображение не Бориса Годунова, не Василия Шуйского и не мнимых царевичей Дмитриев, а царя Федора Ивановича, которого в народе называли последним *истинным, природным* государем. То, что речь Хрущева была подправлена, не вызывает сомнений, но важен названный пленником мотив, он многое объясняет в последующих событиях. При такой смуте в умах любой «бродяга безымянный», как скажет А. С. Пушкин, сможет «ослепить чудесно два народа» и заставить поверить, что он и есть — подлинный государь.

Сомнения в законности Годуновых на престоле, последствия голодных лет, социальная нестабильность на окраинах и общая неясность обстановки порождали, по меткому замечанию историка С. Ф. Платонова, «смуту в умах», которая скоро перешла в «смуту на деле». Человек, назвавший себя царевичем Дмитрием, станет ускорителем процесса брожения, его катализатором: была бы закваска, а уж кому печь пироги и с какой начинкой — всегда найдется.

Народ верил, что появившийся царь — истинный сын Ивана IV. А Боярская дума? Московские дворяне? Какую роль сыграли они в стремительном восхождении и в не менее стремительном низвержении самозванца? Московская знать, безусловно, знала, что перед ними самозванец. Лютеранский проповедник из Германии Мартин Бер, проживший в России 12 лет и лично знавший многих вельмож, записал

позже о своем разговоре с Петром Басмановым, самым близким и самым преданным другом Лжедмитрия: «Однажды спросил я Басманова, и он отвечал: „Вы, немцы, имеете в нем отца и брата, он жалует вас более, чем все прежние государи; молитесь о счастье его вместе со мною! Хотя он и не истинный царевич, однако ж государь наш: мы ему присягнули, да и лучшего царя найти не можем“»^[102].

Уже после убийства самозванца в разговоре с польскими послами думные бояре сообщили, что «Дмитрий не был царевичем... Однако, так как дело зашло уж очень далеко, то мы бы терпели его, если бы только он обходился с нами по-христиански и прилично»^[103]. Знали о подложности царя и братья Шуйские. «Ч... это, а не настоящий царевич; вы сами знаете, что настоящего царевича Борис Годунов приказал убить, — сообщил Василий Шуйский своему доверенному лицу. — Не царевич это, но расстрига и изменник наш»^[104]. Почему же самозванца признали царем? Для опытных политиков вроде Василия Шуйского самозванец мог быть предлогом, ступенью на пути к власти, вполне возможно ими же и сотворенный, «замешанный», как сказал В. О. Ключевский. Поэтому даже вынужденное признание его царем могло принести выгоды в дальнейшем. А москвичи в день венчания «Димитрия» на царство наблюдали, как два аристократа — князь Василий Шуйский и князь Федор Мстиславский — сопровождали его в Успенский собор в карете. Как тут не поверить в истинность нового царя!

Не мог не размышлять над слухами о лживости царя и стольник Скопин. От своих родственников Шуйских Михаил не раз слышал: «Хоть и не истинный царь Дмитрий, однако ж присягнули». Родственники матери Татевы хорошо помнили крутость нрава Годунова и оттого разделяли желание многих пресечь этот «худой род» на троне.

Но если царь — самозванец, то почему переходят на его сторону царские воеводы? Неужто лишь из корысти? А может быть, царевича все-таки не убили в Угличе и он действительно спасся? Не одного стольника Скопина мучили сомнения, многие задавались тем же вопросом. «О братии любовнии! Не дивитесь начинанию, но зрите, каково будет скончание!» — предрекал последующие события автор «Иного сказания».

Весной 1605 года в войске началась повальная измена. Кто-то приносил присягу неволей — «из-под сабли крест целовал». Кто-то совестился, приказывал своим холопам предварительно связать себя, будто пленного. Иные предавали царя Федора Борисовича без особой борьбы с собой, мечтая за помощь и поддержку нового царя, пусть и неизвестно

откуда взявшегося, получить чины и награды. К маю 1605 года самозванец был уже под стенами Москвы и ждал только одного — освобождения престола. Посланные им подручные удушили вдову Годунова и царя Федора, а народу объявили, что Годуновы приняли яд.

Многие современники событий увидели в ужасных обстоятельствах гибели жены и сына Годунова возмездие за убийство царевича Дмитрия. «Се днес зрите, любимы мои, какова кончина творящих неправедные беззакония: в ню же меру мерят, возмерится им, и кую чашу прочим наполняют, и сами ту же испивают»^[105], — назидательно заметил летописец. Кто-то объяснял жестокость расправы с детьми Годунова мстью покойному правителю за его собственную жестокость к опальным: «Ненависть к Борису... по смерти его пала на его сына»^[106].

А воцарившемуся «Димитрию» необходимы были для подтверждения легитимности его власти свидетельства людей близких, хорошо его знавших до «убийства» в Угличе; самым главным доказательством подлинности царя в глазах народа должно было стать признание его матерью — царицей-инокиней Марфой Нагой.

Мать царевича и ее «сын»

В исторической литературе прочно утвердилось мнение, что именно Скопину-Шуйскому самозванец поручил уговорить и привезти из монастыря в Москву свою «мать», инокиню Марфу^[107]. Однако при внимательном рассмотрении этого вопроса выясняется совсем иное.

Старица Марфа — мать убитого в Угличе царевича Дмитрия — в миру звалась Марией Нагой. Свое родословие Нагие вели от «доброто рода» тверских бояр, перешедших на службу к великому князю Ивану III после присоединения Тверского княжества к Москве. Особенно продвинулся по служебной лестнице Афанасий Нагой: он вошел в окружение Ивана IV и в 1580 году выдал свою племянницу Марию замуж за царя.

Последний брак Ивана IV длился недолго, через четыре года царь скончался, оставив молодую вдову с маленьким царевичем. После гибели Дмитрия в Угличе в 1591 году и окончания следственного дела Марию, насильно постриженную с именем Марфа, отправили в Николо-Выксинскую обитель, что под Череповцом. Тем самым Годунов, как заметил современник событий, совершил «второе после сына убийство — его матери»^[108]. Когда же в 1604 году объявился самозванец, Годунов велел привезти инокиню в Москву и учинил ей в своих покоях допрос. Со времени угличских событий прошло уже 13 лет, но едва ли Марфа смирилась с потерей сына и несправедливым решением следственной комиссии. Если к этому прибавить постриг без желания, утрату привычного окружения и привычного образа жизни, то станет понятным поведение Марфы в царских покоях.

Слухи о допросе, якобы имевшем место в царском дворце, записал один из иностранцев^[109]. В кремлевском дворце Марфе был задан мучивший царскую чету вопрос: «Жив ее сын или нет?» Годунов обращался с Марфой сурово, присутствовавшая же при этом разговор царица Мария Григорьевна и вовсе повела себя как истинная дочь Малюты Скуратова. Схватив горящую свечу, со словами: «Говори, б..., то, что ты хорошо знаешь!», она начала тыкать ею в лицо инокини. Быть, наверное, Марфе без глаз, если бы Борис не унял свою злобную супругу. По одной из версий, вдова Грозного ответила, что ничего об этом не знает. Конечно, она испытывала страх, но и желание отомстить за смерть сына было велико. По другой версии, ее ответ звучал так: «Сын мой жив, но в стране его нет. А

рассказали мне об этом люди, которых уже нет в живых».

Что действительно произошло в тот день во дворце, никто, разумеется, не знает. Но дальнейшие действия Годунова, сославшего Марфу подальше от Москвы, за 600 верст, и приказавшего содержать ее в еще большей строгости, косвенно подтверждают возможность подобного разговора. Что же касается царицы, то ее жестокость к несчастной матери сохранялась и когда Федор Годунов занял престол после смерти отца. Из ссылки по его распоряжению были возвращены некоторые сосланные его отцом бояре. По рассказу очевидца, народ кричал и требовал, чтобы и мать царевича была привезена и посажена у городских ворот, «дабы каждый мог услышать от нее, жив ли еще ее сын или нет»^[110]. Но царица о возвращении Марфы и слышать ничего не хотела и, наверное, отдала бы приказ отравить ее, если бы через два месяца не рассталась с жизнью сама.

И вот Лжедмитрий решился предъявить народу «узнавшую» его мать. Встречу необходимо было не только хорошенько обставить для публичной демонстрации, но и заранее подготовить, заручившись согласием самой Марфы. Выполнить это щекотливое задание мог только ловкий, имевший опыт в подобных нечистоплотных делах человек, способный при необходимости пригрозить несговорчивой инокине. Как покажут дальнейшие события, Скопин не только не обладал вышперечисленными качествами, но, наоборот, проявил себя как человек прямой и решительный, избегающий закулисных интриг и махинаций. К тому же поручить такое задание восемнадцатилетнему юноше, еще ничем себя не проявившему, — значило заведомо провалить все дело.

Вот почему у нас есть все основания доверять записи в Разрядной книге под 1605 годом, называющей совсем другие имена организаторов встречи «матери» и «сына»: «И послал боярина своего князя Василья Мосальского к царя Ивана Васильевича к царице иноке Марфе, велел ее привезти к Москве. А перед послал ее уговаривать постельничего своего Семена Шапкина, чтоб ево назвала сыном своим царевичем Дмитрием. А потому Семен послан, что он Нагим племя, да и грозить ей велел — не скажет и быть ей убитой»^[111].

Князь Василий Рубец Мосальский, перешедший на сторону самозванца еще в Путивле, стал одним из его доверенных лиц и выполнял самые ответственные задания. Ему вместе с Василием Голицыным было поручено устранить Годуновых, он же будет послан в Смоленск для встречи царской невесты Марины Мнишек. Когда в Польше начнется сейм, именно его и «почтенного Михаила Игнатъевича Татищева», окольного,

назначит самозванец послами в декабре 1605 года. За оказанные самозванцу услуги Мосальский получит чин дворецкого, один из высших в Боярской думе.

Семен Шапкин займет должность постельничего, что со времен опричнины будет означать наибольшее приближение к особе государя. Его же после венчания на царство Лжедмитрий назначит главой Постельного приказа. Шапкин приходился родней Нагим, и вполне возможно, что кроме угроз старице были переданы и обещания не забыть ее ближайших родственников наградами. Вот эти кандидатуры подходили для особых поручений как нельзя лучше.

Фамилию Мосальского называют и иностранцы, а вот Скопина — напротив, никто. Только в сообщении Ж. Маржерета, который возглавил личную охрану царя, записано: «30 июня Дмитрий Иванович вступил в Москву; приехав туда, он поспешил отправить Мстиславского, Шуйского, Воротынского, Мосальского за своей матерью»^[112]. О котором из Шуйских идет речь, неизвестно. К тому же в этом сообщении есть несколько несообразностей, и касаются они как раз Шуйских.

Известно, что первоначально церемония венчания на царство было назначена на 1 сентября^[113]. Такой выбор даты легко объясним: этот день открывал церковное новолетие и к нему приурочивали многие важные события. Венчание на царство предшественника самозванца — Бориса Годунова — состоялось также 1 сентября, как и венчание на царство Федора Ивановича. Однако лжецарь перенес церемонию на более ранний срок, на июль. Что заставило его поспешить?

Слова Василия Шуйского о том, что царь — ненастоящий, видимо, были не первым его высказыванием о самозванце. Хоть и говорил их боярин под большим секретом доверенному человеку, но, как известно, что знают двое — то уже не секрет. Лжедмитрию подали записочку с указанием вин Шуйского, дополнив ее напоминанием, что это те самые Шуйские, которые уже не единожды участвовали в противозарских заговорах, еще при его «родителе», Иване IV. Как Василий Шуйский, поднаторевший за многие годы в интригах, мог так попасть впросак, непонятно. Или Шуйский ошибся в близких ему людях, или чересчур торопился к власти, собираясь поскорее убрать с дороги выполнившего свою задачу и мешавшего теперь самозванца, и поэтому забыл о присущей ему осторожности. А может быть, за всеми его действиями стоял и другой, более тонкий расчет.

Реакция правителя, узнавшего об угрозе его престолу, последовала

незамедлительно. Однако окончательное решение по делу Шуйского самозванец отдал на усмотрение собора. Боярская дума, духовенство и земские люди выслушали ответы Василия на вопросы, задаваемые ему самозванцем. Иностраный источник указал, что Шуйский полностью изобличил себя во время допроса, а летописец подчеркнул, что земские люди особенно сильно кричали на него. В результате собор постановил, что боярин Шуйский достоин смерти. Было объявлено о казни Шуйского, его привели на площадь перед Кремлем, боярин положил голову на плаху и... Как в фильме со счастливым концом, прискакал гонец и прочитал приказ о помиловании. Краткость проведенного расследования, скороспелость суда, неожиданность помилования, последовавшая затем ссылка братьев Шуйских с лишением их боярства, конфискацией земель и быстрое возвращение их назад — все это весьма загадочно. Ясно одно: даже такой пройдоха и легкомысленный ловец счастья, как самозванец, не мог не понимать, что начать царствование с пролития крови своих подданных, да еще самых родовитых, очень опасно, а вот всенародное помилование — напротив, ловкий политический ход, вполне возможно, подсказанный ему опытным человеком. К тому же прощенные Шуйские теперь, по его рассуждению, должны были служить ему так преданно, как никто другой.

В истории этой объявленной, но несостоявшейся казни вообще много белых, точнее темных, пятен: «Дело Шуйского — один из самых темных сюжетов, связанных с воцарением Дмитрия»^[114]. Но если заговор, как утверждают некоторые источники, был в июне, то тогда понятно, почему так торопился самозванец возложить на себя царский венец и взять в руки скипетр, перенеся коронацию с сентября на июль.

Чтобы осуществить задуманное, нужно было признание Марфы. Одни свидетели утверждают, что царица Марфа во время казни Шуйского уже была в Москве и именно она якобы уговорила помиловать Шуйского. Значит, упомянутый Маржеретом Шуйский мог быть любым из трех братьев или их родственником Скопиным. Вот только Марфа, если бы и была в Москве, вряд ли бы стала заступаться за Василия Шуйского. Ведь именно Василий был главой комиссии, расследовавшей дело в Угличе и принявшей выгодное Борису Годунову, но едва ли справедливое решение.

Другие очевидцы утверждают, что в момент заговора Марфы в Москве не было, а значит, ко времени ее приезда Шуйские уже находились в ссылке. Тогда единственным Шуйским, который мог поехать за ней, был Скопин. Но даже если это предположение верно, то молодой Скопин выступает здесь совсем не как главное действующее лицо и организатор

мистификации, а скорее как один из членов свиты.

Один из иностранцев вообще написал о «тысяче бояр», сопровождавших царя для встречи с матерью, что должно было придать большую торжественность выезду. Послав бояр, Дмитрий «и сам выехал ей навстречу. Увидев друг друга, они обнялись, изъявляя радость неописанную. Старая царица весьма искусно представила нежную мать, хотя на душе у нее было совсем другое: по крайней мере она опять стала царицею...»^[115]. Сразу после признания нового царя «матерью», 30 июля, состоялась коронация в Успенском соборе Кремля.

Продемонстрировав радостную встречу, «Дмитрий» не забывал о матери и позже. Она упоминалась во всех документах, начиная с присяги царю, принимала участие во всех положенных ее званию церемониях. Став царем, самозванец «отделал для нее богатые покои (в Кремле. — Н. П.), назначил ей царское содержание, посещал ее каждый день и оказывал самую нежную почтительность. Многие готовы были присягнуть, что он сын ее»^[116].

В отличие от иностранцев, однозначно осуждавших Марфу за лжесвидетельство и объяснявших ее поведение одною корыстью, русские источники относятся к ее поступку более снисходительно. Так, «Новый летописец» коротко сообщает о происшедшей встрече, подводя итог сказанному: «Тово же убо не ведяше никто же, яко страха ли ради смертново, или для своего хотения назва себе ево Гришку прямым сыном своим, царевичем Димитрием»^[117]. Причин для страха у царицы было достаточно. Если бы народ, требовавший присутствия Марфы в Москве, не получил ее признания, то самозванцу ничего не оставалось бы, как расправиться с ней, а ее внезапную кончину объяснить, например, болезнью. Сколько таких «нужных» смертей было организовано на памяти Марфы — не сосчитать, со времени последней не прошло еще и двух месяцев, когда вот так же внезапно, «приняв яд», скончалась вдова Годунова вместе со своим сыном царем Федором.

То, что летописец называет «хотением» Марфы, попытался объяснить дьяк Иван Тимофеев. Пытливо исследовавший в своем «Временнике» психологию человеческих поступков, он нашел иные мотивы поведения царской вдовы, еще не старой женщины, лишившейся единственного сына. Дьяк подробно описывает полное невзгод и лишений житье Марфы в монастыре: «...против ее воли поселил в некий монастырь, находящийся... в месте пустом, непроходимом и безводном, лишенном всякого телесного утешения; и приказал заточить ее там в бедности, лишив того, что

необходимо телу, и не только всего этого самого нужного, но и, по сравнению с рабами, — даже пищи, сосудов и одежд и прочего, что необходимо было дать... Таких нужд не терпит и ничтожнейшая чета рабов, а тем более вдовы таких царственных государей... Здесь ее не могла развеселить никакая радость, тем более присоединение лишней досады к материнской скорби об убийстве»^[118]. Перспектива возвращения в Москву, пусть и в монастырь, но в кремлевский, возможность вызволить из опалы родственников и снова видаться с ними — ради этого бывшая царица готова была признать в самозванце своего сына.

Существует и еще одно объяснение ее поступка. Не месть руководила ею — Годунов и его семья уже отошли в мир иной, суд Божий свершился над ними; не стремление вернуться в царские покои — она давно уже отвыкла от мирской суеты в монастыре; не страх — что может устроить женщину, бывшую супругой самого Ивана Грозного, к тому же способную не убояться допросов у Годунова? — но единственно жалость к безродному сироте, ждущему от нее сострадания, мягкость сердца матери, безвременно потерявшей сына. Этот мотив назвал драматург А. Н. Островский в своей пьесе «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский»:

Ты сирота, без племени и рода!
Я ласк твоих не отниму у той...
Другой!.. Она, быть может, втихомолку,
В своем углу убогом, пред иконой
О милом сыне молится украдкой?
Иль здесь, в толпе народной укрывает
Лицо свое, смоченное слезами,
И издали, дрожащею рукою
Благословляет сына?

Дмитрий:

Нет! О нет!

Царица Марфа:

Одна ли буду матерью твоей,
Одна ль любить тебя, меня одну ли
Полюбишь ты?

Дмитрий:

О да! Одну тебя!

Ты назовись лишь матерью — я сыном
Сумею быть таким, что и родного
Забудешь ты, —

говорит самозванец А. Н. Островского. Так драматург гениальным чутьем обнаружил еще один возможный, но ускользнувший от внимания историков мотив поступка старицы Марфы.

С мечом наголо

Вскоре после коронации царя и великого князя Дмитрия Ивановича были розданы и обещанные милости: Нагим дали «боярство и вотчины великие, и дворы Годуновых и з животы...»^[119], брат Марфы Михаил Нагой пожалован первым чином в Думе — конюшего. С середины XVI века должность конюшего стала самой высокой: «А кто бывает конюшим, и тот первый боярин и чином и честью». При Федоре Ивановиче конюшим был Борис Годунов, в царство Годунова — его дядя Дмитрий Годунов^[120].

Кому раздавали земли, кому денежные оклады, кому новые чины. Особенно жаловали пострадавших при Годунове: были возвращены из ссылки и из дальних монастырей Романовы, будущий царь Михаил Романов вместе с матерью приехали в Москву, сюда же вернулся и Филарет Романов, возведенный в сан митрополита Ростовского. Все, кто мог ловкостью и умением угождать самозванцу, получали от него желаемое. Боярством был пожалован друг и родственник Татевых Борис Михайлович Лыков, возвысившийся до чина «великого кравчего»; кравчий (или «крайчий») вместе с дворецким, конюшим и казначеем принадлежал к высшим чинам Думы, в его обязанности входило во время церемоний смотреть за стольниками и стоять у стола государя. Но кравчие выполняли и более ответственные поручения: так, Лыков поедет посланцем к невесте царя Марине Мнишек, когда та будет направляться в Москву, он же торжественно встретит ее недалеко от границы и будет сопровождать со всеми почестями в Москву.

Получил боярство дядя Скопина — Борис Петрович Татев; жаловал новый царь и двоюродных его дядей — Семена и Федора Андреевичей, которые присутствовали на свадьбе самозванца. Однако одаривал он не только опальных при Годунове, но и воевавших против него самого. Многие воеводы, которых он взял в плен, были им милостиво прощены и вновь отправлены на воеводства. Федор Иванович Мстиславский, возглавлявший царское войско против самозванца, был не только прощен новым царем, но и сохранил за собой высокое место в Думе; людей военных, храбро исполнявших свой долг, самозванец будет особенно жаловать своим вниманием.

Среди бумаг, оставшихся от самозванца, сохранилась «Поименная роспись» тех, кто входил в Думу, именуемую его польскими секретарями «сенатом». Открывают этот список лица духовного звания — «Совет

духовных», за ними следуют светские, «первого класса бояре». Первым в списке значится имя князя Федора Мстиславского, за ним следуют возвращенные из ссылки Василий и Дмитрий Шуйские, последним стоит имя князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского — «мечника великого»^[121].

Исследователи находят, что состав Думы не сильно изменился со времени Годунова: две трети его составляли представители именитых родов, те, кто и раньше входил в Думу. И здесь ничего удивительного нет — вряд ли новый царь, столкнувшись с заговорами уже в начале своего царствования, рискнул бы значительно менять состав Думы, включив в него своих приближенных — поляков или неродовитых дворян. Так что введение должности мечника, по сути, было единственным изменением в Думе.

Что это был за чин, которым пожаловали Скопина?

Поляк Станислав Немоевский, приехавший в Россию вместе с невестой царя Мариной Мнишек, описал, как во время церемоний Михаил стоял у трона с мечом наголо — «долгим и широким». Немоевский считал должность мечника заимствованной из Польши — как, впрочем, и остальные культурные начинания в России: «Ношение этого меча раньше у них не было в обычае: он только что введен, когда узнали, что такая церемония бывает у нашего короля *in solennitatibus*» (в обычае)^[122]. Однако, похоже, польский гость все же ошибался.

Мечники были известны на Руси с глубокой древности. В XIX веке, когда многие древнерусские названия объясняли скандинавским происхождением, названия мечник и гридник — младший дружинник — считали синонимами, поскольку *gred* по-скандинавски означает меч^[123]. Упоминаются мечники и в первом русском письменном своде законов — «Русской Правде» — как люди, творящие суд от лица князя. Не единожды о них пишут русские летописи: так, восставшие в 1146 году после смерти князя Всеволода Ольговича киевляне пограбили дворы ненавистных им управителей князя и творящих суд от его лица мечников, подобная участь ожидала мечников и во время восстания в 1174 году в Боголюбове после смерти князя Андрея Боголюбского. Кроме судебных поручений мечники выполняли и посольские: например, князь Андрей Боголюбский отправлял своего мечника в качестве посла в другой город. В XIII веке летописи именуют мечников «меченошами»; они охраняли князя и одновременно назначались им, как пользующиеся наибольшим доверием люди, на командные должности в войске^[124].

Сохранилось звание меченоши и в Московском государстве, только назывались они теперь «оружничими»; на эту должность назначались окольниковые или бояре, которые входили в Боярскую думу. В XVII веке оружничий будет ведать Оружейным приказом, который занимался изготовлением и хранением государева оружия^[125]. Почему же тогда современники оценили появление должности мечника как нововведение? Дело, видимо, в том, что в России до середины XVII века в обязанности меченоши и позже оружничего вовсе не входило стояние с мечом наголо во время парадных церемоний.

Меч в Средневековье был принадлежностью рыцаря, воина и одновременно являлся знаком справедливого суда: не случайно мечник по «Русской Правде» исполнял судебные обязанности. Но все же главным символическим назначением меча было олицетворять верховенство военной власти, военачалие, поэтому в западноевропейской традиции меч или шпага входили в регалии государей и неизменно присутствовали в церемонии возведения на престол. В Польше во время коронации архиепископ вручал королю легендарный меч князя Болеслава Храброго со словами: «Защита церкви, сирот, вдов»^[126].

В русские инсигнии власти холодное оружие до эпохи Петра I не входило^[127] — ни шпага, ни меч, ни сабля так и не появились среди символов власти русских монархов. И это не случайно. Русские государи в своем титуле и церемониале всячески подчеркивали происхождение своей власти от Бога и в нелегком ее несении уповали на Господа, а отнюдь не на силу оружия или закона. Шапка Мономаха, или царский венец, скипетр и держава — «яблоко», бармы — цепь с медальонами-изображениями святых — вот набор регалий, сложившийся в России во времена великих князей и царей.

Что же касается «великого мечника», то не появление чина, а присутствие самого мечника во дворце с мечом наголо действительно можно назвать новшеством для России. Кстати, церемониальное стояние с мечом существовало не только в Польше: еще посол Ивана Грозного в Османскую империю заметил, как во время его приема у султана «салтан сидит на своем царском месте, а подле его стоят с саадаком, да с саблею...»^[128].

Станислав Немоевский в своих записках оставил подробности встречи польских послов в Грановитой палате Кремля. Ничто не поразило взыскательный глаз иностранного гостя: ни роспись стен, ни оригинальность конструкции палаты «об одном столбе», ни костюмы

собравшихся, ни застолье. Православные обряды были «с предрассудками», кушанья и напитки — «прескверные», подарки «невысокого достоинства», и даже знаменитые во всей Европе соболя — «неважные». Словом, «красивого ничего не было» — так пренебрежительно подвел итог своим наблюдениям иностранный гость.

Поголовное порицание всегда подозрительно. Впрочем, оставим его на совести польского ювелира, обратившего свое особое внимание лишь на то, что «подавали всё на золоте». Для нас важно, что в его записках сохранились описания служения Скопина. Вот каким он предстает во время приема польских послов: «В стороне, поближе к великому князю, с мечом наголо, в парчевом кафтане (*dolomie*) и в подшитой соболями шубе» — таким был великий мечник нового царя ^[129].

Присутствовали на приеме польских послов и родственники Скопина — его дяди Борис Татев и Дмитрий Шуйский: «Лета 7114 (1606) пришол при Ростриге Юрьи Сардамисцкий, и встреча ему была первая от государя... вторая — боярин князь Борис Петрович Татев да дьяк Олександр Шапилов... А с мечом стоял князь Михайло Васильевич Скопин-Шуйской... А ели бояре князь Федор Иванович Мстиславский, князь Дмитрий Иванович Шуйской, Петр Федорович Басманов, князь Борис Петрович Татев, князь Федор Тимофеевич Долгорукой...

Того же году были у государя Литовские послы Николай Олесницкий да Александр Гасевский... А с мечом стоял князь Михайло Васильевич Шуйской-Скопин...» ^[130]

Надо думать, дядя Михаила Скопина Борис Петрович Татев, входивший в ближний круг Лжедмитрия, замолвил за него слово при новом государе, а прекрасные внешние данные молодого человека позволили ему вскоре занять должность великого мечника. Любовь самозванца к ритуалам на манер европейских стала отличительной чертой его царствования. Так что появление огромного роста молодца в парчовом кафтане и подшитой соболями шубе с мечом наголо вполне соответствовало духу нового правителя.

А что же сам Скопин? Безусловно, он гордился своим высоким положением, мечтал о будущих военных походах с государем и вспоминал, как его отец Василий когда-то держал скипетр царя Федора Ивановича. Ему же выпала немалая честь — охранять государя с мечом наголо.

Рыцарь нового государя

В недолгое царствование Лжедмитрия Скопин-Шуйский сумел пройти путь от стольника до великого мечника и занял место в Боярской думе. Как же ему служилось при новом государе, и каков человек был новый государь? С. И. Шаховской в «Летописной книге» оставил нам портрет самозванца и обозначил несколькими штрихами его характер: «Рострига ж возрастом (то есть ростом. — *Н.П.*) мал, груди имея широки, мышцы имея толсты. Лице ж свое имея не царского достояния, препросто обличия имеаху, все тело его велми помраченно (очень смуглое. — *Н.П.*). Остроумен же, паче и в научении книжном доволен, дерзостен и многоречив зело, конское ристание любляше, на враги своя ополчителен, смел, велми храбрастен и силу имяаху, и воинство же любляху зело» ^[131].

Верно подмеченные дерзость и храбрость безусловно были необходимы тому, кто рискнул на подобное предприятие. Только человек авантюрного склада характера, страстный и отчаянный, напористый, не знающий ни в чем удержу, пойдет на обман целого народа, и преуспеет в этом настолько, что, похоже, и сам начнет искренне верить в свое царское происхождение. Однако вряд ли политическая интрига начала XVII столетия под названием «Лжедмитрий I» была организована одним человеком — слишком многие и в России, и в Польше были в то время заинтересованы в появлении конкурента у Бориса Годунова. Да и кратковременность пребывания самозванца у власти, легкость, с какой был совершен переворот 1606 года, прямо свидетельствуют о продуманности и подготовке заговора.

Если внимательно прочитать сохранившиеся от недолгого царствования «лживого царевича» документы, то облик самозванца вырисовывается вполне ясно. Вот письма Дмитрия к папе, польскому королю и Юрию Мнишку. В них он берет на себя обязательства в обмен на денежную и военную помощь отдать полякам Смоленск и половину Смоленской земли, всю пограничную Северскую землю с шестью городами, среди которых Чернигов, Новгород-Северский, Путивль. Он также обещал Польше военную помощь и поддержку в борьбе за шведскую корону. Иезуитам он обещал не противодействовать основанию костелов и распространению католической веры в России. Сандомирскому воеводе Юрию Мнишку он обещал жениться на его дочери, отдать ей в управление Псков и Новгород с землями, ее отцу — вторую половину Смоленской

земли и ту же Северскую землю^[132]. За исключением женитьбы, ни одно из этих обещаний, к счастью для России, выполнено не будет. Пообещать все, что попросят, лишь бы достичь власти, — типичный ход авантюриста. Продуманной или дальновидной политики, тем более проведения каких-то реформ либерального толка в «отсталой, дикой стране», которые в последнее время приписывают ему иностранные и отечественные историки^[133], — совершенно не видно ни из действий его, ни из намерений.

Как человек, попавший «из грязи в князи», он с большим вниманием относился к внешней стороне своей новой жизни. Царствование он начал с изменения титула — стал именоваться «пресветлейшим и непобедимейшим монархом Дмитрием Ивановичем, Божию милостию, цесарем и великим князем всея России»^[134]. Назвавшись цесарем, он тем самым поставил себя на одну ступень с тогдашними императорами.

Самозванец любил щегольнуть модными нарядами, в течение одного вечера переодевался по несколько раз, зазвал из-за границы купцов, торгующих драгоценностями, — поляк Станислав Немоевский получил приглашение привезти в Москву ювелирные изделия и камни для самозванца. Особенно мило было сердцу «Димитрия» все польское — он любил тамошние порядки и обычаи, искренне считал их наилучшими, достойными подражания. К изменению внешней стороны придворной жизни относится и введение чина великого мечника.

Во дворце Скопин бывал теперь почти каждый день, нередко и ночевал там. Прием послов, царские трапезы, пиры и торжества — все придворные события сопровождала отныне могучая фигура великого мечника, стоявшего рядом с тронном государя. Царь относился к нему милостиво, по-дружески; летами они не сильно отличались, и потому «Димитрий» нередко приглашал князя Михаила для бесед. Такая непринужденная, без церемоний манера общения удивляла многих придворных. Скопин рассказывал дома, как царь нарушает русскую традицию спать после обеда, не любит, как говорили на Руси, «обед сном золотить», скрывается от своей свиты. Частенько один отправляется гулять, неожиданно заходит в казну, в аптеку и к ювелирам, иногда его даже подолгу ищут в Кремле^[135].

Простота общения, свободный доступ к государю могли вызвать удивление не только в России, но в любой державе того времени. В XVI–XVII веках дистанция между подданными и правителем была обязательной. Во многих странах с укреплением абсолютной власти государя разрабатывался специальный церемониал, закреплявший эту дистанцию. Более всего в этом преуспел французский король Людовик XIV

— «король-солнце», чей двор копировали многие европейские государи. Многотысячная свита, сопровождавшая короля в переездах по стране, тщательно распланный ритуал пробуждения, застолья и переодеваний короля, напоминающий спектакль, не говоря уже о балах и приемах, — все это поднимало государя на недостижимую для его подданных высоту, делало его почти небожителем. И наоборот, сокращение дистанции, непривычная простота общения и доступность персоны государя вызывали недоумение и вели к падению авторитета власти.

«За трапезами у него было весело; его музыкантам, вокалистам и инструменталистам приходилось всю стараться», — замечает состоявший в охране царя немец Конрад Буссов^[136]. Это нововведение — слушать во время трапезы музыку — немало должно было удивлять Скопина. Настораживало мечника и то, что веселой музыкой царь заменил молитвы перед началом и после окончания трапезы. «Пусть всякий верит по своей совести, — часто слышал Скопин от царя. — Я хочу, чтобы в моем государстве все отправляли богослужение по своему обряду». «Уж не еретик ли он?» — закрадывалось порой сомнение в душу мечника.

Свобода веры означает отсутствие веры вообще, подтверждение чему мы и видим в действиях самозванца. Впрочем, рассуждения о догматах веры не велись на площадях, при стечении народа, о них знал лишь очень небольшой круг людей.

Во время парадного стояния с мечом князь Михаил невольно прислушивался к разговорам, благо за время своей службы он научился хорошо понимать и говорить по-польски. Особенно любопытно было молодому мечнику слушать рассуждения царя о монархах других государств. С польскими гостями самозванец говорил о странностях германского императора Рудольфа II: тот, по слухам, не любил показываться на людях, сторонился всех, свободное время проводил на конюшне или в своей химической лаборатории — словом, был большой чудак. Или, как выразился «Димитрий», «император — еще больший дурак, чем польский король». Скопин заметил, как некоторые из польских гостей пожелали было заступиться за честь своего короля, но царь отвечал быстро и остроумно — ему трудно было возражать^[137]. Отзывался царь насмешливо и о папе римском, высмеивая обычай целовать папскую туфлю.

Лишь об одном правителе, как заметил мечник, царь всегда говорил с несомненной симпатией: о французском короле Генрихе IV Бурбоне. Его он считал «христианнейшим королем» и намеревался летом 1606 года

посетить Францию^[138]. Генрих IV был успешным политиком, умевшим даже в невыгодных для себя обстоятельствах найти удачное решение: если для удержания власти было необходимо совершить сделку с совестью, он шел на это, не задумываясь, — известно, что для получения французской короны он изменил вере предков и стал католиком, произнес знаменитое: «Париж стоит обедни». Много общего обнаруживается у французского короля и русского царя и в отношении к вопросам веры, и в отношении к подданным, и в чертах характера — например, личная отвага на поле боя.

«Есть два способа царствовать, — не раз слышал от царя Скопин, — милосердием и щедростью или суровостью и казнями; я избрал первый способ...» Самозванец действительно старался завоевать любовь своего народа, подражая во многом Генриху IV. И это ему удавалось. За 11 месяцев его пребывания на российском престоле были отменены потомственные кабалы, то есть холопское состояние перестало быть наследственным; помещики, отпустившие своих крестьян во время голода 1601–1603 годов, теряли на них свое владельческое право. Все желающие могли торговать и заниматься промыслами, никаких препятствий при въезде и выезде из страны не чинилось. Чиновникам было строго запрещено брать взятки, по средам и субботам царь лично принимал жалобы от населения на Красном крыльце в Кремле. Скопин с интересом наблюдал, как во время думского сидения царь внимательно выслушивал доклады о государственных делах и порой удивлял всех скоростью принятия решений. «Столько часов вы совещались и ломали себе над этим головы, а все равно правильного решения еще не нашли, — говорил он. — Вот так и так это должно быть»^[139].

Скопин замечал, что самозванец был хорошим оратором, любил экспромты, у него был острый ум и он часто использовал в своих рассказах примеры из истории других народов. Однажды он сообщил, что Александр Македонский был человеком «великих достоинств и храбрости», потому он и по смерти ему друг. И тут же добавил, что об одном сожалеет: нет великого полководца в живых, а то бы он с ним померился и славой, и храбростью. Видно, его собственный жизненный опыт был немалым, он многое видел и многое пережил, приходилось ему терпеть пренебрежение и попреки в своем восхождении к власти, иначе как объяснить его реплику в разговоре с поляками: «Монархи любят предательство, но сами предателями гнушаются»?

Впрочем, его разговоры отличались не только остроумием, но порой и «легкостью в мыслях необыкновенной», заставляющей нас вспомнить о

другом знаменитом «самозванце» — уже не русской истории, а русской литературы. Явно авантюрными и беспечными выглядят планы самозванца на будущее. Вот он разговаривает с отцом Каспаром Савицким и сообщает о своем намерении «открыть в Москве иезуитские школы, снабженные опытными наставниками». На осторожное замечание иезуита о том, что «этого нельзя сделать вдруг, по причине неимения учеников», он отвечает, что «непременно хочет». Затем его мысль перескакивает неожиданно на столь любимое им военное поприще: он говорит о своем многочисленном войске в 100 тысяч человек и прибавляет, что «он еще не решил, против кого вести это войско, — против язычников и неверных», имея в виду турок, «или против кого другого»^[140]. Такая вот внешняя политика, о направлениях которой остается только догадываться, потому что не пройдет и двух дней после упомянутого разговора, как самозванца уже не будет в живых.

Однако при всей авантюрности его характера и несомненной хлестаковщине в поведении он не оставляет впечатления карикатурного типа. Образ разорителя России, щедро раздающего территории и богатства казны в угоду иностранцам, мало похож на подлинного человека, назвавшегося Дмитрием Ивановичем. Как это нередко случалось с иноземными правителями, получавшими власть в России, с самозванцем после восшествия на престол произошла метаморфоза: он забыл о своих прежних обещаниях и начал действовать в интересах России.

В письмах он постоянно уверял и папу, и польского короля в дружбе и любви к ним. Он расплатился с долгами своего тестя и своими собственными перед королем Сигизмундом III, но на требование отдать Северскую землю ответил отказом. С предложением короля объединить Польшу и Россию в подобие конфедерации — давняя мечта поляков — самозванец согласился, но никаких действий вслед за этим не последовало. Так же как и за обещанием Лжедмитрия помочь польскому королю воевать Швецию. К тому же от польского короля он потребовал называть себя императором, о папе начал отзываться без должного уважения; обещание открывать костелы в России уравновесил посылкой во Львов соборной иконы для устройства там православной церкви.

Особенно горячо Скопин поддерживал заботу царя о служилых людях. Им удвоили земельные и денежные оклады, царь проявлял внимание к их просьбам, одаривал наемных иностранных солдат. «Все государи славны солдатами и людьми-рыцарями, ими они стоят, ими государства распространяются, монархии утверждаются, они — врагам гроза...» — не

раз слышал от царя князь Михаил Скопин^[141]. Кто, как не он, воспитанный на рассказах об обороне Пскова отцом и дядей, выросший среди тех, кто не щадил своей головы и живота на благо Отечества, мог оценить эти слова царя?

Скопину нравились ловкость и храбрость молодого царя, который был прекрасным наездником. Лжедмитрий чаще ездил верхом, чем в карете, не допускал, чтобы его подсаживали в седло, легко садился на коня сам. Очень любил объезжать норовистых коней и охотиться. Во дворце долго обсуждали случай на охоте, когда царь один отважился пойти на огромного медведя^[142]. Да и царь с удовольствием оглядывал огромного роста и богатырского сложения мечника, стоявшего в нарядных одеждах у трона. «Перед царем с каждой стороны стояли по два человека, которые имели платье, шляпы и сапоги белые и которые держали в руках символы государства. Пятый же, стоявший подле самого царя, держал обнаженный меч»^[143]. Могучая фигура Скопина придавала величавость и самому царю, не вышедшему ростом и имевшему отнюдь не царственную внешность: «естеством плоти зело не зрачен и скупоростен», как сказал о нем современник. Свита, как известно, делает короля.

Но вот с тем, что Лжедмитрий, «будучи человеком проникательным, сразу оценил его (Скопина. — Н. П.) незаурядные способности», как пишет Р. Г. Скрынников^[144], согласиться трудно. Судя по финалу своего короткого царствования, проникательностью-то самозванец как раз и не отличался.

В соответствии с высоким чином великого мечника и родовитостью Скопину было положено содержание: 600 рублей в год. Сумма значительная для того времени, особенно в сравнении с невысокими, как отмечали все иностранцы, ценами на продовольствие. Четверть ржаной муки — это примерно 65 килограммов — стоила в то время 30 копеек, пуд коровьего масла — 60 копеек. Бычка четырехлетку можно было купить за рубль. Кафтаны из привозной материи, «сукна англицкого», стоили дорого: штука (рулон) оценивалась в 8 рублей. Шуба на соболях, крытая бархатом, могла стоить 70 рублей и выше^[145]. Конечно, шуба с царского плеча стоила гораздо дороже — несколько тысяч рублей, но таких на базаре не продавали.

Назначенное мечнику содержание было высоким, но не исключительным — члены Боярской думы традиционно получали в год от 100 до 1200 рублей, в зависимости от чина. Наравне со Скопиным-Шуйским — по 600 рублей — получили двое других Шуйских,

возвращенных из ссылки через полгода и вновь вошедших в Думу, — братья Василий и Дмитрий. Ивану Шуйскому назначили чуть меньше — 500 рублей, Михаилу Татищеву и князю Ивану Воротынскому по 300 рублей; столько же получал посольский дьяк Афанасий Власьев. Важно заметить, что больше Шуйских, если верить сведениям иностранца ^[146], положено было окладу только возглавлявшему Думу князю Федору Мстиславскому — 700 рублей в год. Однако напомним, что отнюдь не деньги были главной ценностью того времени, а земельные владения с крестьянами, которые и составляли основной доход Михаила Скопина и его матери.

Проходная пешка

Служба стольника Скопина при самозванце началась с поручения привести к присяге жителей пограничного Ивангорода. Какое место занимал этот город во внешней политике России, а сама Россия в международных делах при царе Дмитрие Ивановиче? Посмотрим на сложившуюся к началу XVII века комбинацию фигур на шахматной доске европейской политики.

Одним из главных направлений внешней политики России по-прежнему было северо-восточное, балтийское. В те годы два противника русских интересов на Балтике — Швеция и Польша — были заняты войной между собою: Сигизмунд III и его дядя Карл IX оспаривали друг у друга шведский престол. Однако в перипетиях борьбы с Польшей шведский король не забывал о России.

В основе планов Швеции лежала так называемая «восточная программа», разработанная еще в середине XVI века. Она состояла в том, чтобы овладеть Кольским полуостровом, русским побережьем Финского залива и Ливонией. «Вся русская политика Карла IX в Смутное время была направлена исключительно к территориальному расширению Швеции на востоке, к обеспечению своего положения со стороны Москвы, к обессилению последней на балтийском и финском побережьях»^[147]. Достигнув этой цели, Швеция окончательно отрезала бы выход России на запад и начала бы полностью контролировать ее международную торговлю. «Балтийское море наше и мы в том вольны» — так была выражена шведами идея «прибалтийского барьера», их желание видеть Балтийское море внутренним шведским озером. Эта линия станет ведущей в шведской политике в XVI–XVII веках.

В 1595 году Россия и Швеция заключили Тявзинский мирный договор, по которому за Швецией остались восточная часть Карельского перешейка и Нарва, а Россия вернула себе Корелу. Однако самым спорным оказался пункт о торговле. Шведы признавали Выборг и Ревель свободными для купцов всех государств, русские же города этого права лишались: в Нарве торговать могли только шведские купцы. России этот пункт соглашения был совершенно не выгоден, потому она договор не ратифицировала.

Но Карл IX не отчаивался и при первой же возможности попытался добиться хотя бы частичной ратификации договора. Особенно активизировалась шведская сторона, когда в России началась Смута.

Шведский король предлагал свою помощь и Борису Годунову, и Василию Шуйскому. Однако действия и планы Карла IX, излагаемые в тайных инструкциях, были отнюдь не бескорыстны: явно стремясь положить конец усилению Польши, своего исконного врага, Карл одновременно стремился урвать часть добычи в раздираемой разногласиями России и прибрать к рукам «плохо лежащие», по мнению шведов, Новгород, Псков, Гдов, Ям, Копорье и Ивангород ^[148].

Когда в Швеции еще не знали, что Борис Годунов умер, но слышали о претензиях на престол самозванца, то отправили на всякий случай грамоты и к тому, и к другому: Карл был готов поддержать любого, кто ратифицирует договор ^[149]. Король отдал приказание доставлять ему все сведения о самозванце. На границу Финляндии было двинуто большое шведское войско, повсюду делались усиленные рекрутские наборы (каждый пятый мужчина поступал в войска). В инструкции шведским послам, датированной февралем 1605 года, указывалось, что Швеция готова предложить России помощь против Польши. Но не даром, а в обмен на Ивангород, Корелу (Кексгольм), Ям и Копорье. Однако Борис Годунов ответил отказом: «Московия не нуждается в шведской помощи, ибо еще недавно, как король мог видеть, при великом Иване Васильевиче у нее хватало сил сопротивляться одновременно туркам, татарам, полякам и шведам» ^[150].

Эту же линию внешней политики продолжил и самозванец. Он со всей очевидностью продемонстрировал, что вовсе не собирается разбазаривать собственные земли, доставшиеся ему в наследство от «предков», к тому же приготовления шведов к военным действиям не остались незамеченными в России.

Ивангород играл важную роль в российской международной торговле. Построенный на расстоянии выстрела от Нарвы, он имел выгодное стратегическое и торговое положение. Поэтому новый правитель решил немедленно привести население города к присяге и приготовить его к военным действиям. Вот для этой весьма ответственной и важной миссии и был избран стольник Скопин-Шуйский. Как сказано в разрядах: «В лето 7113 (1605). В том же году прислан с Москвы в-Иван-город приводить ко кресту от Ростриги столник княз Михаило Васильевич Скопин-Шуйской» ^[151]. Видимо, пользующийся доверием самозванца дядя Скопина Борис Татев и его родственник Борис Лыков предложили для выполнения поручения кандидатуру Михаила, а может быть, царь и сам заметил в толпе придворных рослого молодца и отправил его в пограничную крепость.

Дальнейшие события показали, что стольник с поручением справился. Самозванец вознамерился сделать Ивангород плацдармом своих будущих военных действий. Было решено послать туда войско, царь велел начать строить мост через Нарову, разделяющую Ивангород и Нарву, чтобы провозить по нему тяжелые орудия. Шведский агент Петр Петрей расценил строительство моста как неминуемую угрозу для Швеции: «...он обещал уничтожить мирный договор между Россией и Швецией. И начал уже выполнять это, для чего приказал привезти к Иван-городу много тысяч бревен, чем он, видимо, хотел показать, какую ужасную бойню он готовит Шведскому государству...»^[152].

Где именно собирался воевать названный Дмитрий — в Лифляндии или в самой Швеции, — неизвестно. Возможно, он и сам точно не знал, где именно, но своей неожиданной самостоятельностью во внешней политике вызвал немедленную реакцию со стороны Сигизмунда III. В декабре 1605 года Лжедмитрий получил от своего будущего тестя Юрия Мнишка письмо следующего содержания: «Здесь слух носится, будто Ваше царское величество войска свои расположили под Ивангородом, предпринимая что-нибудь против Лифляндии или Швеции, не согласясь о том с Его королевским величеством; о чем много бы надобно писать к вам, и для того прошу вас отложить оное дело до моего, с Божьею помощию, к Вашему царскому величеству приезда»^[153].

Да, самостоятельный и независимый правитель на российском престоле был Польше вовсе не нужен. Однако «удобным орудием поляков», как называли его в своих депешах иностранные агенты, или пешкой в польской игре Лжедмитрий оставаться не собирался: ловко проделав все необходимые ходы, эта проходная пешка неожиданно вышла в ферзи. Самозванцу, вполне освоившемуся со своей ролью, стал тесен сшитый для него в Польше кафтан. Он выказал твердое намерение воевать и собирался послать Петра Басманова с войском «против турка, а может быть, сражаться с герцогом Карлом (Шведским)», — как докладывал своему королю английский посланник^[154].

Молодой стольник Скопин уже начал готовиться к войне против Швеции, вспоминал рассказы отца об удачном Ругодивском походе 1591 года. Но царь неожиданно изменил свои планы и перенес все внимание на южные границы. Осенью-зимой 1605 года он начал готовить поход против крымского хана и турецкого султана.

Османская империя в ту эпоху представляла для европейцев самую большую опасность. Зародившаяся около 1300 года турецкая держава очень

быстро подчинила себе всю Малую Азию и уже к концу столетия начала экспансию вглубь Балкан. В середине XV века султан Мехмед II Завоеватель осадил и захватил столицу Византии — Константинополь, положив конец существованию империи ромеев. За «вторым Римом» последовали Сербия, Босния, Албания, Трапезундская империя. В XVI веке турки включили в состав своего государства все Восточное Средиземноморье, Египет и часть Аравии со священными для мусульман городами Меккой и Мединой. Власть султана признали Алжир, Курдистан, Крым. Современник Ивана IV Сулейман I Великолепный раздвинул границы Османской империи от Багдада до Белграда, едва не захватив Вену. Наибольшую обеспокоенность успехами Великолепного правителя выражали австрийские Габсбурги, поскольку европейские притязания турок затрагивали уже их владения. Дважды, в 1511 и 1514 годах, папа призывал европейских государей отправиться в крестовый поход против турок, однако добровольцы так и не отыскались.

Не довольствуясь успехами на суше, турки распространяли свою власть и на море. Одержав в 1538 году победу над соединенным флотом европейских держав, турки почувствовали себя безраздельными хозяевами на Средиземном море. Становилось очевидным, что европейские государства не только не могут противостоять туркам поодиночке, но даже их совместные усилия не приносят ощутимых результатов в борьбе с могучей Османской империей. К тому же нередко случалось, что просьба о военной помощи европейского государя должна была подкрепляться его уступками в религиозных вопросах; если же правитель не был склонен к компромиссам в делах веры, то не получал и подмоги. Так, когда турки стояли под стенами Вены в 1529 году, Фердинанду I не только отказали в поддержке соседние государства, но даже его брат Карл V не прислал своих войск.

В этой ситуации некоторые государства сочли за лучшее пойти на союз с турками, обезопасив свои границы, а кое-кто из предприимчивых политиков решил воспользоваться этим союзом, чтобы создать себе поддержку в межевропейских конфликтах. Монархи Европы готовы были заключать союзы даже с мусульманами, лишь бы не поступиться своими собственными интересами.

Австрийский император в начале XVI века предложил туркам заключить договор о дружбе и помощи против Венеции; спустя несколько лет уже Венеция искала дружбы с Османской империей. Союзы с турками против Габсбургов заключили последовательно Венгрия, Польша и Франция. Не осталась в стороне и Англия, также пожелавшая дружить с

турками ради торговой прибыли. Однако в глазах турок эти союзы вовсе не были основой прочных и стабильных отношений — если султану было выгодно нарушить мирный договор, то он совершенно не затруднялся в этом, впрочем, как и его союзники. Когда в 1593 году турки начали новую войну против Австрии (так называемая Пятнадцатилетняя война завершится в 1606 году), германский император Рудольф II Габсбург, не надеясь на поддержку западных соседей, предложил создать новую коалицию, теперь уже из восточных государств. В нее должны были войти Польша, Германия, Австрия, Трансильвания, Россия и Персия. Идею создания коалиции горячо поддержали папа и венецианские купцы, которые выделили большие средства для ведения войны. Началась длительная полоса переговоров, осложнявшихся возникающими противоречиями между союзниками. Чтобы заинтересовать Россию антитурецкой коалицией, императорский посол обещал ей посредничество в польско-русских делах: в 1592 году король Польши Сигизмунд III занял одновременно и шведский престол после смерти тамошнего короля, и Россия опасалась территориальных притязаний этих двух государств.

Османская проблема была совсем не чужда России. Для нее турецкая опасность представляла прежде всего в образе крымского хана — вассала султана. Крымчаки регулярно совершали набеги на русские земли, даже после строительства на юге засечных линий. От крымского хана приходилось откупаться богатыми подарками, но случалось, что противники с севера и юга — шведский король и крымский хан — договаривались между собой об одновременном начале военных действий против России, и тогда приходилось срочно замиряться с одной из сторон или же выстаивать между двух огней.

К России всегда обращались в тех случаях, когда нужна была поддержка силой или средствами, а чаще всего и тем и другим, — так было и на исходе XVI столетия. Трижды в царствование Федора Ивановича приезжал посол от цесаря с просьбой о помощи; просьбы эти были расцвечены обычными в дипломатическом языке словами о любви, вечной дружбе и единстве интересов императора и «дражайшего и любительного брата государя царя». Помощь от России цесарь получил. Однако время шло, а никаких конкретных действий сам император против турок не предпринимал. Наконец, у приехавшего в очередной раз в Россию посла было спрошено напрямик: собирается ли цесарь заключать союз с царем или нет? Тогда-то и выяснилось, что никто о войне с турками и не помышляет: испанский король занят войной с английской королевой, а также с французским королем и Нидерландами, а без участия короля и

папы император не может заключить союз с русским царем^[155].

На этом любовь «христианнейших королей» к России и закончилась, потому что начинать войну с могущественными турками в одиночку ни Федор Иванович, ни Борис Годунов не захотели. Не стал исключением и самозванец.

К планам похода против турок самозванца подтолкнули события под Азовом. Зимой 1605 года он отдал приказание отлить большое количество орудий, хотя «великолепных больших красивых пушек» в Москве, как писали иностранцы, и так было достаточно. Той же зимой он отправил артиллерию в пограничный Елец, собираясь следующим летом воевать с татарами. «Но как только слух о его намерении дошел до татарского рубежа и об этом узнал татарский царь... он покинул свой главный город Азов и ушел в степи»^[156]. Эта неожиданная победа вдохновила самозванца на дальнейшие решительные действия. Он отложил поход против шведов на Нарву и начал готовиться к походу против крымского хана и турецкого султана^[157]. С этой целью Лжедмитрий отправил посольство к папе, объявляя о своей готовности воевать с турками. Кроме того, «послу поручено было просить папу, чтобы он возбудил к этой войне западных христиан, в особенности императора Римского и короля польского»^[158]. Так вновь возникла оставленная было идея европейского союза против турок.

Однако внешнеполитическим планам самозванца не суждено было осуществиться, ибо, как заметил Н. М. Карамзин, «главным его врагом был он сам».

Московская свадьба

«Всякому следует остерегаться ездить на такие свадьбы, как московская и парижская», — написал после убийства Лжедмитрия I очевидец событий Конрад Буссов. Парижская свадьба Маргариты Валуа и Генриха Наваррского закончилась кровавой резней, когда в 1572 году, в ночь с 23 на 24 августа, накануне дня святого Варфоломея, в Париже и других городах было убито около 30 тысяч безоружных гугенотов — так называли во Франции протестантов. Столь любимый Лжедмитрием Генрих Наваррский, будущий король Франции, избежал гибели лишь поменяв религию и перейдя — правда, на время — из гугенотов в католики, с тем чтобы вскоре вновь стать гугенотом. Российский самозванец ради трона и получения польской поддержки тоже был готов поменять веру и перейти в католичество, однако собственную свадьбу ему удалось пережить лишь на несколько дней.

В сентябре 1605 года названный Дмитрий, помня о данном им обещании жениться на Марине Мнишек, отправил к ее отцу, воеводе Сандомирскому, посла со свадебными дарами и поручением просить руки. Послала свои подарки будущей невестке и царица Марфа, «мать» самозванца. Дары были по-царски богатыми. Среди них особенно выделялся образ Троицы в серебряном окладе, украшенный драгоценными камнями, 20 серебряных с позолотой кубков, также богато украшенных. От самого царя — «адамантовый», с алмазом перстень, ожерелье стоимостью в 48 тысяч флоринов, платье на сумму в 16 тысяч флоринов, двенадцать кусков дорогого бархата и атласа стоимостью в четыре тысячи флоринов, сабли и конская упряжь на 74 тысячи флоринов, сорок фунтов крупного жемчуга на 48 128 флоринов, часы стоимостью десять тысяч флоринов, отлитые из серебра корабль и птицы. В московских деньгах все подарки оценивались на сумму 130 761 рубль. Как пишет голландский купец Исаак Масса, бывший в то время в России, «невеста вполне могла снарядить себя и свою свиту для торжественного въезда в Москву, не был забыт и папа»^[159].

Король Сигизмунд дал согласие на брак своей подданной с московским государем, и в Кракове состоялось заочное обручение молодых. Место жениха занимал думный дьяк Афанасий Власьев. На брачной церемонии Сигизмунд III, обращаясь к Марине, «увещевал ее распространять, по мере сил, религию католическую в государстве

Московском, и возбуждать в сердце своего супруга любовь и привязанность к Польше, своей родине»^[160]. Этот брак всячески приветствовался не только в Польше, его горячо одобрял и поддерживал римский папа, мечтавший распространить свою власть на Россию, руками поляков и русских изгнать протестантов из Швеции и создать коалицию против Османской империи. Для этой цели можно было даже выдать желаемое за действительное, приукрасив европейскую ситуацию и подначив амбициозного самозванца к опасным и вредным для России действиям. «Так как монархи христианские горят желанием заключить союз против самого ужасного врага церкви, то его святейшество полагает, что они окажут тем более ревности и готовности, ежели узнают о намерении его светлости (Дмитрия Ивановича. — *Н.П.*)... Димитрий есть самый могущественный государь, он имеет огромное войско и обладает всеми средствами для ведения такой войны, и просит его, чтобы он первый начал неприязненные действия, и первый напал бы на турок... Блистательных побед все ожидают от его храбрости и мудрости»^[161].

Для папы брак российского царя с католичкой и польской подданной представлял собой лучший способ реализации его планов. Об этом красноречиво свидетельствует письмо с наставлениями, которое Павел V отправил Марине: «Нам желательно видеть от твоей светлости все, чего должно ожидать от благородной женщины, воспламененной ревностью к Богу, памятующей Божественные благодеяния. Первым же и самым главным является то, чтобы ты со всяким старанием и тщательностью озаботилась вместе с любезнейшим сыном нашим Димитрием, великим и могущественным князем, твоим мужем, чтобы как почитание католического исповедания, так и учение Апостольской святой римской церкви было принято народами, подчиненными вашей власти, и, будучи принято — было бы твердо удержано и умножено»^[162]. Доселе ни один из иноверцев еще не занимал российский престол, обязательным условием брачного союза был их переход в православие. Марина переходить в православие не собиралась, но самозванец не предавал ее намерения гласности.

Еще будучи в Польше, Лжедмитрий и сам тайно принял католичество, он обещал в письме папе Клименту VIII «подчинить и себя, и своих подданных его духовной власти, ежели ему удастся овладеть государством московским»^[163]. Именно по инициативе этого папы в 1596 году в Польше была заключена Брестская уния, которая должна была, по мысли Ватикана, обратить русские земли в католичество и объединить обе ветви

христианства в одну — разумеется, под эгидой папской власти.

Поддержка Рима была необходима самозванцу для достижения престола, ради этого он был готов принять любую веру. Впрочем, судя по его действиям и обещаниям, вопросу вероисповедания он вообще придавал намного меньше значения, чем вопросу о власти. Приехавшие вместе с ним в Россию иезуиты замечали, как по мере упрочения самозванца в Москве таяла его приверженность Ватикану. «Димитрий много изменился и не был уже похож на того Димитрия, который был в Польше... О вере и религии католической (вопреки столь многим обещаниям) он мало думал... о папе... говорил без уважения и даже с презрением», — заметил один из папских посланцев в мае 1606 года ^[164].

Действия Ватикана не оставались незамеченными в Европе, особенно в протестантских странах. «Уже давно святые отцы работают над тем, чтобы подчинить Московию Римскому престолу, отчасти действуя благосклонностью, убеждениями, отчасти силою, — сообщал английский агент в своем донесении королю Иакову I Стюарту. — Утверждают, что помянутый Дмитрий в награду за помощь, оказанную ему королем, духовными сановниками, палатином Сандомирским и другими панями польскими дал обещание ввести папизм в Московии, водворить там иезуитов, из коих некоторые уже состоят в его свите, но я не знаю, удастся ли ему это, ибо московский народ — невежественный, необразованный и до сих пор он до крайности ненавидел папизм, каковой они называют в Московии латинской верой» ^[165].

2 мая 1606 года царская невеста въезжала в Москву. Пасха, которая в тот год была 20 апреля, распахнула двери светлым дням, «Христос воскрес!» — приветствовали все друг друга. В эти весенние дни сама природа радовалась Празднику праздников, веселилась душа, всё кругом ликовало: и солнце, и едва пробивающийся молоденький пушок зелени на деревьях, и москвичи, ожидавшие праздничных торжеств. Казалось, ничто не предвещало драматической развязки царской свадьбы.

Въезд Марины в столицу был обставлен со всеми полагающимися будущей государыне почестями. Царские вельможи князь Дмитрий Шуйский, Петр Басманов и князь Федор Мстиславский, одетые в дорогие праздничные одежды, встречали невесту за городом. Мечник князь Михаил видел, как царь сам, лично, расставлял встречающий царицу народ по своему усмотрению, скакал верхом вдоль главной дороги в сопровождении всадников. Для торжественного въезда он выслал невесте 12 великолепных коней — аргамаков — в дорогих пополах и седла, покрытые шкурами

рысей и леопардов. К каждому аргамаку с серебряными позолоченными стременами и оголовьем с золотыми мундштуками был приставлен нарядно одетый москвич, который вел коня под уздцы.

Сама же Марина ехала в большой карете, обитой внутри красным бархатом. Царь, смешавшись с толпой, наблюдал ее въезд в город. Скопин разглядел, что невеста была неказиста: некрасива и невелика ростом, — ее ноги в расшитых туфельках не доставали до пола кареты и покоились на подушках из золотой парчи. Но горделивая осанка и высокомерный взгляд, которым она награждала своих подданных, царственно поворачивая голову в их сторону, вполне соответствовали ее высокому положению. Впереди кареты шли 300 гайдуков из Польши, они дудели в дудки и били в барабаны. За гайдуками следовала в полном вооружении старая гвардия Дмитрия, служившая ему в походах; они ехали верхом, красивым строем по десять человек в шеренге, с барабанами и литаврами. По обеим сторонам кареты ехала еще конная сотня копейщиков, а 200 немецких алебардников шли пешком ^[166].

Скопин разглядывал необычное для России вооружение польских латников, шелестящие за спиной гусаров знаменитые «крылья», дивился вместе со всеми на диковинные шкуры рысей и леопардов и вместе со всеми же удивлялся слишком уж большому числу иноземных гостей. Москвичи спрашивали у немцев, давно живущих в России: «Есть ли в их стране такой обычай приезжать на свадьбу в полном вооружении и в латах?» Немцы ухмылялись и отшучивались. Когда же около домов, отведенных польским гостям для жительства, их слуги начали разгружать тяжелогруженные армейские фуры и вытаскивать из них по пять-шесть ружей и бочонков с порохом, охота шутить у москвичей окончательно пропала.

Пока невесту готовила к свадьбе «мать» царя Марфа Нагая, бояре и дворяне во время застолий обсуждали новшества при дворе. Еще задолго до свадьбы самозванец набрал себе личную охрану из трехсот наемников-иноземцев. Одни из них были вооружены бердышами с отчеканенным на них золотым царским гербом, другие носили алебарды, тоже с гербом. «Кафтаны у них были темно-фиолетовые с обшивкой из красных бархатных шнуров, а рукава, штаны и камзолы — из красной камки» ^[167]. Появление стражи из иноземцев, которая должна была охранять поочередно царя в течение суток, вызвало недоумение среди знати. Это значило, что собственным подданным царь не очень-то и доверяет.

Вспоминали другой эпизод — зимние забавы на Масленицу в селе

Вяземы, что под Москвой. Там Дмитрий приказал построить снежную крепость, которую должны были штурмовать приехавшие с ним польские всадники и немцы. Русских он поставил пешими оборонять крепость. Как известно, в этой зимней игре использовали только одно оружие с обеих сторон — снежки. Но полякам и немцам показалось неинтересным сражаться таким детским оружием, они решили применить «военную хитрость» — облепили снегом увесистые камни и насажали русским синяков. «Царь сам бросился вперед, захватил со своими немцами укрепление и взял в плен князей и бояр, сам одолел посаженного им воеводу, связал его и сказал: „Дай Бог, чтобы я так же завоевал когда-нибудь Азов в Татарии и так же взял в плен татарского хана, как сейчас тебя“. Он приказал еще раз начать эту забаву, распорядился принести тем временем вина, медов и пива, чтобы всем выпить за здоровье друг друга» ^[168].

Бесчестные приемы иноземцев возмущали подданных царя. Один из бояр напомнил Дмитрию, что русские вооружены не только снежками, но и настоящим оружием, и если царь предпримет второй штурм, то быть большой беде. Разумеется, в этой забаве участвовал и молодой Скопин, здесь он увидел немецкую и польскую конницу в действии, пусть и не на поле боя, а в игре, и сумел оценить их силу и сноровку. Возможно, во время этого шуточного сражения он впервые задумался о том, что одной лишь обороной крепостей и сидением под ее стенами войну не выиграть, нужно учиться воевать с иноземной конницей и в открытом поле.

Скопин внимательно наблюдал за всем, что происходило во дворце; он видел, что не только за стенами Кремля, но и внутри него многие приближенные относились к царю с симпатией. Однако задолго до свадебных торжеств стал замечать мечник и другое: недомолвки, скрытные разговоры намеками между братьями Шуйскими, Михаилом Татищевым и Василием Голицыным. Слухи о готовящемся заговоре бояр усиленно бродили по Москве. Басманов не раз докладывал царю о необходимых мерах предосторожности, но тот, похоже, не очень-то верил этим слухам. Скопин догадывался, что правление царя Шуйским не по нраву, это не было новостью для Михаила: его дядя Василий как-то обмолвился: мол, неважно, кто такой этот Дмитрий, для борьбы с Годуновым хорош любой. Но неужели Василий так скоро забыл, что еще год назад его голова лежала на плахе? Неужели он вновь готовит заговор? В это князь Михаил поверить никак не мог.

А теперь еще и появление многочисленных польских гостей на

свадьбе, вооруженных как на войну. Все это раздражало и знать, и простых москвичей. К тому же Скопин знал, что о переходе царицы в православие, как того требовал обычай, ни сама царица, ни ее отец и слышать не хотели. Как воспримет это духовенство и Боярская дума? Казанского митрополита Гермогена, протестовавшего против брака царя с «лютеранкой Маринкой», царь уже отправил в ссылку. Что же будет дальше? Остается только надеяться на лучшее, ведь что-либо предпринять он, мечник, пусть даже и «великий», не может.

8 мая состоялось венчание царя и Марины в Успенском соборе Кремля. Толпы людей, собравшиеся приветствовать новобрачных, видели, как царь и царица в нарядных одеждах чинно прошествовали в собор. Никто из присутствовавших не догадывался, какие споры о костюме невесты разгорелись накануне торжества. Марина хотела присутствовать на венчании только в польской одежде, думные бояре требовали, чтобы она была одета по-русски. После долгих споров царь, наконец, уступил боярам, а Марину попросил надеть русскую одежду только на один день ^[169].

Перед царем шествовал мечник князь Михаил Скопин-Шуйский, «с мечом наголо, долгим и широким, в парчевой шубе, подшитой неважными соболями, руки всунуты в выпуски; шуба имела вид реверенды, какую употребляют наши придворные ксендзы» ^[170]. К сожалению, этот краткий отклик Станислава Немоевского — единственное описание Скопина на церемонии. К тому же очевидца происходящего больше интересовала шуба мечника, нежели он сам. Упоминается о присутствии мечника на венчании в Успенском соборе и в разрядных книгах: «7114. Того же году мая в 8 день разряд свадьбе, как женился Рострига на Маринке, который назывался царевичем Дмитрием... А с мечом стоял князь Михайло Васильевич Шуйской-Скопин...» ^[171]

Свадьбы великих князей и царей приравнялись к государственным торжествам и отличались особенной пышностью. Присутствие на них расценивалось как особая честь, за право быть приглашенным на свадебные торжества шла упорная борьба между претендентами. Когда же гости и участники были определены, начиналась не менее упорная борьба за статус. Сохранившиеся в архивах черновики свадебных разрядов пестрят вычеркиваниями, исправлениями и добавлениями между строк новых имен. Назначение на почетные службы во время церемонии считалось высокой честью для избранного и свидетельствовало об особенном доверии государя ^[172].

На свадьбе присутствовали трое из четверых Шуйских. Василий

Иванович Шуйский получил наиболее почетную должность — он был назначен главным распорядителем — тысяцким, его брат Дмитрий Иванович — дружкой царя. Приглашены были и женщины — мать Скопина княгиня Алена Петровна названа в списке второй после супруги князя Федора Мстиславского, сидела на пире и жена Дмитрия Шуйского — княгиня Катерина Григорьевна. Не были забыты и Татевы: в свадебном поезде участвовали двоюродные дядя Скопина «дворяне московские князь Федор да князь Семен Ондревичи Татевы», третий Татев, Иван Андреевич, был на встрече послов, едущих с невестой.

Мечник, глядя на Василия Шуйского, весело распоряжавшегося на свадьбе царя, в который раз задавался одним и тем же вопросом: неужели дядя действительно затевает новый заговор? Что означает его притворное, напоказ, угождение царю? И почему царь так доверяет ему? Ответа на эти вопросы князь найти пока не мог, тем более что свадебные торжества оставляли мало времени для размышлений. Сам Михаил Васильевич Скопин-Шуйский был на свадьбе среди мовников — так называли тех, кто ходил в баню с женихом на следующее утро после свадьбы: «А в мыльню с ним ходили: боярин Петр Федорович Басманов, окольниковый И. Ф. Крюк-Колычов, чашник князь И. И. Курлятев, кравчей князь И. А. Хворостинин. Мовники и перед ним с окольниковыми они ж ходили: князь Михайло Васильевич Скопин-Шуйской, князь Иван Михайлович Катырев-Ростовский...»^[173] Для компании царь обычно выбирал наиболее близких ему людей, так что присутствие Скопина среди многих молодых, как и он сам, людей, в мыльне, было свидетельством наибольшей личной близости к особе государя.

Далеко не все происходившее на свадьбе соответствовало русским традициям, многое вызывало споры между поляками и русскими. Католичка Марина не приняла причастие по православному обряду, что вызвало недоумение у всех присутствовавших русских. Однако после удаления польских гостей причастие все же состоялось — видимо, Марина рассудила, как французский король Генрих IV: Москва стоит обедни.

Поляки, не таясь, смеялись над русскими обычаями и традициями, русские в долгу не оставались. Поначалу столкновения между польскими гостями и хозяевами вспыхивали по безобидным поводам. Во время венчания в Успенском соборе дьяк Афанасий Власьев обратил внимание на то, как горделиво польский посол держит в руке свою высокую, нарядно украшенную на манер мадьярской шапку. Насмешник и острослов Афанасий Власьев подошел к послу и перемигнул с кем-то за его спиной.

— Дай подержу твою шапку, — сказал дьяк по-польски, обращаясь к послу, и протянул руку. Ничего не подозревавший посол отдал шапку, Афанасий будто играючи передал ее стоявшему поодаль сыну боярскому, а тот вышел вместе с ней из собора. Церемония венчания шла своим обычным, положенным ей ходом, но никто возвращать послу его головной убор не собирался. Вскоре поляк почувствовал неладное и подошел к улыбающемуся Власьеву.

— Ясновельможный пан, когда же мне вернут мою шапку? — обратился он к Власьеву.

Дьяк, улыбаясь, ответил:

— Будет, уже скоро будет.

Увидев, что стоявшие рядом с дьяком русские улыбаются и посмеиваются над происходящим, раздраженный посол властно потребовал немедленно вернуть ему головной убор. Однако Афанасий несколько не смутился. Напротив, будто не замечая гнева посла, он отвечал, слегка покачиваясь взад-вперед на каблуках:

— Однако в церкви не студено, и солнце тебя не освещает, и ты видишь, здесь ни у кого нет на голове шапки. У нас их в храмах не носят ^[174].

На этом злключения польского посла на русской свадьбе не закончились. Во время пира Михаил Скопин-Шуйский, который стоял с мечом наголо между столом царя и расположенным ниже царского на поллоктя столиком польского посла, наблюдал, как посол передал царю подарки от польского короля и себя лично. Мечник знал, что царь недоволен польскими послами, отказавшимися именовать его императором. Поэтому не удивился, когда Дмитрий, едва взглянув на подарки, заметил с иронией, повернувшись в сторону мечника: «Посол дал, что имел».

День ото дня взаимоотношения между поляками и москвичами ухудшались. Польские гости упрекали хозяев, что те «живут в величайшем рабстве... Свобод никаких, да и не знают, что это такое» ^[175]. Боярам поляки высокомерно указывали на традиции своего государства и предлагали поучиться их порядкам, при которых «король не может никакого налога установить, ни начать войну с кем-либо, пока мы не дозволим». «Да, — отвечали русские, — хорошо у вас». Но, усмехнувшись в бороду, добавляли: «Ваша вольность вам хороша, а наша неволя — нам, ведь ваша вольность... это своеволие, а разве мы не знаем того... что у вас сильнейший угнетает более худого, свободно ему взять у более худого владение и самого убить, а по праву вашему искать справедливости

придется много лет, прежде чем (дело) завершится, а то и не завершится никогда. У нас... самый богатый боярин самому бедному ничего сделать не может, так как после первой жалобы царь меня от него освободит» ^[176].

Подобные разговоры о достоинствах польского государства перед русским с его «тиранией» не были новостью в России. Куда приводили права польской шляхты, раздирающей государство на части в угоду собственным интересам, тоже было известно. Ограничивая права монарха, польское дворянство старалось свести к минимуму расходы на государственные нужды, которых потребовали бы управленческий аппарат и сильная армия, все это в конечном счете вело к ослаблению государства, в то время как в соседних странах оформлялась абсолютная власть правителей.

Через неделю после венчания Марины на царство польские гости, освоившись, стали вести себя уже как хозяева: пили, бесчинствовали на улицах, требовали, чтобы русские благодарили их за присланного из Польши государя, горделиво поучали «правильным обычаем» взамен «московских предрассудков» — вроде хождения в баню или частых постов. При спорах с «этими животными» — «*bydlo*» — тут же обнажали оружие, останавливали на улицах возки, насильно вытаскивали из них женщин, затевали драки с родственниками и слугами, сопровождающими их. Одним словом, как заметил гетман Жолкевский, «наши... жили развратно, убивая, насилуя и не щадя не только чего-нибудь иного, но даже церквей» ^[177].

В раздраженной выходками польских гостей Москве Василию Шуйскому и его сторонникам совсем не трудно было 17 мая 1606 года организовать мятеж против царя и его убийство.

Глава четвертая

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ И ПЕРВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ

*И добро бы уж ходил ты на турку или на шведа, а
то грех и сказать на кого.*

А. С. Пушкин. Капитанская дочка

«Шубник» на царстве

Василий Шуйский водрузил, наконец, на свою голову желанную шапку Мономаха. Родственники царя, как водится, немедленно приблизились к престолу, родной брат Василия Дмитрий занял самое высокое место в Думе — получил чин конюшего. Об участии же Скопина — четвероюродного племянника царя — в перевороте 17 мая и дальнейшей борьбе за власть сведений нет.

Впрочем, один из иноземных купцов все же упомянул в своих мемуарах об исчезнувшем телохранителе самозванца, носившем всегда его меч: «Димитрий стал против народа, хотел драться, засучив рукава своей рубашки, требовал меча, обыкновенно перед ним носимого, но хранитель сего меча (или тесака) скрылся»^[178]. Исчезновение как самого мечника, так и меча, по мнению мемуариста, и привело Дмитрия к гибели. Что и говорить, описанная якобы очевидцем сцена выглядит вполне трагикомично: драться врукопашную, к тому же со сломанной после падения из окна ногой самозванец вряд ли бы смог. И здесь ему не помогли бы ни церемониальный меч, ни его хранитель.

Однако рассказ купца совершенно не согласуется с мемуарами наемников Конрада Буссова и Жака Маржерета, отлично осведомленных о деталях произошедшего в Кремле 17 мая 1606 года. В момент мятежа рядом с самозванцем была гвардия из наемников, и оружие у него тоже имелось; высываясь из окна с криком: «Я вам не Борис!», Лжедмитрий гневно потрясал бердышом, видели в его руке и палаш. Так что судьбу самозванца решил вовсе не церемониальный меч, а внезапность появления заговорщиков, слаженность их действий и недостаток сил телохранителей.

Кто-то из историков склонен видеть Скопина участником заговора лишь потому, что он — Шуйский^[179]. Однако вспомним его близость Лжедмитрию и почетное место великого мечника: мотивов участвовать в свержении самозванца у него явно было недостаточно. Косвенным подтверждением непричастности Скопина к заговору является то, что он не упоминается в раздаче наград и чинов, да и поручений своему дальнему родственнику царь Василий на первых порах не давал. К счастью, в отдаленные пограничные города он все же князя Михаила не сослал, как иных, обласканных самозванцем людей: дьяк Афанасий Власьев поехал в Казань, князь Василий Рубец-Масальский — воеводой в Корелу, Михаил Салтыков — в Ивангород, Михаил Татищев — в Новгород. Опала

Татищева, одного из наиболее активных участников мятежа 17 мая, первым нанесшего удар защитнику царя Басманову, кажется загадочной. Но к этому человеку, чей жизненный путь пересечется с дорогой Михаила Скопина, мы еще вернемся.

Назначения самозванца отменялись, поэтому из великих мечников Михаил Скопин был возвращен в стольники. Заслужить новые пожалования он сможет лишь в боях, исход которых будут решать не происхождение и близость к царю, а личные достоинства полководца. Но в первых сражениях ему предстояло встретиться не с татарскими отрядами, по несколько раз в год, как саранча, налетавшими на южные границы страны, и не с польскими отрядами, жаждавшими вернуть Смоленск и Северские города, а со своими собственными «ворами» и изменниками.

Воцарение Василия Шуйского вовсе не привело страну, как ожидали сам царь и избравший его Земский собор, к вожделенному миру и покою: «А как после Ростриги сел на государство царь Василей, и в польских, и в украинских, и в северских городах люди смутились и заворовали, креста царю Василью не целовали, воевод почали и ратных людей побивати, и животы их грабить... В Борисове убили Михаила Богдановича Сабурова... в Белегороде — Петра Ивановича Буйносова, а с Ливен Михаил Борисович Шеин утек душою да телом...»^[180]

Итак, «смутились и заворовали» те же самые города и крепости, граничившие с Речью Посполитой, которые два года назад переходили на сторону самозванца. Северские города во главе с Путивлем вновь отпали от Москвы, объявив: «Шуйского царем не признаем, мы его не избирали, а признаем прирожденного царя Димитрия, который не убит». Вслед за Северскими изменили царю Ливны, Елец и другие, находящиеся в Поле и потому называемые *польскими*. Город Путивль и вся область имели особые причины сохранять верность самозванцу: Лжедмитрий освободил их на десять лет от уплаты налогов и податей. Но вскоре к ним присоединились украинные города, а за ними рязанские.

Удаленность этих мест от Москвы, близость Дикого поля, привлекавшая издавна беглых крестьян и холопов желанной волей («С Дону выдачи нет», — говорили тогда), — все это, как и в случае с первым самозванцем, играло роль хороших дрожжей, на которых легко было замесить нового претендента на престол. Один из иностранцев прямо назвал тех, кто не поддержат избрания Василия Шуйского, — это служилые люди «по прибору» и казаки: «Они сразу выступили против него и ведут войну с ним и сильно досаждают ему ежедневными оскорблениями»^[181].

Власть Шуйского не признали не только Северские города, но и пограничные крепости — на юге Астрахань, на западе — Псков. В Астрахани народ, услышав имя Василия Шуйского, стал браниться и кричать: «Ужели же этот шубник станет нашим царем? Мы не хотим его принять, ибо признаем своим царем только Димитрия»^[182]. Оказалось, что Шуйский, подняв восстание против самозванца, посеял ветер и теперь по праву пожинал плоды разразившейся бури.

Народ...

.....
Стихию эту лучше не дразнить,
А то поднявшийся ответный ветер
Вернет мне стрелы острием назад^[183].

Но едва ли волнение, охватившее к середине 1606 года всю страну, можно объяснить одной лишь нелюбовью к Василию Шуйскому, по главному промыслу в принадлежащих ему землях именуемому *шубником*. Стремление знатных родов тянуть одеяло на себя, утверждать свою власть в споре с государем — все это воскрешало в памяти уже подзабытые удельные времена, когда каждый князь и боярин действовал «огурством своим», то есть самовольно. Земский собор, как считали в провинции, не был собран в Москве в полном составе, и это давало повод называть Василия Шуйского «самоизбранным царем». Открыто говорили, что Шуйский «самовольно, хищнически, бесстыдно из боярского сословия выскочил на царство», без «согласия всех городов». Он имел еще меньше прав на престол, чем Борис Годунов — «царь-раб», как называл его автор «Временника» Иван Тимофеев. Несмотря на нецарское происхождение, Годунова все же избирали представители ото всех городов, приехавшие на Земский собор, Шуйского же — оказавшиеся в Москве немногие люди от «земли».

От правителя избранного всегда ожидают больших достоинств и свершений, чем от того, кто получил власть по наследству. Однако ни активным градостроительством, ни расцветом торговли, ни широкой благотворительностью, ни относительным спокойствием на границах, как было во времена Бориса Годунова, Шуйский похвастаться не мог. К тому же все помнили его царедворцем, угождавшим и Годунову, и самозванцу, хуже того — клятвопреступником: при Годунове он клялся, что царевич

заколотся сам, и он, Шуйский, похоронил его «вот этими руками» в Угличе, а спустя всего несколько дней целовал крест «спасшемуся царю Димитрию» и служил ему, заседаая в Думе.

Возвысившийся по случаю или, как сказал о нем поляк Жолкевский, «по волчьему праву», Шуйский возбуждал зависть многих родовитых бояр. Его кандидатура была далеко не единственной, и желающих поставить «своего царя» находилось немало: «Захотели многие на царство. А дворяне и дети боярские, и всякие служилые люди: хто х кому прихож и кто ково жаловал, те тово и хотят, а иные иново хотят: хто х кому добр»^[184]. Эта ситуация повторится в 1613 году, когда казаки и служилые люди в обход бояр будут выдвигать на престол своих предводителей. О таком «хотении» многих на царство Шуйскому придется постоянно помнить и прибегать к разнообразным ухищрениям, чтобы удержать на голове таким трудом добытую шапку Мономаха.

Первый звонок для Шуйского прозвенел уже летом того же 1606 года, когда в Москве произошли волнения. Жак Маржерет, бывший охранник самозванца, находился в тот момент рядом с царем: «Узнав, что народ собирается от его имени на площади, он был весьма удивлен и, не трогаясь с места, где узнал об этом, велел разыскать тех, кто устроил собрание». Ситуация сильно напоминала только что происшедшее свержение самозванца. Шуйский быстро смекнул, что для него запахло жареным, и потому прибег к упреждающим мерам. По словам Маржерета, он начал плакать, упрекать сбежавшийся на площадь народ в измене, а потом и вовсе предложил своим подданным переизбрать его: «они сами его избрали и в их же власти его низложить, если он им не нравится, и не в его намерении тому противиться»^[185]. И отдал скипетр и шапку Мономаха.

Для сохранения власти, как известно, прибегают к любым средствам. Притворство Шуйского спасло его от участи самозванца: народ успокоился и конечно же пожалел своего плачущего государя. Впрочем, хитрый государь надолго выпускать из рук скипетр не собирался — едва отдав его, он «тотчас взял обратно» со словами: «Мне надоели эти козни».

Несмотря на недоверчивый характер, готовность выслушать всякую сплетню и солгать в любую минуту, если это отвечало его интересам, Василий Шуйский все же пользовался уважением многих людей, прежде всего за свое происхождение, а также за начитанность, образованность и следование древним обычаям. В 1606 году, чтобы убедить всех в законности своей власти, царь послал по городам грамоты, в которых описывались злодеяния самозванца. Как доказательство вины Лжедмитрия

к грамоте прикладывались его письма к папе с уверениями в преданности католической церкви, с обязательствами содействовать соединению Западной и Восточной церквей, скорейшему приведению московитов к католической вере ^[186]. О настоящем царевице Дмитриии говорилось теперь, что он не сам закололся ножичком, а «по зависти Бориса Годунова яко агня незлобивое заклася»; в грамотах извещалось о торжественном перенесении мощей истинного царевица из Углича в Москву.

Москвичи в спасение царя конечно же не верили. Все приходили на Лобное место, где три дня лежали тела самозванца и верного ему до самого смертного часа Басманова, и могли убедиться в действительной их кончине. Сомнений, что перед ним лежит не «Димитрий», а кто-то другой, ни у кого не было. Тем более не было их у Скопина: он хорошо знал царя, которого еще недавно охранял с мечом наголо. Михаил, наверное, мог даже сожалеть о его смерти, если бы не очевидные доказательства «вин» самозванца, о которых читали в царских грамотах.

Встречал Михаил вместе со всеми и процессию из Углича с телом истинного царевица Дмитриия. Слушал причитания царицы-инокини Марфы у гроба ее сына, ее вопли о том, что «она перед всеми людьми Московского государства и всеа Руси виновата, а болши всего виновата перед новым мучеником, перед сыном своим царевицем Дмитрием». Просила прощения у всего мира, потому что «делалось это от бедности, потому, как убили сына ее царевица Дмитрия, по Борисову веленью Годунова, а после того держали в великой нужи и род ее весь по далним городам разослан был» ^[187].

Михаил смотрел, как убивалась и рыдала у всех на глазах вдова царя Ивана IV, и вспоминал ее встречу с «сыном» в селе Тайнинском год назад. Он своими глазами видел тогда, с какой искренней радостью обнимались Марфа и «Димитрий», как плакали от счастья, потому и поверил поначалу в истинность царевица. Да и как не поверить в слезы матери?

«Когда же Марфа говорила правду? — мучительно размышлял Михаил, глядя на нее. — Тогда ли в Тайнинском, когда она заверяла всех в спасении сына, или сейчас, когда она оплакивает его мученическую кончину?» С этим же вопросом он обращался дома и к своей матери, Алене Петровне.

— Да не спасся он тогда в Угличе, убили его. А ты не суди ее, пожалей бедную вдовицу, — услышал он мудрый ответ матери. — Как же ей было правду объявить, когда она смерти страшилась, женскую немощью одержима?

Будто свою судьбу видела боярыня, призывая сына к жалости. Пройдет всего четыре года, и Алена Петровна вместе с молодой вдовой Михаила будет сама неутешно рыдать над гробом единственного сына.

В семье Скопина-Шуйского к «нововоцарившемуся» родственнику отнеслись сдержанно. И лукавый характер его, и неумное властолюбие, и любовь к «шептунам и ушникам» — все это заставляло сторониться и его самого, и его родных братьев. Шуйский во всех своих грамотах подчеркивал свою родовитость, кичился происхождением от Рюрика и «прародителя нашего великого государя Александра Ярославича Невского». Но Михаил с детских лет помнил, что Скопины — старшая ветвь могучего древа потомков суздальских князей, и потому он имеет не меньше прав на престол, чем братья Шуйские. К тому же все знали о том, что у немолодого Василия наследников нет, а правитель без наследника — это угроза новой Смуты и безвластия. Однако сам Михаил к тому времени еще себя ни в чем не проявил, о престоле для себя ни он сам, ни кто-либо из его близких даже не помышлял. Все вновь заговорили о появлении «воров» у границ, вести о новой волне Смуты докатились до Москвы.

Первый бой стольника Скопина

Летом 1606 года, когда Василий Шуйский венчался на царство, на окраинах государства уже сбивались в станицы недовольные новой властью. Как и год назад, основу мятежного войска составляли казаки, к ним присоединялись стрельцы и «всякие многие люди розных городов»^[188]. К началу осени предводитель войска Иван Болотников привел повстанцев к Москве.

В 50 верстах от столицы принял свой первый бой девятнадцатилетний стольник Михаил Скопин. Его противником был не новик в военном деле, а прошедший огонь и воду, понюхавший пороху ратник. Больше года — вплоть до пленения вождя повстанцев — будет длиться война, за время которой не раз пересекутся судьбы юного стольника и опытного атамана.

В свое время историки посвятили Ивану Болотникову сотни страниц исследований, в подробностях описав перипетии и самой войны, и полной приключений биографии ее героя. Фигура мятежного атамана на долгие годы заслонила собой личности других участников событий — и главы государства царя Василия, и главы церкви святителя Гермогена, и главнокомандующего царским войском Михаила Скопина-Шуйского. Но, оказывается, оставить след в истории и сохранить имя в памяти народной — не одно и то же. В историческом фольклоре отразились многие персонажи Смутного времени, одних народ клеймил позором, называя Лжедмитрия I «Гришкой-Расстрижкой», Лжедмитрия II — «вором-собачушкой», Марину Мнишек — «девкой лютеранкой». Других — несчастных и безвременно погибших Ксению Годунову и царевича Дмитрия — оплакивал и жалел. Немало песен сложено о Скопине-Шуйском, а вот вождю восставших, храбрецу Ивану Болотникову ни в песнях, ни в былинах, ни в сказаниях места не нашлось. Отчего? Героем того, кто поддерживал лжецаря, народ не считал? Или причина кроется в ином?

По рождению Болотников был москвитом, происходил из обедневших детей боярских и служил военным холопом у князя Андрея Телятевского. Военные холопы сопровождали князей и бояр в походах и сражениях, умели обращаться с оружием и были опытными бойцами^[189]. К тому же Болотников был человеком крепкого сложения, сильным, храбрым, даже отчаянным. Поэтому не удивительно, что восставшие под его руководством нередко одерживали победы над царскими воеводами, имевшими в своем

распоряжении артиллерию, более подготовленное и лучше организованное, снабженное огнестрельным оружием войско.

Известно, что Болотников бежал от своего хозяина на Дон, к казакам. Ходил с ними «за зипунами», воевал, «гулял» в Диком поле. Во время одного из походов был взят в плен крымскими татарами и, как сотни других русских пленных, продан на невольничьем рынке. Физически сильный и рослый, он был куплен хозяином турецкого корабля и определен им в галерные рабы. Стоили невольники дешево, их хозяева всегда могли найти замену умершему рабу, поэтому надсмотрщики не жалели гребцов, а их кнут то и дело опускался на спины несчастных. Но рабское состояние было не для Болотникова — ему повезло не только остаться в живых, но и вторично обрести свободу: их корабль был захвачен в плен немецким судном, а все невольники освобождены. На том же немецком судне он приплыл в Венецию, где прожил некоторое время, вновь привыкая к свободе и залечивая раны. В 1606 году он решил вернуться на родину: из Венеции через Германию и Польшу пробрался в Россию и, что называется, попал из огня да в полымя.

Еще в Польше он узнал, что царь Дмитрий Иванович якобы вторично спасся от смерти и находится сейчас у воеводы Сандомирского. Болотников направился к нему и был принят «царем». Конечно же ни настоящего царевича Дмитрия, ни первого самозванца Болотников в лицо не знал. В Польше он встретился с человеком, выдававшим себя за царя Дмитрия. (Говорили, что это мелкопоместный дворянин Михаил Молчанов, бывший приближенный Лжедмитрия I: во время восстания 17 мая Молчанов бежал из Москвы, якобы захватив с собой печать самозванца.) Человек этот расспрашивал Болотникова о том, кто он, откуда приехал и что собирается делать. Увидев, что перед ним опытный воин, он предложил ему служить в «своем» войске: «Я не могу сейчас много дать тебе, вот тебе 30 дукатов, сабля и бурка. Довольствуйся на этот раз малым. Поезжай с этим письмом в Путивль к князю Григорию Шаховскому. Он выдаст тебе из моей казны достаточно денег и поставит тебя воеводой и начальником над несколькими тысячами воинов» ^[190].

Так Болотников оказался в России во главе войска в 12 тысяч человек, с которым направился через Комарицкую волость к Москве. По дороге его отряд пополнялся казаками, стрельцами и, чего раньше не бывало, холопами и крестьянами, которые уходили от своих домов, пашен и огородов. На первых порах желающих вступить в его ряды было немало: кто-то стремился низвести «незаконного» царя Шуйского и вернуть

престол законному «Димитрию», кто-то — расправиться с ненавистными воеводами и боярами, а кто-то — просто пограбить чужие дворы, прихватить не нажитое своим трудом имущество. Казакам особенных причин искать было не нужно, их желание повоевать, показать удаль, широкий размах — от которого больше крику и шума, чем дела, — хорошо известно. Казацкому атаману достаточно было кликнуть клич, и «всё, что ни было, садилось на коня», как метко заметил Н. В. Гоголь.

На время вся эта разношерстная компания объединилась под лозунгом возвращения престола законному царю и устремилась к Москве. По мере приближения болотниковцев к столице то, что они творили, все больше напоминало действия противника на захваченной территории. Воевод в городах «многими различными смертми казнили»: бросали с башен, вешали за ноги, распинали на городских стенах^[191]. Были убиты боярин князь Петр Буйносов, князь Василий Черкасский, воевода Яким Бутурлин, князь Василий Тростенский, князь Петр Вердеревский, Семен Мальцев, воевода Путивля Никита Измайлов. Расправлялись не только с боярами, но и с зажиточными горожанами, грабили, убивали их, объявляя «изменниками», не желавшими признавать власть нового царя. Так что на роль русского Робин Гуда Иван Болотников вряд ли годился, чем, может быть, и объясняется его полное забвение в историческом фольклоре.

До Москвы уже докатились вести о новом самозванце. Скопин знал о грамотах, которые рассылали царь и патриарх по городам, убеждая народ в ложности слухов о спасшемся Дмитрие. «Не свое ли отечество разоряете?» — обращался патриарх Гермоген к изменникам. Но грамоты, похоже, пока не возымели действия.

Недоумение и страх вызвали в Москве вести о том, что в войско Болотникова вливались уже не только беглые холопы и казаки, но и служилые люди по отечеству, имевшие земли, — дети боярские и дворяне. Одним из них был Истома Пашков, возглавивший отряд болотниковцев. Известно, что его отец Иван Пашков имел 219 четвертей земли, с которых и нес службу государю^[192]. Обычное жалованье городских дворян и детей боярских колебалось от 20 до 700 четвертей земли, что составляет от 10 до 350 гектаров соответственно. То есть Иван Пашков принадлежал к небогатым, среднепоместным дворянам. Был женат, известно имя его жены — Богдана. Истома, в крещении Филипп, унаследовал поместье после смерти отца в 1603 году. Истома — имя домашнее, не из святцев, — так обычно называли ребенка в семье, если характер он имел беспокойный и отличался способностью «истомить» своим неугомонным поведением всех

близких. Что и говорить, жизненный путь Истома-Филиппа гладким и ровным не назовешь. Родился он около 1583 года, значит, в момент описываемых событий был еще молодым человеком, лет примерно двадцати трех — двадцати четырех. Несмотря на молодой возраст, имел уже двоих сыновей — Афанасия и Федора.

Получив после смерти отца поместье, Истома тем самым унаследовал и обязанность служить верой и правдой государю, являться по его первому требованию на смотр и в поход при оружии и на коне. Так, начиная с середины XVI века, формировалось дворянское сословие, главным назначением которого было поддерживать государя. Дворянином именовали «того, кто служит», и служилым людям, в отличие от вольных казаков, было что терять. Но в те годы дворянство как сословие еще не сложилось, традиции службы не укоренились, многие, как Истома Пашков, были служилыми людьми по отчеству лишь во втором поколении. Наступившая Смута сдвинула с привычных мест и не такие, едва появившиеся на свет установления, поэтому не удивительно, что в числе тех, кто примкнул к Болотникову в начале его похода, были и люди служилые.

Истома, несмотря на молодость, продвигался по службе быстро. При Лжедмитрии I он уже командовал сотней детей боярских из города Елифани, на поле боя Истома отличался храбростью и отвагой, был умен и находчив в сложных ситуациях. Даже официальное «Иное сказание» отдает ему должное, называя его «полководцем и храборборцем, большим промысленником».

Другим предводителем восставших стал рязанский дворянин Прокопий Ляпунов. «Прокофей Петров сын Ляпунов», как записано в боярском списке 1606/07 года, служил с 700 четвертей земли в Рязани, то есть принадлежал к числу весьма состоятельных землевладельцев. Едва скончался Борис Годунов, Прокопий и его брат Захарий вместе с другими зачинщиками подняли мятеж в войске под Кромами и одними из первых перешли в лагерь самозванца. После свержения Лжедмитрия и появления Болотникова Прокопий присоединился к противникам Шуйского.

Что толкнуло этих людей, долг которых — служить государю, на измену сначала сыну Годунова, а затем царю Василию? Еще во времена Ивана Грозного семейство Ляпуновых — а у Петра было пятеро сыновей — стало знаменито в рязанском крае и в Москве, но известность их была скорее скандальной, а дела за ними значились весьма неблагоприятными. В молодости братья примкнули к тем, кто после смерти Ивана IV пытался свергнуть Богдана Бельского, они якшались с Андреем Шереметевым,

которому в опричнине поручалось обдeldывать самые грязные дела. Когда понадобился палач, чтобы расправиться с семьей Годунова, позвали именно его. Шерефединов прославился также тем, что беззастенчиво отбирал и присваивал себе понравившиеся ему земли в богатом на урожай рязанском крае.

Брат Прокофия Захарий был не единожды под судом. В первый раз за необоснованное местничество: в 1595 году он не захотел быть в станичных головах вместе с Кикиным, отечество которого считал ниже своего, и дезертировал из Ельца к себе в поместье. Рязанскому воеводе поручили его взять и скованного привезти в Переславль-Рязанский. Там он был публично бит батогами, посажен в тюрьму, а затем с приставом отправлен на службу^[193]. Позже он был уличен в контрабанде: продавал вино и оружие казакам на Дон, что было запрещено Борисом Годуновым. Склонность к неповиновению и желание помериться силой, похоже, были семейной чертой всех Ляпуновых. Известно, что они неоднократно, всем семейством предъявляли безосновательные иски к князьям Засекиным, на земли которых претендовали^[194].

Едва ли можно согласиться с С. Ф. Платоновым, объяснявшим их измену в 1605 году неприязнью к Годунову. Скорее, зуд тщеславия и упорное желание все устроить по-своему — вот что толкало братьев Ляпуновых в Смуту. И не только их. Историки заметили, что в эпоху Смуты все вдруг начали писать свои имена с «вичем», то есть именовать себя по отчеству, чего раньше не было, — прежде людям неродовитым подобное разрешалось по указанию царя, в знак особой милости. В Смутное же время намерение возвыситься любой ценой будет диктовать и желание именовать себя как можно более уважительно, как написал Авраамий Палицын: «Всяк же от своего чину выше начаша сходити: рабы убо господие хотяще быти, и неволнии к свободе прескачюще».

Эти же мотивы позднее будут двигать Прокофием Ляпуновым в его стремлении видеть Скопина-Шуйского на престоле. И. Е. Забелин совершенно справедливо считал, что и «вся Смута исключительно двигалась только личными, своими, а не общественными побуждениями и интересами»^[195]. Сплетение политических и социальных мотивов, породивших Смуту, при их внимательном рассмотрении приводит к убеждению, что коренились они прежде всего в столкновении личностных, а значит, эгоистических интересов. Казалось, в эти годы упрочилась лишь одна логика — логика личной выгоды. Однако столкновение интересов многих людей редко само по себе складывается в единый вектор движения,

напротив — порождает хаос и беззаконие. И значит, выход из Смуты всегда один — добиваться того, чтобы над эгоизмом и корыстью немногих возобладала логика общественной пользы.

Между тем посланное Василием Шуйским войско осадило город Кромь, где засели восставшие. Уже в который раз Кромь оказались в центре событий, и вновь царское войско постигла неудача. К этому времени обнаружилось «шатость» и измена многих городов. «Отпали» от Москвы Орел, Мценск, Тула, Калуга, Венев, Кашира и города Рязанской земли. Пришедший под Кромь со свежими силами Болотников разбил войско под командованием князей Юрия Трубецкого и Бориса Лыкова, и воеводы отступили. По меткому выражению современника, Болотников «оттолкнул» воевод от Кром.

Другое войско, посланное Василием Шуйским под командованием князя Ивана Воротынского в Елец, повторило судьбу первого. К тому же у служилых людей к осени закончились взятые с собой в поход запасы продовольствия.

По традиции того времени, в мирные дни все разряды войска обеспечивали себя продовольствием самостоятельно: «служилые люди по отечеству» — дворяне — получали денежное жалованье из казны, а также доходы со своих земельных владений. «Служилые люди по прибору» — стрельцы, пушкари, городовые казаки — также получали денежное и натуральное жалованье: от 50–75 копеек в год для рядовых и до двух рублей для пятидесятников, да к тому же по десять четвертей (около сорока пудов) ржи и овса и пуд соли в год. Но жалованье это было невелико, поэтому стрельцы и казаки городовые жили главным образом с доходов с промыслов, пахотных и огородных участков.

Еще с середины XVI века заботы воинов о хлебе насущном во время похода стало разделять с ними государство. Специально назначаемые дети боярские приобретали необходимое у местного населения; приказчики и подьячие, на случай осады города-крепости, хранили в «государевых житницах» зерно, муку, толокно. Однако и в мирные дни с выплатой жалованья служилым людям случались перебои. Что уж говорить о временах Смуты! Казна месяцами не выдавала ни хлеба, ни денег, а города и деревни, где проходили боевые действия, были большей частью разорены. Иные вовсе не получали доходов от своих поместий, захваченных ворами, так что пополнять запасы частенько было не на что. Даже элита войска того времени — стремянные стрельцы, охранявшие самого царя, — и те к 1606 году уже третий год как не получали жалованья

и были вынуждены ходить в самодельной одежде и лаптях вместо сапог^[196].

Тем, у кого закончились припасы в осеннем походе 1606 года, пришлось покупать новые: за четверть сухарей платили по девять рублей и больше. Такие деньги были далеко не у каждого. Как записал летописец, «от тое скудости многие размышления стали»^[197]. Несытые размышления обычно до добра не доводят. Насмотревшись на отпадение многих городов и земель от Шуйского, на отступление армии все дальше к Москве, оголодавшие служилые люди «учали из полков разъзжатца по домам»^[198]. Страх за свои семьи, дома и оставшиеся беззащитными поместья толкал служилых людей поближе к родным местам. Возвращаясь домой, они везли с собой и известия о набиравшей силу армии повстанцев.

В сентябре царские войска были стянуты к Калуге, сюда же направился и Болотников. Вторая часть войска восставших, которой руководил Истома Пашков, продвигалась от Ельца через Мценск на Тулу. Под Калугой восставших ждала неудача: посланное против них царское войско во главе с Иваном Шуйским, Борисом Татевым и Михаилом Татищевым разгромило отряды «воровских людей» в устье реки Угры. Однако победа над мятежниками привела к неожиданному результату: Болотников «сослался» с калужанами, и те не пустили воевод в город. Пришлось воеводам уйти ни с чем, потому что все «украинные и береговые», то есть расположенные на окраине и по берегам Оки города, «отложились, и в людех стала смута»^[199]. Вслед за Калугой «смутились» Можайск, Алексин и Серпухов, и победившие на поле боя, не сумев воспользоваться плодами побед, отступили к Москве.

Итак, к октябрю 1606 года, когда Болотников подходил к Москве, ситуация вновь, как и во времена борьбы Бориса Годунова с самозванцем, накалилась до предела. Несмотря на успехи царских воевод, Смута ширилась, города отпадали один за другим. Вернувшийся из похода в Москву воевода Борис Петрович Татев в подробностях рассказывал своему племяннику Михаилу Скопину о битве на Угре, о творимых в городах беззакониях. После жестокостей и кровавых расправ, учиненных болотниковцами, число сторонников «Димитрия», конечно, не прибавилось. Разоренные города, ограбленные поместья, сожженные дома и убитые их владельцы многих заставляли одуматься. К тому же «спасшегося» царя в России, за исключением самого Болотникова, никто не видел — как заметил автор хронографа: «А тово вор, ково называли царевичем Димитрием, нигде в те поры и не объявился».

Осенью царь распорядился выдать из казны деньги на снаряжение

нового войска, которое отправил под Серпухов. Воеводами в него он назначил князя Михаила Скопина-Шуйского, князя Бориса Петровича Татеева и Артемия Измайлова ^[200]. Дело воеводам предстояло нешуточное: не дать Болотникову подойти к Москве. Возглавляемый князем Скопиным-Шуйским отряд вышел к реке Пахре. Здесь, в нескольких днях перехода до Москвы, начинающему полководцу предстояло впервые проявить себя на поле сражения.

Стольник Скопин объезжал свое расположившееся вдоль берега Пахры войско и смотрел, как служилые люди разгружали вьючных лошадей, снимали медные горшки, котлы, топоры, огнива. Из мешков с провизией доставали сухари, овсяную муку — толокно (его разводили водой и делали из него болтушку), сушеную рыбу, солонину, лук, чеснок, соль. Воеводы и те, кто побогаче, везли с собой копченую свинину, говядину и баранину, перец, масло, сушеный и мелко толченный, как песок, сыр, водку, соленую рыбу ^[201].

Неприхотливость и выносливость русских воинов вызывала удивление и восторг иностранцев, видевших их в походе. Только знатные и богатые возили с собой полотняные шатры, в которых укрывались от непогоды. Все остальные сооружали шалаши из веток, накрывали их плащами, складывали туда луки, седла, самопалы и сами прятались там во время дождя. Зимой же разводили костры, сгребали снег и, укрывшись войлоком, спали около огня. «Я спрашиваю вас, — обращался англичанин Р. Ченслер в своих записках о России к соотечественникам, — много ли нашлось бы среди наших хвастливых воинов таких, которые могли бы пробыть с ними в поле хотя бы только месяц? Я не знаю страны поблизости от нас, которая могла бы похвалиться такими людьми...» ^[202]

Стояли теплые и тихие, какие бывают лишь в начале осени дни, наполненные прозрачным, как родниковая вода, воздухом. Поля уже были пусты, остро пахло землей, сыростью и прелой листвой. Густо заросшая по берегам ивами и кустами боярышника, петляла, темнея водой, река Пахра. Михаил ехал без дороги, по жнивью, вдоль кромки поля, подходившего к самой реке. Он снимал с лица легкую паутину, растянутую на ветках ив и блестящую на солнце, и думал о завтрашнем бое. Разведка, посланная им накануне, сообщила, что мятежники встали лагерем всего в нескольких верстах от его отряда. Значит, завтра здесь, на этом недавно убранном поле, будет его первый, а может быть, и последний бой. Он поднял голову: в чистом и высоком, без единого облачка, небе мирно светило солнце, как будто не было на земле никакой войны и не убивали друг друга люди,

говорящие на одном языке и выросшие вместе среди этих полей и лесов.

Осмотрев место будущего сражения, Скопин вернулся к своему шатру. На следующее утро, едва рассвело, стольник коротко помолился, поцеловал образок Архангела Михаила, что висел у него на груди, и начал облачаться в доспех. Поверх рубахи холоп одел на него юшман — кольчужную рубашку с рукавами, в которую были вплетены пластины, защищавшие грудь и спину. Холоп застегнул крюки и петли, скрепляя полы юшмана от шеи до подола. Юшман был нелегко — почти пуд веса, а поверх него на воеводу уже надевали зеркало — доспехи, усиливающие кольчугу. Четыре крупные пластины на спине и груди, две боковые скреплялись на плечах и боках ремнями с пряжками — наплечниками и нарамниками. Позолоченные, начищенные до блеска и сиявшие на солнце пластины зеркала выделяли Скопина среди других воевод, а его высокий рост помогал воинам не терять стольника из вида во время боя.

От ударов сабли руки защищали наручи — пластины, соединенные у кистей ремешками, а голову — железная шапка, именуемая ерихонкой. Скопин сам надел ее, осторожно поправил репей. Металлические уши, затыльник и полка, сквозь которую проходил нос с «шурупцем», — все это должно было защитить воеводу в бою. Скопин оглядел себя, повел плечами, проверяя, ловко ли сидит на нем снаряжение. В доспехе и шлеме уже нельзя было ни сутулить спину, ни опускать голову — напротив, они заставляли расправить плечи, вытянуть шею и гордо поднять голову навстречу опасности. «И взыди князь на избранный свой конь», — вспомнил Михаил слова древнего сказания о начале битвы.

Он взял в руки саблю, слегка вытянул клинок из богато украшенных золотыми и серебряными насечками ножен. Сотни поколений воинов до него вот так же привычным жестом брались за рукоять, испытывали те же чувства перед боем, когда смотрели на узкую, бегущую вдоль голоменя выемку, будто хранившую на себе следы густого, алого цвета, в который окрашивался клинок по самое огниво во время боя. Пройдет совсем немного времени, и стольник Скопин, взметнув саблю над головой и рассекая ею со свистом воздух, устремится в атаку на врага, преодолевая страх и подбадривая себя криком ^[203].

Разрядная книга коротко сообщает о результатах сражения на реке Пахре: «Князю Михаилу был бой с воровскими людьми на Пахре, и воровских людей побили» ^[204]. И прежде молодой Скопин слышал от своего дяди, да и от других воевод об отчаянности, с какой сражались мятежники, теперь он убедился в этом сам. Победа далась нелегко, потери были велики

с обеих сторон, однако мятежников к Москве не пустили. И главная заслуга в этом принадлежала войску, возглавляемому Скопиным-Шуйским.

Впрочем, царь Василий своего дальнего родственника жаловать не торопился, даже золотых — как это бывало после других битв — не прислал. Он, видимо, решил, что победа на Пахре в череде военных событий беспокойной осени 1606 года не столь значительна. Но в тот год отдельные успехи воевод подчас оборачивались для всего царского войска отступлением. Битве на Пахре предшествовало поражение войска князя Кольцова-Мосальского в сражении на реке Лопасне. Если к этому прибавить еще отступление царских воевод из-под Калуги, то итог сражения под руководством стольника Скопина-Шуйского выглядит, может быть, и не столь масштабным, но вполне успешным для начинающего военачальника событием. И хотя основные силы Болотникова и Пашкова сумели соединиться и подойти к Москве, однако победа молодого полководца, не пропустившего врага на своем направлении, запомнилась многим. Победа в первом самостоятельном бою — большая удача, она и в военачальнике, и в подчиненных ему воинах рождает уверенность в том, что врага можно одолеть, и в итоге та победа рождает воина.

А уже через несколько недель, поздней осенью того же года, свидетелями побед Скопина-Шуйского станут и жители столицы. Царь, похоже, поверит, наконец, в своего племянника и назначит его быть в Москве «воеводой на вылазке». Но до этого Скопину предстоит познать не только радость победы, но и горечь поражения.

Объединенные силы мятежников, возглавляемые Истомой Пашковым и Иваном Болотниковым, вместе с рязанскими дворянами под начальством Григория Сунбулова и Прокопия Ляпунова вновь продвигались к Москве. Навстречу им Василий Шуйский выслал войско под командованием опытных военачальников Федора Мстиславского, князя Ивана Воротынского и своего брата Дмитрия. Они должны были соединиться со Скопиным-Шуйским, стоявшим на реке Пахре, и вместе выстроить оборону на пути к столице. Но заслонить город от наступавших мятежников не удалось: «А сошлись с воеводами со князем Михайлом Васильевичем Скопиным-Шуйским по Коломенской дороге в Домодедовской волости... И был им бой с воровскими людьми в селе Троицком с Ыстомою Пешковым, да с рязанцы, и на том бою бояр и воевод побили»^[205]. По словам одного из очевидцев, царское войско недосчиталось после той битвы почти семи тысяч человек.

Что могло стать причиной поражения на сей раз? Почему молодому

князю Михаилу Скопину удалось остановить мятежников, несмотря на их энергичные попытки прорваться к Москве, а трем опытным воеводам — нет? Быть может, именно присутствие на поле боя трех именитых воевод, их несогласие между собой, или, как написал современник, «неединомыслие», стало тому причиной?

Дмитрий Шуйский, родной брат царя Василия, решительностью и отвагой на поле боя не отличался. Был он «воевода сердца не храброго», любил покрасоваться в дорогих доспехах и вкусно поесть. Изнеженного и женоподобного Дмитрия пиры привлекали больше, чем «луков натягивание». В те времена, когда воеводы лично возглавляли свои полки в сражении, отсутствие у командира смелости не могло не отразиться на настроении войска. Более того, могло сыграть и решающую роль в исходе сражения. Как заметил теоретик военного дела, «никогда не веди в бой войско, которое боится врага или сколько-нибудь сомневается в успехе, ибо первый залог поражения — это неуверенность в победе»^[206]. Неудача всегда будет сопровождать в бою трусливого Дмитрия Шуйского. Он не выиграет в своей жизни ни одного сражения, а его самым оглушительным поражением станет Клушинская битва под Можайском в 1610 году, которая низвергнет с престола его брата Василия. Всем было известно также, что царский брат отличался непомерной спесивостью, мнил себя великим полководцем и не желал прислушиваться к советам других военачальников.

Вполне возможно, что причиной поражения царского войска в бою под селом Троицким стало и численное превосходство мятежников. Правда, воинская наука никогда не ставила в заслугу полководцу победу числом; здесь, что называется, и дурак доспеет, иное дело выиграть сражение в меньшинстве, умением. Но, похоже, в этом воеводы царя пока не преуспели.

Что касается численности войск, то очевидцы событий называют самые разные данные. Цифры эти сильно разнятся, а порой предстают и вовсе фантастическими. Так, по словам Буссова, восставшие собрали перед походом на Москву 100 тысяч человек, столько же противопоставил им Василий Шуйский. Автор одного из «Сказаний» определил численность мятежного войска в 187 тысяч человек. Всех превзошел купец Исаак Масса, насчитав в царском войске 200 тысяч воинов. Конечно, названные цифры для того времени нереальны.

Борис Годунов, набирая войско против Лжедмитрия в 1604 году, жестоко наказывал не явившихся на службу «нетчиков», но при этом смог собрать лишь 25 тысяч бояр, дворян, детей боярских и стрельцов. В списке

набранного по приказу царя в 1606 году войска против фамилий бояр, стольников, окольных и дворян, не явившихся на службу, все чаще записано не «в полону» или «убит», как раньше, а «в измене» или «убит в измене». Не явился на службу и двоюродный дядя Скопина-Шуйского Иван Андреевич Татев: «Князь Иван сказ[ался] болен»^[207]. Второй его дядя — Семен Андреевич — был определен на службу в Москве, в дальнейшем он принял участие во всех битвах с Болотниковым и был убит в сентябре 1607 года. Так что вряд ли войско 1606 года превосходило по численности войско 1604 года. Наиболее вероятные цифры сообщаются в Разрядных книгах: там численность отрядов обычно составляет пять-шесть тысяч, а максимальный размер армии Болотникова под Москвой насчитывает примерно 30 тысяч^[208].

Что именно стало причиной неудачи царского войска под селом Троицким, неизвестно. Но это было первое серьезное поражение Скопина-Шуйского. Многие известные полководцы начинали с ошибок и неудач, редко кому удавалось их избежать в своей ратной биографии. Главное — уметь извлечь из поражения необходимые, пусть и горькие, уроки: на ошибках, как известно, умные люди учатся. Осваивал военную науку и девятнадцатилетний стольник Михаил Скопин, извлекая уроки из несогласия царских воевод, их тщеславных и неуместных споров на поле сражения.

«Шпыни» под Москвой

Грамоты патриарха против «прелестных» писем атамана

В самой столице поражение переживалось очень тяжело, «на всех бысть людех страх велик и трепет». Принимались срочные меры для укрепления города: на стены выставили пушки, а за городом устроили укрепленный обоз. В городе переписали всех, кто был старше шестнадцати лет, и приготовились их вооружить и отправить против неприятеля. В конце XVI века Москва насчитывала около ста тысяч жителей. Голодные годы начала XVII века, войны Смуты сократили численность населения, но Москва все равно оставалась самым многолюдным городом России. И все же было решено послать в другие города за военной помощью; сами же москвичи еще раз присягнули царю в том, что «будут стоять за него и сражаться за своих жен и детей, ибо хорошо знали, что мятежники поклялись истребить в Москве все живое» ^[209].

Не одними угрозами действовал Болотников, но и уговорами. В своих грамотах, присылаемых в Москву, он призывал жителей столицы перейти на сторону «законного царя Димитрия». И те, кто, по словам летописца, «ослепоша очима и обнищаша разумы», заколебались: а вдруг с мятежниками и впрямь спасшийся Дмитрий? Жители Москвы, еще так недавно рассматривавшие труп самозванца на площади у Кремля, и верили, и не верили Болотникову. В конце концов, решили убедиться в «спасении» царя и пожелали увидеть его сами.

В лагерь восставших была послана делегация, но Болотникову, как оказалось, предъявить было некого — самозванец так и не рискнул выехать из Польши в Россию. Болотников попытался убедить москвичей, что «Димитрий действительно живет в Польше и скоро будет здесь», но события последних лет показывали, что порой не следует верить и собственным глазам, а уж тем более чужим словам. Если находящийся в Польше человек утверждает, что он «Димитрий», заявила делегация, то «это, несомненно, другой, мы того Димитрия убили». Завершив свою миссию, москвичи стали уговаривать Болотникова, чтобы он «перестал проливать невинную кровь и сдался царю Шуйскому» ^[210].

К тому времени к столице прекратился подвоз продовольствия из городов, перешедших на сторону мятежников, начали расти цены,

усилилось недовольство царем Василием Шуйским. О настроении оказавшихся в осаде жителей столицы сообщается в донесении английского агента: «Простой народ... был очень непостоянен и готов к мятежу при всяком слухе...»^[211]

Рассказывает о настроениях той тревожной осени 1606 года еще один любопытный памятник — «Повесть о видении некоему мужу духовному», написанная в самый разгар борьбы 1606 года. Ее автор — опальный протопоп Благовещенского собора Кремля Терентий, высланный Лжедмитрием из Москвы. Возвратившись в Москву после убийства самозванца, протопоп записал рассказ «некоего мужа», которому было видение. В одну из ночей, как поведал тот Терентию, явились ему во сне Господь, Пресвятая Богородица и Иоанн Креститель. Богородица молила Сына о прощении людей, которые наказаны бедствием Смуты. Но Господь отказывался прощать озлобившихся и лукавых нравом, которые по всей стране творят неправый суд, грабят чужие имения и не чтят его Святого имени. «Не сказал ли вам, что нет правды в царе, и в патриархе, и во всем священном чине, и во всем народе... Много раз хотел помиловать их, о Мать моя, ради твоих молитв, но они раздражают всещедрую утробу мою своими окаянными и позорными делами... И я предам их кровопийцам и безжалостным разбойникам, да накажутся малодушные и придут в чувство — и тогда пощажу их». Только раскаяние, по словам Спасителя, может избавить народ от ожидающих его ужасов^[212].

Русский человек, как известно, перекрестится только тогда, когда гром грянет, да и не по одному разу, и уже наверняка поверит, если во время громыхания его еще и по голове стукнет. Видимо, такой момент наступил. Гром гремел вовсю: одного самозванца убили, появился новый, Смута не прекращалась, а только ширилась. Не один «муж духовный» задумывался о ее причинах; все пытались понять, отчего это происходит.

Рассылка грамот по городам, чтение их в церквах были в то время практически единственным, не считая, конечно, слухов, источником информации. Слушание грамот в ту эпоху можно сравнить по степени воздействия с радио-и телетрансляцией в наши дни. Сомневающимся, колеблющимся, не знающим, где правда, а где ложь, людям грамоты помогали ориентироваться в происходящих событиях. Прислушивались не только к тексту грамоты; смотрели и на то, кем она посылалась. Поэтому, когда Терентий передал свою повесть царю и патриарху, по их приказу ее читали в Успенском соборе Кремля для вразумления народа.

Слушал ее и Скопин. На праздник Архангела Михаила в те осенние

дни ему исполнилось 20 лет. Он еще не остыл от пережитого на Коломенской дороге; поражение от сотника Истомки Пашкова заставляло задуматься о происходящем и прежде всего о том, как оборонить Москву. Он вновь и вновь вспоминал подробности проигранной битвы: и с той, и с другой стороны были казаки, дворяне и дети боярские. Царское войско, казалось ему, действовало более организовано и слаженно, стрельцы и казаки каждой сотни, как правило, набирались из одного и того же города или уезда, хорошо знали друг друга, дворяне имели немалый боевой опыт. Привязанные к седлам командиров — голов и сотников — медные барабаны не умолкали, в них ударяли, вновь и вновь подавая сигналы к атаке. В шуме боя, где сражаются тысячи людей, иначе и не услышишь команду. Но с какой решимостью дрались мятежники! Если их не остановить, они непременно возьмут Москву штурмом, и тогда... даже страшно подумать, что будет с городом и его жителями.

Вслушиваясь в слова грамоты о том, что «теперь нужно стоять всем заодно и быть в этом стоянии против воров крепкими», Михаил убеждался в правоте патриарха, призывавшего: «А тех, кто прежде изменил государю, он прощает и ждет к себе»^[213]. Может быть, эта мера возымеет действие, и «воры» одумаются. Но, судя по дальнейшим событиям, до полного вразумления и народу, и властям было еще очень далеко.

Подойдя к Москве, отряды Болотникова и Пашкова встали в Коломенском и Заборье. Здесь они начали готовиться к осаде Москвы, и отсюда Болотников вел свою агитацию, посылая москвичам грамоты. Об их содержании кратко сообщает английский агент: осаждавшие «писали письма к рабам в город, чтобы они взяли за оружие против своих господ и завладели их именьями и добром». Более подробно рассказывает о призывах холопского атамана патриарх Гермоген: «А стоят те воры под Москвою, в Коломенском, и пишут к Москве проклятые свои листы и велят боярским холопом побивати своих бояр и жены их и вотчины и поместья им сулят, и шпыням (дерзким людям. — *Н. П.*) и безымяником воров велят гостей и всех торговых людей побивати и животы их грабити, и призывают их воров к себе и хотят им давати боярство, и воеводство, и окольниковство, и дьячество...»^[214] Не ограничиваясь популярным во все времена призывом «все отобрать и поделить», Болотников перечислил в очередном послании имена «изменников», которые убили царя Дмитрия, и потребовал их выдачи. Грамоты мятежников сеяли разногласия не только среди москвичей, в стране фактически началась гражданская война.

И в этот момент патриарх Гермоген предпринял шаги, которые он

считал необходимыми: только объединение всего народа может спасти страну, а сплотить народ возможно лишь вокруг престола Небесного и земного. Для патриарха царь — помазанник Божий, и обязанность предстоятеля церкви — поддержать его, призвать народ к повиновению, особенно в наступившие трудные времена. Конечно, Гермоген знал и слабости, и недостатки царя Василия как правителя, вряд ли он вообще испытывал симпатии к семейству Шуйских. Но действиями святителя руководила вовсе не приязнь или неприязнь к лицам во власти, а стояние за законность власти вообще, которая всегда лучше безвластия.

Патриарху в то время было уже под восемьдесят. Он хорошо помнил нравы донских казаков, с которыми в молодые годы нанимался на службу и ходил походами. Казаков было немало в войске Болотникова, обещавшего им богатую и легкую добычу, когда они возьмут Москву. Знал Гермоген и колебания посадских людей, ждущих, что новый царь, может быть, уменьшит старые налоги; известны ему были и случаи малодушия среди служилых людей, готовых при первой же неудаче перебежать на сторону противника, — вот поэтому патриарх начал действовать.

Что известно нам о самом святителе, сыгравшем столь важную, а по мнению современников Смуты главную, роль в исходе битвы с мятежниками?

Родился Гермоген предположительно в 1530 году, в миру носил имя Ермолай, по некоторым сведениям был донским казаком ^[215]. В молодости в 1552 году принял участие в штурме Казани, здесь же он и остался жить. Позже стал священником, овдовев, принял постриг, служил архимандритом Спасо-Преображенского монастыря в Казани, а в 1589 году был возведен в архиерейский сан и стал первым митрополитом Казанским.

Нраву он, по свидетельству людей его знавших, был крутого; говорили о его резкости и несговорчивости, особенно если дело касалось вопросов чистоты веры. Ко всем нуждающимся он неизменно проявлял милосердие, но к отступникам был беспощаден. После покорения Казани и учреждения там епархии началось распространение православия среди инородцев — татар, чувашей, мари; кто-то из них принимал новую веру искренне, всем сердцем, а кто-то лишь внешне старался соблюдать православные обычаи, да и то не всегда, а в душе продолжал оставаться язычником или мусульманином. Участившиеся в Казани пожары мусульмане объясняли присутствием в городе русских, винили и новокрещеных, оставивших веру предков. «Вера Христова стала притчею и поруганием», — написал летописец о происходившем тогда в казанском крае.

И вот в те трудные для церкви времена в Казани случилось значимое для многих событие. Наблюдательный и дающий себе труд задуматься человек не сомневается, что все в жизни происходит не случайно. То, что именно при Гермогене обрели в Казани икону Казанской Божией Матери, с которой в 1612 году вступило в Москву ополчение и изгнало оттуда завоевателей и изменников, — конечно же не простое совпадение.

В 1579 году Гермоген первым удостоился принять икону из земли и перенести ее в сопровождении всего духовенства и народа в ближайшую церковь Святого Николая Тульского. В 1594 году, будучи уже митрополитом, он составил Сказание о явлении этой иконы как очевидец событий.

Девятилетняя девочка Матрона поведала своей матери, что во сне ей явилась Богородица и повелела раскопать на месте сгоревшего дома икону с Ее обликом. Но девочке никто не поверил: сначала усомнилась ее родная мать, потом священник и, наконец, архиепископ, который, выслушав рассказ Матроны, «отосла ю безделну». И только находка самой иконы на месте сгоревшего дома заставила сомневающихся поверить в чудо. Поднятая из земли, она будто только что была написана, ни пожар, ни пребывание под слоем земли не повредили красок. Весть о найденной иконе мгновенно облетела город, казанцы устремились посмотреть на это чудо, да так рьяно, что, по словам Гермогена, «друг друга попирающее, инии же по главам инех ходящее, к чудотворному образу телесни прикасахуся»^[216].

Не раз потом святитель Гермоген станет памятью возвращаться к казанским событиям двадцатилетней давности, наблюдая, как убежденность и стояние в истине одних будут спасать от сомнения, неправды и «суемудрия» всех остальных. И сам он станет «адамантом твердым», как скажет о нем современник, на который смогут опереться многие растерявшиеся и усомнившиеся в способности страны избавиться от «безначалия греховного».

Когда в Москве объявился Лжедмитрий I и началось волнение, патриарх Иов пытался увещевать народ, напоминал о присяге сыну Годунова, царевичу Федору, и «хотел оной мятеж утолити». Но распаленные послами самозванца горожане и слушать не захотели патриарха. Его свели с престола и на Лобном месте «бесчестиша и биша его». И, наверное, убили бы, «опалися от беснования», если бы кто-то не направил смутьянов на двор патриарха, который они вместе с домом тут же и разграбили. Несмотря на бесчестье и угрозу для жизни, Иов, который в те

годы был уже стар и плохо видел, проявил стойкость и наотрез отказался отречься от Годунова и признать самозванца царем. По распоряжению Лжедмитрия I его сослали в Старицу, а на его место поставили более сговорчивого грека Игнатия.

Боярская дума, а вслед за ней и весь священнический чин — епископы, архиепископы и митрополиты — признали самозванца законным царем. Вот поэтому в «Повести о видении» перечисляются вины всех, включая и священничество. Митрополит Казанский Гермоген первоначально был включен в Сенат нового царя, но пробыл он там недолго, потому что вместе с архиепископом Коломенским Иосифом без устали воевал с «Димитрием» за чистоту веры и противился его браку с Мариной. После многократных выступлений Гермогена против «люторанки Маринки» самозванец выслал непримиримого митрополита из Москвы. Когда же воцарился Василий Шуйский, Гермоген по предложению царя был посвящен 3 июля 1606 года в сан патриарха в Успенском соборе.

И вот снова Смута и разброд, снова вести о самозванце. Но Гермоген хорошо помнил времена, когда русское войско штурмом брало Казань, покоряло Астрахань, стойко выдержало осаду Пскова, когда государство благодаря мужеству казаков Ермака начало прирастать Сибирью. Неужели навсегда прошли те славные дни и обмельчал, изворовался народ? Патриарх повелел во всех церквях служить молебны о здравии и спасении Богом венчанного государя и о покорении ему всех врагов, в Москве установили шестидневный пост, совершали крестные ходы. Сам патриарх написал в ноябре грамоты и разослал по всем городам, с тем чтобы духовенство читало их народу по нескольку раз, молилось «соборне и по кельям» об объединении всех православных христиан и о том, чтобы Господь Бог «междуусобную брань разрушил».

В грамотах патриарх свидетельствовал, что вор и еретик Лжедмитрий погиб, а мощи истинного царевича Дмитрия перенесены из Углича в Москву. Он призывал духовенство молиться об избавлении от изменников, которые, «акие змиева из своих гнезд выползая, сипением своим, или яко волцы воя, хотя устрашити». Особенно в тех грамотах доставалось ворам из «прежепогибшей и оскверненной северной украины», как зачинательницы мятежа. Ее жители уже во второй раз, по словам патриарха, «целовали крест неведома кому» и призывали других «сами себя воевати».

К счастью, не все пошли за ними, как заметил в своих грамотах святитель. Архиепископ Тверской и Кашинский Феокист призывал жителей Твери не верить изменникам и не нарушать крестное целование царю.

Духовенство, приказные люди и посадские — все далеко не ратники — объединились и отогнали от города мятежников и даже взяли многих в плен. На поддержку законного царя патриарх в своих грамотах обращал особое внимание, примеры сопротивления самозванцу должны были убедить колеблющихся. Им патриарх напомнил, что предательство еще никого не спасло ни от разорения, ни от позора: «И которые города, забыв Бога и крестное целование, убоявся их гребжев и насилия всякого, и осквернения жен и дев, целовали крест, и те города того ж часу пограблены, и жены и девы осквернены, и всякое зло над ними содеялось; а которых городов люди их воров и хищников не уstraшилися, и те, милостию Божию, от тех воров целы сохранены» ^[217].

В то время никого не удивляло столь деятельное и живое участие патриарха в политических делах страны, поскольку церковь и общество жили одной общей жизнью. Став предстоятелем церкви, Гермоген оставался сыном своего народа, и любовь к Родине была для него не делом политики, но делом совести.

Пришло время, и призывы патриарха были услышаны. Из Смоленска и Вязьмы, из Дорогобужа и Серпейска собрались в Можайске войска на помощь Москве. 15 ноября отряд под командованием Ивана Федоровича Крюка-Колычева очистил от мятежников город Волок, Иосифо-Волоцкий монастырь и «прочие грады и селы». Из Холмогор и с Двины подошли к Красному селу под Москвой стрельцы и даточные люди, снаряженные монастырями и церквями, имевшими земли.

Москвичи приободрились и дружно заговорили о воинах, пришедших на помощь, как о былинных ратниках: «Зело смелы к ратному делу, един человек воует и бьет за два, а ин за три человека; аще толко их пришло пять тысяч, то могут воевать за пятнадцать тысяч и более». Общее число пришедших Москве на подмогу составило всего 400 человек: 200 стрельцов и 200 даточных людей, но сметливый Шуйский приказал объявить, что на подмогу пришло четыре тысячи! Услышав такую весть, в Москве была «радость велия», а в изменивших царю городах «люди в размышлении велицем быша». 29 ноября все войска, объединившись, пришли в Москву, как писал Гермоген, «с веселыми сердцы».

В те же дни заколебались ряды восставших. Когда-то перешедшие на сторону Болотникова рязанские дворяне Григорий Сунбулов и Прокопий Ляпунов теперь приехали с повинной из Коломны в Москву, «а с ними многие дворяне и дети боярские, да стрельцы московские». Вскоре на сторону Шуйского перейдет и «подельник» Болотникова Истома Пашков,

приведший с собой сначала небольшой отряд в 500 человек, а потом и все свое войско. Все это ослабит уверенность восставших в своей победе и в конечном счете приведет к разгрому их основных сил.

Грамоты патриарха Гермогена, или, как он подписывался, Ермогена, и грамоты Болотникова, о содержании которых, по иронии судьбы, мы можем узнать лишь из текста патриарших грамот, отражали не просто противостояние предстоятеля Русской православной церкви и вождя восставших, беглого холопа Болотникова. Они отразили противостояние порядка и смуты, веры и сомнения, истины и лжи. Для нестойкой, немудрой, но все же законной власти царя Шуйского поддержка патриарха была в глазах народа самой надежной опорой в борьбе с безначалием.

Пройдет 300 лет, и новая Смута начнет терзать Россию. Патриарх Тихон, избранный в 1917 году на вновь восстановленный патриарший престол, обратится, как и святитель Гермоген, с посланиями к народу. И будет призывать вспомнить о заповедях Христовых и о человеческом в себе: «Забыты и попораны заповеди Христовы о любви к ближним: ежедневно доходят до нас известия об ужасных зверских избиениях ни в чем не повинных и даже на одре болезни лежащих людей, виновных только разве в том, что честно выполнили свой долг перед Родиной, что все силы свои полагали на служение благу народному... Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы» ^[218].

Руками народа власть решала свои эгоистические задачи, и поэтому именно к народу в первую очередь обращались и патриарх Гермоген, и патриарх Тихон. Тех же, кто не желал прекратить кровавый кошмар и одуматься, и в 1606-м, и в 1917 году предавали анафеме.

Воевода на «вылазке»

Под Москвой готовились к решающему сражению. К началу XVII века столица имела мощные оборонительные укрепления: вокруг Кремля был выкопан и залит водой глубокий ров; Китай-город, прикрывавший подступы к Кремлю с северо-восточной стороны, был обнесен кирпичной стеной высотой в три сажени. Знаменитый русский мастер Федор Конь возвел каменные стены Белого, или Царева, города, где ныне проходит бульварное кольцо, снабдив их 28 башнями и пушечными бойницами. По линии современного Садового кольца скоро вслед за Белым городом выросла деревянная стена с 57 башнями и земляным валом, именуемая в народе Скородомом, или Земляным городом. Постройка Скородома замкнула вокруг Москвы четвертое кольцо оборонительных стен. В 1600 году возвели колокольню «Ивана Великого» высотой 82 метра, с нее, как со сторожевой башни, хорошо просматривались дальние рубежи. Подмосковные монастыри — Новодевичий с запада, Донской и Данилов с юга, Симонов, Спасо-Андроников и Новоспасский с востока — форпостами защищали подступы к столице.

Войско по традиции разделили на «осадное» и «вылазное». «Осадное» должно было оборонять укрепления Земляного города, составлявшие в длину около 16 километров. Располагалось оно в обозе, или «гуляй-городе», поставленном за Серпуховскими воротами. Обозом именовали в то время полевое укрепление из деревянных щитов, которые имели в высоту около полутора метров и в ширину примерно метра два, между собой они скреплялись железными цепями; при необходимости «гуляй-город» перемещался на колесах. Войско располагалось внутри этой передвижной деревянной крепости, а для контратак по команде осадных воевод открывалась часть стены. В таком обозе воины чувствовали себя в относительной безопасности и отражали нападения осаждающих при помощи огнестрельного оружия — пицалей. В обозе, засевшем в декабре 1606 года у Серпуховских ворот, находилась и артиллерия.

Вторая часть царского войска — подвижная — предназначалась для вылазок и состояла в основном из конницы. От «вылазных» требовались энергичность, предприимчивость и сметливость, поэтому, как правило, воеводами к ним назначали людей молодых. «Вылазные» действовали по ситуации, их бросали на те участки обороны, где враг предпринимал наиболее активные попытки прорваться в город. Именно такое назначение

получил Скопин-Шуйский: «А на выласке государь велел быть боярину Михаилу Васильевичу Голицыну да князь Борису Петровичу Татеву; а з бояры со князь Михайлом Васильевичем Скопиным с товарищи были столники, стряпчие, дворяне Московские и жилцы» ^[219].

Стольнику Скопину пришлось оборонять один из самых ответственных участков — Рогожскую гонную слободу за Яузой; от нее начинался тракт на восток — на Казань и Нижний Новгород. На другом берегу Яузы располагалось богатое Красное село, которое имело стратегическое положение для Москвы. Из Красного можно было легко попасть к трем воротам на Земляном валу на северо-востоке Москвы — Сретенским, Покровским и Петровским, от них улицы вели прямо к Кремлю. Недалеко от Красного проходила дорога на Тверь и далее на Великий Новгород, на Ярославский тракт и «великую» дорогу к Владимиру; другая дорога, Стромынка, выводила на северо-восток, к Суздалью и Юрьеву-Польскому. Если бы болотниковцы заняли заставу, а за ней и Красное село, то они оседлали бы дороги, по которым к Москве подходило подкрепление.

В Заяузье располагались ремесленные слободы гончаров, кожевенников, кузнецов, оружейников; по сведениям шведа П. Петрея, в те годы в них проживало до семисот человек. На чьей стороне окажутся посадские при подходе мятежников, было неясно.

Река Яуза, которая в ту пору была пошире и почище, чем сейчас, надежно защищала город с востока. Скопин расположил свое войско не переходя Яузы, у стен Скородома, заняв оборону у Яузских ворот. Если даже повстанцы займут Рогожскую слободу, решил он, то Яуза поможет защитить Красное. «Московиты, — пишет очевидец, — выставили у речки Яузы, через которую они (болотниковцы. — *Н. П.*) должны были перейти, сильное войско под начальством молодого боярина Скопина, чтобы воспрепятствовать переправе» ^[220].

Бои на берегах Яузы развернулись ожесточенные, «ежедневные». Как и предполагал Скопин, остановить мятежников у Рогожской слободы не удалось; прорвавшись, они попытались занять Красное село. Командовал ими все тот же Истома Пашков, с ним Михайло Скопин уже встречался под Троицким. Но на сей раз других воевод не было, Скопин командовал один, действовал на свой страх и риск. Впрочем, страх он в том бою испытывал не перед противником. Больше страшился за судьбу своих близких, тех, кто остался в Китай-городе, — матери, со слезами благословившей его в бой, и приглянувшейся ему Александры — дочери казначея Василия Головина. С

молодой горячностью, пришпоривая коня, бросался он туда, где образовывались дыры в обороне. «Не давать, не давать им подходить к Скородома!» — слышался его зычный голос в шуме боя. Скопин боялся, что «воры» подожгут деревянные стены Скородома. Но его ратников подстегивать было не нужно, — у многих за спиной остались дома и семьи, поэтому войско Скопина стояло насмерть. Несмотря на все попытки повстанцев занять Красное село и перерезать дороги к Москве, «вылазной» воевода сделать им этого не позволил. Истоме Пашкову пришлось отступить.

Едва отразили натиск в Красном, как стало известно о попытках мятежников прорвать оборону у Данилова монастыря. Обойдя обоз, они попытались поджечь деревянные стены Скородома. В 1611 году это удастся сделать полякам, о чем один из них хвастливо напишет в своем дневнике: «Вся ограда была из теса, башни и ворота весьма красивые, как видно, стоили трудов и времени. И все мы в три дня обратили в пепел. Пожар истребил всю красоту Москвы»^[221]. Однако в 1606 году наступающим на Скородом мятежникам противостоял воевода Скопин, который и отбросил их от города. Не удалось болотниковцам захватить и Симонов монастырь. Знаменитая башня «Дуло» служила в те дни сторожевой, никому не позволяя подойти к Симонову незамеченным. Едва увидев приближение мятежников, стрельцы в монастыре, трудники и даже монахи взяли за оружие. На помощь инокам Симонова из осадного войска прислали отряд стрельцов с самопалами. Нападавшие, как пишет автор «Иного сказания», «сами разбиении быша, якож волны морския о камень приразишась».

О том, как сражался у стен Москвы Михаил Скопин, поведал автор «Повести о победах Московского государства» — удивительного для той поры поражений и потерь уже одним своим названием произведения. Детальное описание событий выдает в авторе смолянина и к тому же человека, который находился непосредственно рядом с воеводой. Он оставил о Скопине самый восторженный отзыв: «Той бо государев воевода князь Михаил Васильевич благочестив, и многомыслен, и доброумен, и разсуден, и многою мудростию от Бога одарен к ратному делу, стройством и храбростию и красотою, приветом и милостию ко всем сияя, яко милосердный отец и чадолюбивый»^[222]. Несмотря на идеализированную во многом характеристику, в ней названы черты, которые отличают Скопина от других воевод: рассудительность, столь не свойственная двадцатилетнему юноше, несомненный талант полководца, доброта и радушие. Иностранцы, которым предстоит через два года воевать под

началом Скопина, оценят его достоинства еще выше и назовут «русским Александром Македонским».

Столь высокая оценка автором «Повести» талантов Скопина важна еще и потому, что смоляне знали толк в ратном деле. Смоленск был форпостом у западных границ Русского государства, его жители не раз почувствовали на себе, что значит быть ближайшим соседом Польши и Литвы. Правители нового государства — Речи Посполитой, объединившей Польшу и Литву, — мечтали о восстановлении Великого княжества Литовского в прежних границах. Они не смирились с потерей Смоленска и Северной земли и не оставили надежды вернуть их в смутное для России время. Любопытно замечание поляка С. Немоевского о богатстве Смоленской земли и о том, можно ли надеяться на присоединение ее к Польше: «Пусть никто не надеется, что область эта когда-либо может быть возвращена нам путем договоров, если отсюда и лучшие припасы, и первые люди на войну. Но войною — весьма легко возвратить край»^[223]. Потому-то смоляне, едва узнав о появлении нового «Димитрия», которому помогает Польша, сразу пошли на выручку Москве.

По дорогам, которые болотниковцам не удалось «отнять», чтобы «около града обсесть», к Москве подтягивались подкрепления. По Ярославской дороге подходили стрельцы и даточные люди с Двины и из Холмогор, по Можайской шли смоленские полки, которыми командовал «старейшина» Григорий Михайлович Полтев. Смоляне перешли по мосту Москву-реку и стали лагерем в Новодевичьем монастыре, прикрывая город с юго-запада. Воевода Скопин-Шуйский вместе со своими людьми стоял в Даниловом, закрывая город с юга. Царь, ободренный приходом пополнения, наконец, решился дать генеральное сражение под Москвой.

Наступал решающий момент, от исхода этой битвы зависела судьба страны. После молебна, получив благословение патриарха Гермогена, войско через Калужские и Серпуховские ворота вышло из Москвы и двинулось по направлению к Коломенскому. «На завтрее же прихода смольян боярин князь Михайло Васильевич Шуйской (Скопин. — Н.П.) с товарищи поиде к Коломенскому на воров, — сообщает „Новый летописец“. — Смольяне ж приидоша же к нему ж в сход»^[224]. В передовом полку шли воеводы князь Иван Иванович Шуйский, князь Иван Васильевич Голицын и воевода Михаил Борисович Шеин. В другом полку — князя Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, Андрей Васильевич Голицын и Борис Петрович Татев.

2 декабря у деревни Котлы встретились царское войско и отряды

восставших. Болотников, удачливый в боях, был настолько уверен в исходе сражения, что вышел из хорошо укрепленного лагеря в Коломенском навстречу противнику. «Рослый и дюжий удалец, отважный и храбрый», каким описал его И. Масса, Болотников хорошо знал слабые стороны своих противников: несогласованность действий царских воевод, местнические споры между ними, часто не ко времени, нестойкость казаков и холопов, каковым был когда-то и он сам. Но за предыдущие месяц-два многое изменилось, не пропали даром усилия царя и молитвы патриарха Гермогена.

Царское войско храбро сражалось на поле боя, а вот измена на сей раз поджидала самого Болотникова. Накануне Истома Пашков со своим отрядом перешел на сторону Василия Шуйского, полностью расстроив планы Болотникова. По сведениям И. Массы, он «тайно заключил наперед с царем условие перейти к нему и все свое войско передать москвитам»^[225]. В английском донесении о восстании в России причиной измены Пашкова называются его разногласия с Болотниковым: «К этому времени разгорелись разногласия между двумя главными начальниками лагеря мятежников, одним из которых был старый разбойник с Волги по имени Болотников, а другого звали Пашков; разногласия эти так разрослись, что этот Пашков оставил свою партию и перешел и подчинился государю с 500 своих сторонников». От перешедшего к нему Пашкова царь «узнал о положении в лагере мятежников и что слух о том, что Димитрий жив, — был ложной выдумкой»^[226].

Вряд ли только разногласия стали причиной перехода Пашкова на сторону Василия Шуйского, скорее — наблюдение за происходящими событиями и размышления. Ни один человек с момента начала восстания не видел царя, за которого проливал кровь, да и вообще: был ли этот царь? Лишь Болотников утверждал, что он послан «Димитрием», но сам «Димитрий» так и не появился. И московские холопы не спешили переходить на сторону восставших, как те ожидали; и земли, и добро богатых москвичей, обещанные Болотниковым своему войску, тоже оказались недостижимыми. Призыв «грабить награбленное» все меньше находил отзвон среди людей служилых, имевших земли и семьи, а царское войско хоть и бежало временами от мятежников, однако стояло за законного царя и патриарха. Что будет с его детьми и женой, размышлял Истома Пашков, если он попадет в плен или погибнет? Поместье отберут, семья пойдет по миру. Немало таких голодных и оборванных сирот побиравлось по селам и деревням в то лихое время. А если повиниться и

перейти в стан царя? Ведь написал же патриарх Гермоген в своей грамоте, что царь простит каждого, кто перейдет на его сторону. Вон и Прокофий Ляпунов с Григорием Сунбуловым перешли на сторону царя Василия, теперь прощены и помилованы. Ежели царь простит его, Истому, то он искупит свою вину усердной службой, в бою себя не пожалеет, а погибнет — о семье его позаботится государь. Вот такие размышления, видно, и привели дворянина Истому Пашкова, человека служилого, в царское войско вместе с его отрядом.

Оставшиеся с Болотниковым бились с отчаянностью людей, знавших о своей неминуемой гибели в случае поражения: никто восставших не помиловал бы. Однако удача отвернулась от умелого в воинском искусстве Болотникова: в этом сражении верх одержали царские войска. «Беглые больше ослабляют неприятеля, чем убитые, — заметил Никколо Макиавелли, — хотя имя перебежчика подозрительно новым друзьям и ненавистно старым»^[227]. Замечание Макиавелли совершенно справедливо и для России XVII века: несмотря на переход Истомы Пашкова в стан царя, летописцы еще долго будут именовать его «вором». Сидевший вместе с другими в осаде Исаак Масса был убежден, что если бы не измена Истомы Пашкова на поле боя, то Болотников обязательно занял бы Москву, поскольку «великое смущение и непостоянство» было в народе.

Сохранилось изображение битвы под Москвой, сделанное очевидцем; на рисунке хорошо виден обоз царского войска, из-за укрытий которого стреляют из самопалов. Большое место на рисунке занимает и «сшибка» конницы с обеих сторон. Где-то в гуще этой битвы находился и молодой стольник Скопин-Шуйский, командовавший полком вместе с Андреем Голицыным и Борисом Татевым. Их полк действовал успешно, под их командованием «воров многих побили, а которые стояли в Заборье, тех всех взяли»^[228]. Заборье было прекрасно укреплено шанцами и несколькими сотнями саней, которые казаки поставили «в два или три ряда одни на другие и плотно набили сеном и соломою, и несколько раз полили водою, так что все смерзлось, как камень»^[229]. И тем не менее воеводы заставили казаков сдаться.

Уцелевшие болотниковцы отступили к укрепленному лагерю в Коломенском. Пока укрывшиеся в лагере вели подсчет убитых, рвали рубахи на лоскуты и перевязывали раны, царские воеводы подтягивали под стены крепости артиллерию, намереваясь «выкурить» мятежников. Три дня били пушки по острогу, но «разбита же острога их не могоша, зане ж в земли учинен крепко», — как пишет автор «Иного сказания»^[230]. Чтобы

спасти от разрывов ядер деревянный острог, болотниковцы применили остроумный способ: огонь они тушили сырыми кожами «яловичими», сами же во время обстрела «укрывахуся под землю». Судя по развитию событий, применяли в Коломенском и другие хитрости. При такой умелой обороне осада грозила затянуться надолго, воеводам приходилось искать обходные пути. Обдумав ситуацию, Скопин приказал добыть «доброего языка». Приказ был выполнен, и на допросе пленный мятежник раскрыл все секреты обороны, «вся их коварства и защищения». Теперь уже взять Коломенское не составляло труда. К тому же царские воеводы применили ответную хитрость — ядра, облитые горячей смесью, которыми «острог их... зажгоша». Немногие оставшиеся в живых мятежники сумели прорвать блокаду и уйти вместе с Болотниковым из Коломенского.

Убитых оказалось много, а взятыми в плен в Москве были заняты все темницы и подвалы под приказами и большими палатами. Называют число пленных — от шести до десяти тысяч. Многим москвичам было поручено стеречь по двое-трое пленников. Сдавшихся в Заборье казаков пощадили, их переписали и отправили служить по разным городам, а всех остальных пленных, среди которых большинство также составляли казаки, — казнили. «Каждую ночь их водили сотнями, как агнцев на заклание, ставили в ряд и убивали дубиною по голове, словно быков, спускали под лед в реку Яuzu», — писал очевидец Исаак Масса. Взятых в плен атамана казаков Аничкина, который ездил всюду с письмами от Лжедмитрия — Молчанова и подбивал к восстанию, живым посадили на кол. Присланный к нему от царя дворянин Истома Безобразов долго допытывался у атамана, кто на самом деле скрывается за именем царя Дмитрия, но терпящий жестокие мучения неожиданно ответил, что глава мятежников — брат царя Дмитрий Шуйский. Пришлось Василию Шуйскому клясться перед москвичами, что его брат ни в чем не повинен и что атаман из мести оклеветал Дмитрия, чтобы возмутить народ к неповиновению Шуйским^[231]. Из этого небольшого, но значительного по сути эпизода хорошо видно отношение москвичей к царю и его родне: даже победив мятежников под Москвой, Василий Шуйский ощущал шаткость своего положения на престоле.

В так называемом «Карамзинском хронографе» Михаилу Скопину отведено первое место в разгроме мятежников в Коломенском. Подводя итог московским сражениям, автор пишет: «И милостию Божию и государя царя и великого князя Василия Ивановича всея Руси сщастием бояре князь Михаила Васильевич Скопин Шуйской и иные бояре и воеводы воровских людей разогнали и побили и из-под Москвы воры побежали»^[232].

Вместе с воеводой Скопиным-Шуйским и под его руководством сражались князья Иван Хованский и Дмитрий Мезецкий, Василий Бутурлин, князь Юрий Хворостинин, князь Федор Лыков, князья Яков и Михаил Борятинские, князь Дмитрий Пожарский, князь Федор Елецкой, Тимофей Грязнов, Василий Вишняков, Борис Глебов^[233]. Многие из них были старше и опытнее, чем Михаил Скопин. Но умение использовать чужой опыт, чтобы решить поставленную перед всем войском задачу, — безусловная заслуга самого командующего — молодого воеводы Скопина, в котором современники отмечали и личную храбрость, и решительность.

О том, насколько значительна была роль Скопина-Шуйского в «побитые воровских людей» под Москвой, свидетельствует тот факт, что сразу после боя ему было пожаловано боярство^[234]. Немногие из воевод получали боярство в столь молодом возрасте, особенно за военные заслуги. Не забыты царем были и другие воеводы: Григорий Полтев — предводитель смолян — был пожалован в думные дворяне, такая же награда ждала и вовремя ушедшего от Болотникова Прокопия Ляпунова. Истома Пашков получил полную амнистию у Василия Шуйского, после подавления восстания он был щедро награжден землями в Коломенском и Серпуховском уездах. С Истома начнется восхождение рода Пашковых: его дети будут в 1616 году пожалованы в жильцы с поместьем в 350 и 400 четвертей и денежным окладом, а сын Афанасий станет сибирским воеводой. Братья Федор и Семен Головины — будущие шурины Скопина — были пожалованы в окольные, такого же чина удостоился и Михайло Игнатьевич Татищев. Посадскому населению Коломны и Переяславля-Рязанского, не поддержавшему дерзких мятежников-«шпыней», пожаловали «золотые».

И все же неизвестный английский агент определил ситуацию после отступления Болотникова от Москвы совсем не как триумф царя-победителя. Болотникова все еще поддерживала «плодороднейшая часть страны, лежащая между реками — Доном и Днепром», а потому, заключил он свое донесение, «исход борьбы не определен»^[235].

«Исход борьбы не определен»

В декабре 1606 года царь отправил против бежавших в Калугу мятежников большое войско под командованием своего брата Ивана Шуйского. Шли «на три полки»: большим, передовым и сторожевым. Еще в середине XVI столетия сложилась организация русского войска, которая сохранялась в неизменном виде вплоть до реформ Петра I. В походе войско состояло из шести крупных соединений, называемых полками, — большого, правой руки, передового, левой руки, сторожевого и ертаульного — авангардного. Если в поход отправлялся сам царь, то выделялся особый Царев, или Большой государев, полк. Отдельным подразделением была походная артиллерия — «наряд». В каждый из полков входили конные и пешие стрельцы, казаки, ратники из нерусских народов, то есть полки были, говоря современным языком, «дивизиями смешанного состава».

Полк насчитывал обычно три-четыре тысячи человек. Возглавляли его несколько воевод, каждый из которых командовал определенной частью полка. Воеводам подчинялись «головы», численность их отрядов составляла до двухсот человек. Более мелкими подразделениями командовали сотники и пятидесятники.

Движение войска в походе проходило в строгом порядке. Обычно первым шел ертаул с посошными людьми, которые наводили мосты и расчищали дороги. За ними следовали передовой полк, полк правой руки, большой полк, государев полк, «наряд», сторожевой полк и полк левой руки. В конце XVI века чаще стали посылать в поход «на три полки»^[236].

В Калугу по едва установившемуся зимнему пути ехал и молодой боярин Скопин-Шуйский. Он вместе с Федором Мстиславским и Борисом Татевым был назначен командовать «прибылым полком», который расположится под Калугой «у Еоргия на Пескех»^[237]. Задачей полка было не дать Болотникову уйти в случае его прорыва из крепости.

Скопин ехал верхом по торной дороге, погода уже установилась по-зимнему ясная и морозная, настроение было бодрим: князь вспоминал празднование по случаю победы над мятежниками и получение боярского чина. Он с улыбкой оглядывался по сторонам, а заснеженный лес, по которому проходила дорога, рождал в воображении воеводы фантастические картины, — ему то мерещилась в опушенном снегом кусте фигура боярыни в душегрее и фате, то в поваленном дереве — подстерегающий проезжающих тать. Брови и ресницы Михаила покрылись

инеем, даже зрачкам было больно на морозе, а в первой сотне, будто и не замечая вовсе холода, запели старую походную песню:

Не давай ты, Боже,
зимовые службы:
зимовал служба —
молодцам кручинно
да сердцу надсадно, —

выводил сильный, высокий голос первого запевалы ^[238].

Бережечик зыблетца,
да песочик сыплетца,
а ледочик ломитца,
добры кони тонут,
молодцы томятца, —

вторил ему густой и низкий голос второго.
Что и говорить, зима — не лето, в поход идти — не на печи лежать.

Ино, Боже, Боже!
сотворил ты, Боже,
да и небо-землю, —
сотвори же, Боже,
весновую службу!

пели, покачиваясь в седлах, служилые люди, едучи по царскому повелению в Калугу.

Нельзя сказать, чтобы в зимнее время русскому войску не приходилось воевать, — приходилось, и довольно часто. Об этом говорит широкое применение в военном деле таких средств передвижения, как лыжи и сани: где кони проваливались в глубоком снегу, люди надевали лыжи и неслись, как заметил один из иностранцев, «с великою быстротою». На санях перевозили обычно разборный «гуляй-город», воинские припасы и оружие, в Сибири казаки зимою двигались на нартах.

Бежавших с Болотниковым было немало, по некоторым сведениям,

около десяти тысяч «всяких людей огненного бою», то есть вооруженных огнестрельным оружием. Другая часть мятежников укрылась в Веневе и Туле. Болотников не случайно решил отступить в Калугу. Город был многолюдный, богатый, с большими запасами провианта, «в нем всегда шла большая торговля солью с землей Северной, Комарицкой волостью и другими соседними местами, откуда привозили мед, воск, лен, кожи и другие подобные товары, так что она хорошо была снабжена»^[239].

В Калуге был деревянный острог, однако его стены вряд ли могли защитить от огня артиллерии, которой было так сильно царское войско. Поэтому Болотников приказал строить в городе дополнительные укрепления. О событиях в Калуге рассказывает очевидец — немец Конрад Буссов, имевший в тех краях поместье: «Болотников приказал вокруг города и острога, вдоль тына или частокола, который уже стоял там, вырыть с обеих сторон снаружи и изнутри большие рвы, а землю с обеих сторон перекидать на частокол, чтобы можно было использовать его как бруствер»^[240]. Эти умелые действия опытного атамана вскоре принесут свои плоды.

Сражения под стенами Калуги шли очень упорные. Войско царя применяло «наряд большой и огненную артиллерию». Пушки беспрестанно стреляли по городу и крепости, однако земляным шанцам, укрепившим городской частокол, вреда почти не наносили. Более того, осажденные постоянно делали из города вылазки и «царя Васильевых ратных людей на выlosках побивали и ранили», порой по 40–50 человек за день. Прошел уже месяц, а конца осаде видно не было. Одних только сальных свечей воеводы нажгли 500 штук, да восковых на 20 алтын, три стопы бумаги «аглинские», чтоб писать царю грамоты с вестями, а уж чернил и вовсе извели ведро^[241].

Однако царским ратникам сидеть всю зиму под стенами города не хотелось. Воевода Федор Мстиславский вспоминал рассказы своего отца, боярина Ивана Мстиславского, о том, как во время взятия Казани в 1552 году соорудили в русском войске башню на колесах высотой в шесть сажень — почти 15 метров. На башне установили артиллерию, посадили искусных стрелков и с высоты башни расстреливали казанские укрепления «аки с небес». А воевода Иван Мстиславский силами конницы поддерживал тех, кто устанавливал как можно ближе к крепостному валу туры — плетеные короба с землей, за которыми прятались стрелки и наряд. Такой вот «летучей сапой» удалось приблизиться к крепостным стенам. Перед самым штурмом, на рассвете, вырыли подкоп под стену крепости,

заложили в него бочки с порохом и взорвали. В образовавшийся в стене пролом ворвались штурмующие отряды Михаила Воротынского и Алексея Басманова, а вслед за ними остальные войска и взяли крепость.

Наслушавшись рассказов о подвигах отцов, молодой, нетерпеливый в осаде Михайло Скопин предложил пойти на «приступные хитрости». Длинный тоннель, как под Казанью, зимой, конечно, было не вырыть, — да и искусного «розмысла» (инженера) в войске нет, башню строить долго. Вместо нее решили устроить «подмёт», какие успешно применяли еще в римской армии. Даточным людям из войска и крестьянам окрестных деревень велели валить деревья, распиливать их и свозить к крепости. Когда дров было свезено достаточно, из них построили «гору деревянную», которую «поведоша к острогу и хотяху зажечь» под его стенами^[242]. Чтобы придвигать гору, действовали всё той же «летучей сапой» — устанавливали туры, прятались за ними и постепенно двигали дрова к крепости. Опыт подобных операций в русском войске был немалый, дрова вместе с хворостом у городских стен поджигали, чтобы облегчить приступ: «да как стены собьются и падут и дрова запалятся и сгорят, потом приступати елико возможно»^[243].

Все шло, как и задумывали. К концу того же дня, в синеве рано сгущающихся зимних сумерек, гора, наконец, была придвинута к стенам деревянного острога, оставалось теперь дожидаться ветра, который подует в сторону города, чтобы поджечь ее. Однако и Болотников не дремал; он внимательно наблюдал, как царевы ратники готовят «хитроумный подмёт». «Изобретательность, конечно, почетна во всех делах, — заметил философ, — но в военном она приносит великую славу»^[244]. И Болотников придумал достойный ответ. Осажденные рассчитали место и подрыли подкоп под стеной, куда царские воеводы придвинули деревянную гору. В подкоп подложили порох и ночью взорвали.

Страшный взрыв потряс расположенный на горе царский обоз, а взметнувшийся в небо столб огня ярко, как днем, высветил все происшедшее под стенами острога. Горели и дрова, и туры, и приготовленные для штурма щиты и лестницы, погребая под собой стороживших их воинов. Ускорить штурм осадной хитростью не удалось. Царское войско снова понесло потери, ну а городу «ничево не зделаша».

Скопин-Шуйский был огорчен провалившейся затеей с подмётом. Он чувствовал себя виноватым и понимал, что за его нетерпеливость заплатили своими жизнями погибшие во время взрыва люди. Удавшийся при штурме Казани подкоп готовили в течение долгого времени, скрытно

от осажденных, день и ночь «крепкую людную сторожу» держали. Здесь же, в Калуге, гору готовили на глазах у всех, кто был в остроге, и, не довершив начатого, отложили поджог на следующий день, к тому же никто гору, как заметил летописец, не охранял. А Болотников ловко воспользовался их промахом. Воинское же предприятие, как увидел Скопин, должно быть тщательно рассчитано и подготовлено: осторожность и предусмотрительность полководца берегут на войне людские жизни.

Заканчивалась зима, начиналась «весновая служба» с размытыми дорогами, грязью, пропитавшимися влагой одеждой и обувью, отсыревшими сухарями. Скопин вместе с войском просидел в осаде всю зиму, но от безделья не скучал: его участие в боевых действиях зимы 1606/07 года было самое активное. Правда, холодно относящийся к Шуйскому и его войску Исаак Масса говорил о том, что воеводы Мстиславский и Скопин «ни в чем не успели больше других». Но автор «Иного сказания» называет Скопина главным победителем отряда князя Телятевского, шедшего на помощь Болотникову из Венева. Не дожидаясь, когда Телятевский дойдет до Калуги, отряд под командованием Скопина скрытно вышел ему навстречу: «Боярин же воевода князь Михайло Васильевич Шуйской силу разби и много множество побил их, и зело мало их спаслось убегающее; боярин же и воевода князь Михайло Васильевич Шуйской паки со всеми силами своими под Калугу здрав возвратися».

По другим данным, победителями в этом бою были воеводы Иван Романов, Данило Мезецкий и Михайло Нагой, которые «за семь верст от Колуги на Вырке побили воров на головы и наряд вес взяли»^[245]. За эту победу царь наградил отличившихся золотыми.

Вообще, нужно сказать, картина происшедшего под Калугой в целом не очень ясна, поскольку источники сообщают разные, а порой и прямо противоречащие друг другу сведения. Но все современники единодушны в описании печальных для царского войска известий из-под Пчельни.

В это время объявился некий «безумный Илейка», который назвал себя сыном царя Федора Ивановича, царевичем Петром. Набрав себе войско, в основном из донских и волжских казаков, этот «царевич» вскоре дошел до Тулы и обосновался там. Вот к нему-то за помощью и послал терпящий со своими людьми голод в осажденной Калуге Болотников. «Петр» выслал из Тулы в начале мая по направлению к Калуге, как пишет Буссов, «несколько тысяч человек». Навстречу им из Калуги вышли три полка, большим полком командовал князь Борис Татев, передовым — князь Юрий Ушатов и Семен Олферьев, сторожевым — князя Андрей Тюменский и Михайло

Барятинский. В бою у села Пчельня в мае 1607 года войска сошлись, и воеводы потерпели от мятежников жестокое поражение. Потери царского войска были велики, из пяти воевод двое были убиты — князя Борис Татев и Андрей Тюменский^[246]. Бежавшие с поля боя войска в страхе отступили к Калуге. Отступление, судя по описаниям, происходило в полной панике. Первыми бежали воеводы, а за ними и все войско. «Людие же царевы помалу оскудеваше и побеждени быша, а сии же людие гнаша людей царевых во след и воевод побиша, а другие же поймаша, от сего же ужасни быша царевы воеводы и начальницы и отбегоша от града Колуги»^[247].

Бегством из-под Пчельни беды для войска Шуйского в тот день не закончились. Укрывшееся в лагере воинство на рассвете нового дня было внезапно атаковано вышедшим из острога Болотниковым. Не ожидавшие нападения, едва пробудившиеся от сна, царские воины в страхе бежали, оставив в укреплениях тяжелые орудия, порох, провиант и все, что там было^[248]. Болотников проявил себя и в этой ситуации умелым полководцем, он решил развить успех, достигнутый под Пчельней.

Гибель двух воевод и с ними многих ратных людей была тяжелой утратой для царского войска, но потери могли стать еще больше, если бы не стойкость и мужество князя Скопина-Шуйского и Истома Пашкова. Эти два человека, находясь в одном войске, конечно же встречались и раньше, до этого боя. Были они почти ровесниками, участвовали в одних и тех же сражениях — правда, в противных армиях. Но в этом бою они оказались рядом, плечом к плечу. Не растерявшись в ситуации, когда и бывалые воины показывали врагу спину, молодые Скопин и Пашков сумели остановить бегущих. Похоже, Истома Пашков искал на поле боя искупления своей вины. Сохраняя выдержку посреди общей паники, в которой все бросали «не токмо наряд, но и оружие, и платье свое», они построили тех, кого смогли остановить, и с этими людьми сдерживали натиск нападавших, прикрывая отступление основных сил. Их хладнокровие и мужество спасло жизни многих. «А то бы ни един не спасся, но вси бы до единого побиты были», — горестно заметил летописец. Война, как известно, высвечивает в человеке его нутро, — оно может быть и хорошим, и дурным, — а совместное преодоление опасности сближает людей. Возможно, сблизили события под Калугой и этих, столь неравных по происхождению и месту, которое они занимали на социальной лестнице, но одинаково храбро сражавшихся Истому Пашкова и Михаила Скопина. И жизненный путь их был схож в своей краткости: оба они

погибли в молодом возрасте: Пашков в том же 1607 году, а Скопин всего лишь три года спустя.

Царское войско, просидев в осаде под Калугой почти пять месяцев, наскучив воинским безделием, ни с чем отошло, точнее, отбежало к Серпухову, захватив с собой лишь несколько пушек. Горечь поражения усугублялась и личной утратой: Скопин повез в Москву тело убитого воеводы Татева, своего дяди. Его погребли, как и других членов рода Татевых, в Троице-Сергиевой обители. На надгробном камне высекли надпись: «Боярин князь Борис Петрович Татев, преставися 7115 (1607) году мая в 3 день». Как уточнил составитель «Древней Российской Вивлиофики» — «убит под Калугою»^[249]. Алена Петровна оплакала родного брата и свою опору во вдовьей жизни, а Михаил — боевого товарища, наставника, — того, кто заменил ему отца.

В победах и поражениях формировался опыт молодого полководца; в умении стойко переносить и то и другое, преодолевать себя, брать на себя ответственность складывался его характер мужчины и воина. К несчастью, его начальные успехи и поражения происходили не в схватках с напавшим извне на страну врагом, а в сражениях со своими же соотечественниками. Но воевали мятежники под командованием бывшего военного холопа Болотникова по всем правилам воинской науки, которую и осваивал Скопин-Шуйский на поле боя.

«Тульское сидение»

Поражение под Калугой тяжелым эхом прокатилось по многим городам России. Царь Василий собирал новое войско, назначив местами сбора Серпухов и Коломну, однако сборы проходили в сложных условиях. Нового «царя Дмитрия Ивановича» никто не видел, но и в способности нынешнего, Шуйского, справиться с восставшими серьезно засомневались. «Отпали» от царя Василия Арзамас и Алатырь, оказался осажденным Нижний Новгород. На сторону Болотникова под Калугой перешло 15 тысяч человек из царского войска, среди которых было только 100 человек наемников, все остальные — свои. Василий Шуйский тяжело пережил эту измену, а патриарх Гермоген применил крайнюю меру церковного наказания к перебежчикам: их прокляли и отлучили от церкви.

Между тем Болотников, нанеся столь чувствительное поражение царским воеводам, не только сохранил за собой Калугу, но и, перехватив инициативу, двинулся к Туле. Там он предполагал соединить свое войско с тем, кто называл себя «царевичем Петром». Последний оборонялся в Туле стойко, «верх брала то та, то другая сторона, но Петр, хотя и находился в крайней нужде, держался с большой храбростью»^[250].

В июне 1607 года под Каширой на реке Восме полки вновь набранного войска под командованием князей Андрея Голицына и Бориса Лыкова встретились с отрядами Болотникова, состоявшими на сей раз в основном из казаков. Принимал участие в битве и Истома Пашков. По некоторым сведениям, этот бой стал для него последним^[251]. В жестоком сражении, продолжавшемся три дня, верх взяло царское войско, всех захваченных в плен казаков казнили, оставив в живых лишь семь человек. К чести царских ратников, за этих семерых казаков просили дворяне, не так давно ими же пощаженные. И в период измен и предательств находились те, кто стремился сохранить в себе человеческое.

Ободренное успехом войско отправилось под Тулу, куда на соединение с ним шли из-под Серпухова свежие силы. Помня успехи Скопина под Москвой, царь решил выдвинуть своего племянника на первые роли и назначил его командовать большим полком. В составленном при Иване Грозном «приговоре о местах» четко определялось старшинство полков и воевод. Первый, или «большой», воевода большого полка объявлялся старшим среди первых воевод остальных полков, по сути назначался главнокомандующим. За ним по старшинству шел второй воевода большого

полка, к которому приравнивался первый воевода полка правой руки. Первые воеводы полков правой руки, передового и сторожевого объявлялись равными друг другу, воевода полка левой руки был меньше воеводы полка правой руки. Всем вторым воеводам запрещалось местничать с первыми, а дворянам и детям боярским — с воеводами, даже если они считали свой род «выше отечеством»^[252].

Возглавлять большой полк было одним из самых важных и почетных назначений в русском войске, но и одним из самых ответственных. «Того же 115-го году послал царь Василей пот Тулу бояр и воевод на три полки: в болшом полку бояре княз Михайло Васильевич Шуйской Скопин, да Иван Никитич Романов, да в болшом полку с прибыльным полком боярин княз Борис Михайлович Лыков, да Федор Булгаков да Прокопий Ляпунов...»^[253] Полки соединились в 20 верстах от Тулы и вышли к реке Вороньей.

Болотников выбрал удобное место для своей пехоты. Она стояла вдоль берегов топкой речки, укрепив свои позиции завалами из деревьев, что затрудняло подход к ним конницы Скопина. Несколько дней царские войска пытались выбить мятежников из-за завалов. Наконец князь Скопин приказал обойти врага с тыла. Маневр оказался удачным: «воровских людей от речки отбили и за речку Воронью во многих местах... перешли и воровских людей учали топтать до города до Тулы»^[254].

Конница Скопина во главе с молодым командиром гнала болотниковцев до самого города, а человек десять самых отчаянных всадников даже ворвались вслед за убегающими в город. Однако приказа брать Тулу штурмом не было, и уцелевшие смельчаки отошли за город. Разбитые мятежники «утекоша в Тулу».

Первое выступление молодого боярина в качестве главнокомандующего прошло успешно. Он в очередной раз на деле доказал: его назначения на высокие посты — не дань принадлежности к роду Шуйских, а его собственная заслуга. Крепко и стойко держался и весь его полк. Единство в войске, как известно, во многом зависит от авторитета командира, что создается на войне не знатностью и родом, а исключительно талантом и мужеством.

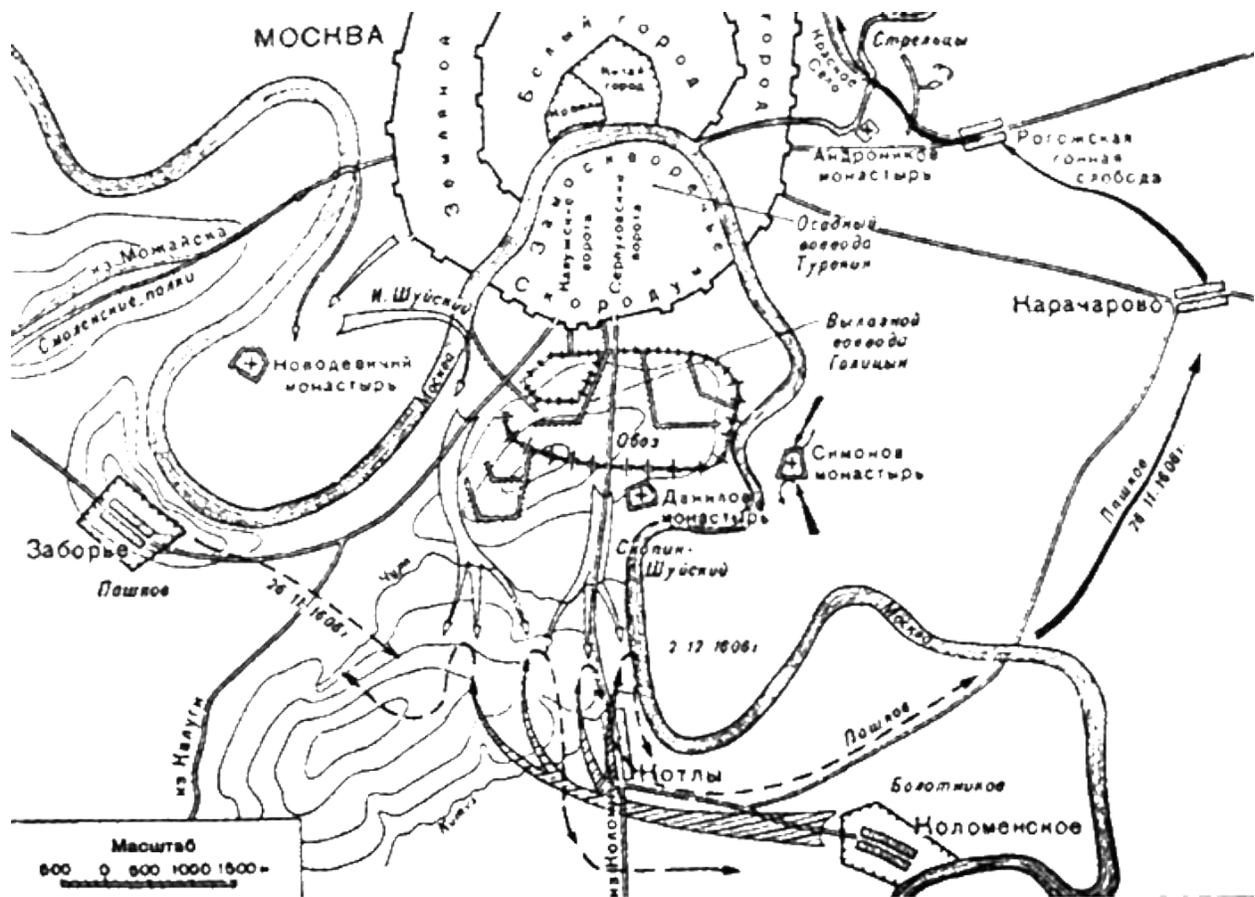
Болотников приказал укрыться в Туле, надеясь отсидеться здесь так же, как и в Калуге. Тульский кремль, построенный в первой половине XVI века, был гораздо мощнее Калужского острога, имел каменные и дубовые стены. К тому же естественной преградой для нападающих была река Упа, на левом берегу которой и располагалась крепость. В конце столетия в Туле было уже три линии укреплений: к каменному кремлю примыкала

деревянно-земляная стена посада, а к ней — земляной город, именовавшийся «Завитым». В это время в Туле проживало около трех тысяч человек, в основном занимавшихся ремеслом и торговлей. Были среди них и оружейники — примерно в это время и зарождалась знаменитая тульская оружейная промышленность.

Однако силы царских войск на этот раз намного превосходили восставших. Источники называют численность войск: 20 тысяч болотниковцев и 100 тысяч в войске Шуйского. Правда, по мнению военных историков, это совершенно не соотнобразуется ни с возможностями крепости вместить такое количество обороняющихся, ни с возможностями Шуйского набрать столь многочисленное войско^[255]. Но даже сильно преувеличенные, цифры эти отражают, видимо, реальное соотношение сил.

С первых дней июля 1607 года началось «тульское сидение». Чтобы из города никто не смог выйти, воеводы расположили свои полки по главным дорогам. Скопин-Шуйский стоял со своим полком на Крапивенской дороге. Наряд укрыли за турами на Каширской дороге, близ реки Упы. Царь во главе государева полка встал в трех верстах от Тулы.

Обороной Тулы командовал сам Болотников. В подчинении у него находился его бывший господин князь Андрей Телятевский. Засел вместе с ними в осаду и «царевич» Петр, которого летописцы именовали «вором Петрушкой», — такая вот компания из беглого холопа, родовитого князя и самозванного царевича. Вряд ли она могла бы образоваться в иное время, но Смута являла ярчайшие примеры изменчивости человеческих судеб, на которых, как заметил философ, «и можно было познать различие между победой и поражением, между честью и бесчестьем»^[256].



Осада Москвы войском Болотникова в 1606 году и бой 2 декабря у деревни Котлы

Как и в Калуге, осажденные не сидели сложа руки. Они делали по несколько раз в день вылазки «на все стороны», нанося большой урон осаждавшим. В сентябре во время одной из таких вылазок Скопин-Шуйский потерял под стенами Тулы еще одного своего родственника — дядю Семена Андреевича Татеева, двоюродного брата матери. На его надгробии в Троице-Сергиевой лавре будет установлен камень с надписью «Лета 7116 сентября 20 день убиен бысть на рати раб Божий князь Семен Андреевич Татеев» ^[257].

Осаждающие не оставались в долгу и вели непрерывный обстрел из пушек по крепости с двух сторон, надеясь сломить сопротивление мятежников. Огонь артиллерии наносил ощутимый урон «сидельцам», но сдаваться они не собирались.

На что рассчитывал на сей раз атаман? Снова, как и под Калугой, на

помощь извне. Конрад Буссов, сын которого воевал на стороне Болотникова и сидел вместе с ним в Туле, рассказывает, что Болотников послал казака Ивана Заруцкого в Польшу с письмом к «государю Димитрию». Заруцкий должен был разузнать, что с государем и, главное, собирается ли он приехать сюда. Но до Польши Заруцкий не доехал, в городе Стародубе он обнаружил нового претендента на престол, также именовавшего себя Димитрием. С ним Заруцкий и остался, намереваясь вместе идти освободить Тулу.

Однако вскоре на сторону Шуйского перешли три города — Болхов, Белев и Лихвин, а затем царские войска взяли Алексин, Декилов, Крапивну и Епифань, разбив под Козельском войско новоявленного царя «Димитрия». Василий Шуйский не стал ограничиваться взятием этих городов. Он решил послать по «украиной» и Северской землям отряды из татар и черемисов (мари), которые должны были всех, не желающих признавать законную власть, «воевать и в полон имать, и живот их грабить за их измену и за воровство».

Кровавый молох гражданской войны требовал все новых жертв, рознь в городах, насилие, злоба в сердцах не утихали, а наоборот, разрастались с новой силой. В домашней и соборной молитве все чаще стал звучать тропарь в честь Казанской иконы Божией Матери, написанный еще в Казани митрополитом Гермогеном: «Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго, за всех молиши Сына Твоего, Христа Бога нашего, и всем твориши спастися, в державный Твой покров прибегающим. Всех нас заступи, о Госпоже Царице и Владычице, иже в напастех и скорбех, и в болезнях обремененных грехи многими, предстоящих и молящихся Тебе умиленною душею, и сокрушенным сердцем, пред пречистым Твоим образом со слезами, и невозвратно надежду имущих на тя избавления всех зол; всем полезная даруй, и вся спаси, Богородице Дево: Ты бо еси Божественный покров рабом Твоим».

Подходы к Туле оказались заняты войсками Шуйского; чтобы прорваться к городу, нужны были большие воинские силы. Так что надежды Болотникова на помощь того, кому он приносил клятву верности в Польше, не оправдались. Отчаянный атаман сдаваться не желал и послал в Польшу нового гонца с письмами. В тех письмах Болотников обещал, если поляки ему помогут, «преподнести и передать его величеству королю все крепости и города, которые они захватили и подчинили себе именем Димитрия»^[258]. Однако в Польше желающих выдать себя за русского царя и возглавить новое войско не нашлось.

Осажденные в Туле жестоко страдали от голода. Они уже съели кошек, собак и всякую падаль на улицах, лошадиные и коровьи шкуры. Когда озлобление голодных туляков достигло предела, они схватили князя Григория Шаховского, утверждавшего, что он бежал из Москвы вместе с царем Дмитрием, и посадили в тюрьму. Выпустить его обещали, когда придет сам Дмитрий, а если он не объявится, то его вместе с Болотниковым готовы были отдать в руки Василия Шуйского.

Как и предписывал Болотников в своих воззваниях, мятежники захватывали поместья дворян, делили между собой их имущество, уводили к себе на двор жен и дочерей. Но вождельный рай на земле все же не наступал. Новая власть, утвердившаяся в Туле, принесла с собой лишь беззаконие, точнее, устанавливала новый, воровской закон: «грабь награбленное». «Шпыни» и не думали устанавливать порядок. Их породила слабость власти, временный беспорядок, и они жили в нем и множили его.

О том, каково приходилось тем, кто не по своей воле оказался в те дни в осаде, поведал тульский дворянин Иван Васильевич Фуников. Он чудом остался жив, за что благодарит Бога и своего благодетеля, которому и адресовано письмо, написанное в апреле 1608 года. Не сетуя и не жалуясь на свалившиеся на него горести, как того можно было бы ожидать от человека в его положении, он старается описать все случившееся с ним в шутивно-стихотворной форме:

А мне, государь, тульские воры
выломали на пытках руки,
и нарядили, что крюки,
да вскинули в тюрьму,
и лавка, государь, была уска,
и взяла меня великая тоска,
и послана рогожа,
и спать не погоже.

В тюрьме Фуников просидел 19 недель, то есть практически всю осаду. За это время несчастного дворянина дважды приводили к плахе, угрожали сбросить с башни, били кнутом, не единожды пытали на дыбе — и все для того, чтобы узнать, где он хранит спрятанную рожь. Вели себя тульские мужики, по словам Фуникова, «что ляхи». Спасло от дальнейших мучений многострадального Ивана Васильевича, человека уже не молодого, лишь затопление Тулы. Измученный пытками, вконец

разоренный, нерадостно он встретил весну 1608 года:

Не оставили ни волосца животца,
и деревню сожгли до кола.
Рожь ратные пожали,
а сами збежали.
А ныне воистинну живем в погребище
и кладем огнище,
а на ногах воистину остались
одне голенища,
и обились голенища.
Зритель, государь, сердцам Бог:
не оставили шерстинки,
и лошадки, ни коровки,
а в земле не сеяно ни горстки.

В настигших его бедах дворянин Фуников был не одинок. Свое послание, отбросив шуточный тон, он завершает горестными словами: «Не единех бо нас постигоша злая, но и всю страну нашу»^[259]. Как весной дожди поят землю, а осенью собирают на ней пшеницу, пишет он, так теперь вместо воды льется кровь, и потому возрастает уже не пшеница, но тернии. Не знал чудом выживший в осажденной Туле Иван Фуников, что еще не один год Смуты предстоит пожинать на Руси те тернии...

Осада затягивалась, наступали холода, а царь все медлил отдавать приказ о штурме крепости. Не торопился теперь со штурмом и воевода большого полка Скопин, памятуя о событиях под Калугой. Он все больше убеждался в том, что исход военных операций часто зависит не от общего плана полководца, а от удач или ошибок конкретных людей, случалось, что и опытный воевода убегал с поля боя вместо «пота победительства слезами облияся»^[260]. Впрочем, видел он и другое: не все в руках человека — человек лишь предполагает, а Господь располагает.

В лагере между тем писали письма домой, вели долгие разговоры о прежних сражениях, варили похлебку и кашу и обменивались советами по залечиванию ран. Скопин обходил лагерь, проверял посты часовых и вспоминал свой промах под Калугой. Он сравнивал первоклассную тульскую крепость с калужским острогом и все больше убеждался: в случае штурма придется положить немало людей. Может быть, пойти на какую-

нибудь хитрость? Вот почему когда появился под Тулой Иван Сумин сын Кравков из города Муром и предложил соорудить плотину на реке Упе, чтобы затопить острог, Скопин ухватился за эту идею и убедил царя пойти на затопление Тулы.

И закипела работа по строительству плотины. Даточные люди из войска «секли лес и клали солому и землю в мешках рогозинных и вели плотину по обе стороны реки Упы». Когда запруда была сделана и вода, как и ожидалась, поднялась, в остроге и в городе началось затопление: «вода вошла и многие места во дворах потопила и людем от воды учала быть ^[261]нужа болшая». Обессиленные голодом, не имеющие сил бороться с наводнением, так и не дождавшиеся «законного царя Димитрия», осажденные стали выходить из крепости по 100–200 человек в день и сдаваться.

А на Покров Пресвятой Богородицы 1 октября и вся Тула сдалась на милость царя. Из тюрем освободили брошенных туда мятежниками и настрадавшихся, как Фуников, бояр, воевод, дворян. Сдались вместе с тульскими сидельцами и «зачинщики» — «царевич Петр», Болотников и князь Андрей Телятевский.

Скопин-Шуйский вместе с другими воеводами ждал в лагере с повинной мятежного атамана, с которым он воевал уже год и с которым не раз встречался на поле боя. На его совести были тысячи убитых людей, среди них и двое дядьев Михаила. Скопин, стиснув рукоять сабли, молча наблюдал, как атаман верхом торжественно выезжал из крепости. Но не все в лагере были так сдержанны, как молодой воевода.

— Благодарим тебя, вор, благодарим, изменник! — выкрикнул кто-то из толпы.

Болотников обернулся на голос, пытаясь найти глазами кричавшего. Усмехнулся:

— За что?

Лучше бы он этого не говорил... Толпа, окружавшая его, зашумела на разные голоса, забурилась, как речной водоворот на порогах, образуя на быстрине воронку, в которую норовила затянуть оказавшего с ней один на один атамана.

— За то, что убил моего брата! За смерть моего единственного сына! За моего зятя! — несло со всех сторон.

— Все они здесь погибли, и ты виновник их гибели! — толпа грозно напирала на еще недавно внушавшего им страх и приводившего в трепет одним своим именем человека, который теперь был одинок перед ними.

Кто-то из казаков уже хватал за узду его коня, другой дерзко рвал кафтан атамана. Конь Болотникова, испугавшись разъяренной толпы, встал на дыбы. Еще мгновение, и Болотникова стянули бы с лошади, повалили на землю и разорвали бы на куски. Но атаман и здесь остался атаманом — он умел обуздывать и норовистых коней, и kloкочущую людскую массу: выхватив саблю, он рассек воздух над головой ближайшего к нему мужика, снеся наземь его шапку. Тот побледнел, но остался на месте, будто пригвожденный. Остальные в страхе попятнулись. Болотников, стегнув плеткой коня, пустил его вперед, проходя сквозь толпу, как нож через масло, заставляя людей невольно расступаться перед ним. В это мгновение раздался грозный окрик, и царские приставы, расталкивая людей, принялись расчищать дорогу навстречу атаману. Это царь Василий Шуйский, не желая увидеть предводителя мятежников растерзанным раньше, чем он предстанет перед царевыми очами, послал ему подмогу. Когда же опасность была позади, Болотников обернулся, сверкая глазами, оглядел еще разгоряченных ненавистью людей и внятно произнес:

— Не я виноват в смерти ваших родных, они убиты за свои грехи... ^[262]

Выехав из толпы, атаман капитулировал перед царем, как рыцарь: он пал ниц у ног Шуйского и положил себе саблю на шею со словами:

— Я был верен своей присяге, которую дал в Польше тому, кто называл себя Димитрием. Димитрий это или нет, я не могу знать, ибо никогда его прежде не видел. Я ему служил верою, а он меня покинул, и теперь я здесь в твоей воле и твоей власти. Захочешь меня убить — вот моя собственная сабля для этого готова; захочешь, напротив, помиловать по своему обещанию и крестоцелованию — я буду верно тебе служить, как служил до сих пор тому, кем я покинут.

Так благородно и трогательно выглядела сдача Болотникова в описании Конрада Буссова ^[263]. Однако ни Михаил Скопин, никто другой из воевод, видевших сцену пленения, не поверил в искренность раскаяния атамана. В Москву его доставили под охраной, там он ходил свободно, куда хотел, правда, в сопровождении приставов. Но когда Болотникова перевозили из Москвы в Каргополь, то многие пришедшие из любопытства посмотреть на плененного слышали угрозы все еще властного и не смирившегося главаря: «Я скоро вас самих буду ковать и в медвежьих шкурах зашивать!» Что говорить, на раскаяние это не похоже, да и не в характере беглого холопа, прошедшего плен и галеры, познавшего власть и радость побед, служить тем, кто ему не единожды проигрывал в битвах.

Впрочем, и в обещание Шуйского сохранить атаману жизнь Скопин

верил мало. Уж кто-кто, а Василий Шуйский всегда обращался со своими клятвами вольно. Едва новый Лжедмитрий начал свой поход на Москву, как царь приказал утопить пленного атамана, предварительно его ослепив. Так же он поступил и с его сообщником «царевичем Петром» — его повесили у стен Данилова монастыря. Царь как будто хотел подтвердить пословицу, рожденную древними: «Война родит воров, а мир их вешает». И все же одного из зачинщиков Смуты — бывшего хозяина Болотникова, родовитого князя Андрея Телятевского, — царь действительно простил и отпустил восвояси. За этот свой опрометчивый поступок Шуйский очень скоро поплатится: не пройдет и полугола, как прощенный князь окажется в лагере нового самозванца.

А Михаил Скопин, вспоминая, как Болотников выезжал из Тулы сдаваться, думал о жаждавшей мщения толпе, едва не растерзавшей атамана. Если вовремя не обуздать гнев возбужденных людей, они становятся неуправляемыми и подчиняются — может быть, даже вопреки собственной воле и против желания — закону потока, несущего их к явному беззаконию и даже убийству. Их жертвой может стать и преступник, но дело правителя охладить пыл толпы, не позволить своеволию двигать людьми, остановить их вверенной ему властью, не дать совершиться самосуду. Но для этого правитель должен уметь подчинять людей, а не быть игрушкой в их руках. А смог бы справиться с толпой он, Скопин, если бы оказался в подобной ситуации? Вот о чем размышлял молодой воевода после завершения тульской осады.

В Москве по случаю окончания войны с мятежниками отслужили молебен, царь, несмотря на осеннюю распутицу, ездил поклониться мощам преподобного Сергия в Троицкий монастырь. Отличившимся под Тулой были розданы царские пожалования. Василий Шуйский, наконец, по-царски отблагодарил молодого Скопина и пожаловал его одной из самых богатых земель — Важской областью, а также селами Чарондой и Тотьмой, что на реке Сухоне. Важская область занимала южную часть будущей Архангельской области, северную часть Вологодской и восточную часть Олонецкой, простираясь более чем на 400 километров по обоим берегам реки Ваги. Эти места славились не плодородными землями, а богатыми рыбными и соляными промыслами и выгодным положением на торговом пути, что приносило жителям большие доходы. По свидетельствам иностранцев, во второй половине XVI века только одна Важская область давала доходу в год до 35 тысяч рублей, а вместе с Чарондой и Тотьмой могла приносить их владельцам до 60 тысяч рублей в год ^[264].

Важская область была лакомым куском для любого владельца; ее вместе с Чарондой и Тотьмой обычно жаловали в знак особой милости. При царе Федоре Ивановиче Важской областью владел Борис Годунов, при царе Василии Шуйском — его брат Дмитрий Шуйский и Михаил Скопин. Видно, хитрый лис Василий Шуйский, не имевший наследников, боялся возвышения рядом с собой кого-либо одного из близких родственников, и потому действовал по правилу древних: «Разделяй и властвуй». И в раздаче милостей, и в назначениях на первые места он, похоже, намеренно будет сталкивать интересы Дмитрия и Михаила.

Глава пятая

ВОЕВОДА БОЛЬШОГО ПОЛКА

А дуги гнут не вдруг — терпением и трудом.

И. А. Крылов

Брянские вести

В Москве еще вспоминали, как ходили всем городом смотреть на обнаженное и обезображенное тело первого самозванца, бесстыдно выставленное напоказ на Лобном месте, а уже у границ, в Стародубе, не убоявшись участи первого, объявился второй самозванец, назвавшийся царем Дмитрием. Его появление таило несравненно большую опасность для страны, чем мятеж болотниковцев, потому как обещанного Болотниковым «Димитрия» в России так и не дождались, а второй самозванец объявился сам и готов был возглавить войско, идущее на Москву. Поистине, как писал летописец в тот год, страну затопили беды словно волны морские: «Едина погибает, а другая встает, тако же наши беды и напасти: та беда полегаше, а другая грех ради наших вставше»^[265].

С пленением Болотникова в Туле гражданская война не закончилась, наоборот — вспыхнула с новой силой. Смутные времена и впрямь напоминали море, взбаламученное штормом, когда все до поры до времени безвестное, лежавшее на дне, разом неудержимо потянулось вверх, норовя всплыть во что бы то ни стало, влекомое неведомой, но могучей силой. Увидев слабость власти законной, многие возжелали властвовать и править по своему усмотрению, а законная власть, напротив, с каждым днем имела все меньше шансов оставаться на плаву. Наступало время «потери общественного сознания», как сказал А. И. Солженицын о Смуте начала XX столетия.

Новый самозванец, второй по счету Лжедмитрий, оказался малосимпатичным и по внешности, и по характеру человеком, к тому же «вовсе не похожим на первого, разве тем, что был человек», как заметил один из поляков. Но его самого, как и возродивших его людей, эта явная непохожесть совершенно не заботила.

Его подлинная биография осталась еще большей загадкой для историков, чем жизнь первого самозванца. Встречавшиеся с ним современники оставили самые противоречивые предположения о его происхождении. Одни говорили, что он «не от служиваго корени; чаяху попова сына иль церковного дьячка, потому что круг весь церковной знал»^[266]. По Москве ходили упорные слухи, что новый самозванец — «с Арбату... попов сын Митка, а умышлял де и отпускал его с Москвы князь Василей Мосалской за пять день до Ростригина убийства»^[267]. Другие

сведения сообщали иезуиты, у которых всегда имелись собственные источники информации: по их данным, Лжедмитрий II — это на самом деле «крещеный жид Богданка», когда-то служивший писарем у первого Лжедмитрия ^[268]. Из тех мест, где объявился новый претендент на престол, писали, что он школьный учитель: «дети грамоте учил, школу держал» сначала в Шклове, потом в Могилеве. Там его и обнаружил некто пан Рагоза и отправил со своими слугами к границам Московского государства. Когда в самозванце признали «Дмитрия Ивановича, праведное солнце», то начали к нему стекаться из окраинных мест «люде рыцерские», «охотные», «люд гулящий, люд своевольный». Казаки донские и запорожские, наемники из Польши, беглые холопы и остатки войска Болотникова и «царя Петрушки» — такова была пестрая армия нового самозванца, которых он привлекал главным образом тем, что «гроши давал». Как отозвался о его рати один летописец, «скоро Дмитро, то и молодцы» ^[269], иными словами: «каков царь — таково и войско».

«Второлживого Дмитрия» современники называли не иначе как «вором», «плутом», «цариком», а в народных песнях окрестили уничижительно «вор-собачушка», в отличие от первого Лжедмитрия — «вора-собаки». Поляки не скрывали, что новый самозванец не только испечен в польской печке, но и слеплен их руками: «Этого Дмитрия воскресил Меховецкий, который, зная все дела и обыкновения первого Дмитрия, заставлял второго плясать по своей дудке» ^[270].

Конечно, польские наемники, желая прихвастнуть, как всегда, преувеличивали свою роль в приискании кандидатов на русский престол. Личность же самозванца в их описании выглядит и вовсе отвратительной: «этот царик был мужик грубый, обычаев гадких, в разговорах сквернословный». Многие отмечали невоспитанность нового самозванца, этим он, конечно, невыгодно отличался от первого. Но зато старался, как мог, учесть ошибки своего предшественника и явно демонстрировал любовь к русским обычаям: исправно посещал церковные службы и ежедневно ходил в баню. Впрочем, и его это не спасло — самозванец он и есть самозванец: много сулил, да принес один позор.

Несмотря на старания «царика», нанятые им казаки и поляки испытывали мало почтения к нему. «И вот приехал к нам царь в златоверхой шапке, на богато убранном коне; с ним прибыло несколько бояр...» — писал один из поляков. Поскольку многие видели «царя» впервые, в толпе прошло некоторое волнение, которое «Димитрий» принял за недоверие. «Цыть, сукины дети, не ясно, кто к вам приехал?» —

приструнил он своих воинов. Недовольные таким обращением начали роптать, и вскоре ропот в новом войске перерос в настоящую потасовку: «Одни кричали: „Убить мошеника, зарубить!“, другие: „Поймать! Ах ты, такой-сякой сын, разбойник! Поманил нас, а теперь платишь такой неблагодарностью!“»^[271]. Видно, подданные были далеки от преклонения перед государем. Нравы внутри его войска больше напоминали разборки запорожских казаков в Сечи во время дележа добычи.

Похоже, в сказку об очередном спасении «Димитрия» уже мало кто верил. И тем не менее самозванец от Стародуба шел к Туле через города Почеп, Брянск, Козельск и Белев, и жители присягали ему и встречали его хлебом-солью как настоящего царя. Не одним своим происхождением от «царского рода» хотел привлечь людей на свою сторону самозванец, но и делами вполне материальными. Он начал издавать указы, которые мало чем отличались от «прелестных грамот» Ивана Болотникова. Крестьянам и холопам, присягнувшим ему, он отдавал поместья их господ, а «если там остались господские дочки, — объявлял он, — то пусть холопы возьмут их себе в жены и служат ему»^[272]. Кто не преуспел во времена Болотникова, мог наверстать упущенное сейчас и в один момент из нищего холопа стать состоятельным землевладельцем, держащим в страхе своего вчерашнего хозяина и его семью; достаточно было всего лишь присягнуть царю «Дмитрию Ивановичу».

И все же успешное начало похода «царика» было прервано осенью 1607 года, когда Василию Шуйскому сдалась мятежная Тула. После этого шансы самозванца дойти до Москвы и занять «прародительский» престол сильно уменьшились. Потерпев неудачу под Путивлем, самозванец, как и его предшественник, трусливо бросил свое войско и бежал к границе.

Чтобы узнать достоверную информацию о событиях и о том, какими военными силами располагает «второлживый Дмитрий», царь Василий прямо из-под Тулы отправил в печально знаменитую Пчельню боярина Скопина-Шуйского: «А очистя царь Василей Тулу, после себя бояром князю Михаилу Васильевичю Шуйскому да Ивану Никитичю Романову велел идти на Пчелну для брянских вестей»^[273]. Приехав в Пчельню, двое воевод, не раз командовавших одним полком, тотчас послали разъезды для разведки. Вскоре выяснилось, что на стороне самозванца не только Стародуб и Путивль, но и Брянск, жители которого присягнули ему «неволею». Несмотря на осеннюю распутицу, необходимо было действовать, и действовать незамедлительно.

Патриарх Гермоген и опытные полководцы настойчиво советовали

Василию Шуйскому обождать с празднованием побед и не успокаиваться на взятии Тулы^[274], — еще слишком тонок лед, чтобы по нему на санях с бубенцами ездить. Однако никакие убеждения и советы не помогли, и царь, «пожелев ратных людей», отпустил их, чтобы они «попочинули и в домех своих побыли». Почему Шуйский упорствовал? Причин могло быть несколько: легкомысленная убежденность, что с восставшей Северой легко будет справиться по весне, или наоборот, сомнение в своем уставшем от долгой тульской осады войске. А могли повлиять на решение царя и личные мотивы: он готовился к свадебным торжествам и стремился побыть подольше в столице. Как бы то ни было, распускать ратных людей по домам было явно преждевременно.

Болезнь, если ее не начать вовремя лечить, как известно, быстро распространится по всему организму. Увидев, что в России зарождается новая волна Смуты, из Польши за легкой наживой потянулись шляхтичи. Самуил Тышкевич, Роман Ружинский, Николай Меховецкий, Адам Вишневецкий, Александр Лисовский, Ян Петр Сапега — каждый из них вел с собой отряд, чтобы воспользоваться «неустроением в Руси и междуусобным смятением и бранью», как написал автор «Иного сказания». Их появление в России было несравненно опаснее мятежа болотниковцев: ведь это были не чем попало вооруженные и плохо обученные крестьяне и вчерашние холопы, а опытные, профессиональные вояки, имевшие за спиной не один выигранный бой. Если удалось в России посадить на престол первого самозванца, рассуждала падкая до вольницы шляхта, отчего бы не попытать счастья и со вторым? «Кость падает иногда недурно, — как говорил один из них, — можно и рискнуть».

Поскольку в Польше «столько партий, сколько голов», там нередко случались «рокоши» — мятежи против короля. К этому времени как раз закончился очередной, и многие «рыцари свободы» остались не у дел: «целые отряды людей, сражавшихся как на стороне короля, так и на стороне рокошан»^[275]. Кого-то из них, как Александра Лисовского, на родине вообще никто не ждал — после участия в мятеже он был изгнан из Польши. И вот все это воинственное полчище, не знающее, куда себя деть, в поисках легкой добычи и громкой славы направилось в Россию.

Когда самозванца поддержали несколько тысяч поляков, кое-кто в России заколебался: может быть, это действительно вновь чудесным образом спасшийся царь Дмитрий Иванович, раз польский король предоставил ему военную помощь? Чтобы переманить колеблющихся на свою сторону, самозванец перебежавшим к нему боярам и служилым

немцам «тотчас дал земли и крестьян больше, чем они до этого имели». И хотя дальнейшие события явно показали, что это всего лишь очередной авантюрист, перебежчики «неизменно оставались на его стороне» ^[276].

Михаил Скопин и сам не раз задумывался, почему присягают этому новому авантюристу — «крути-голова Дмитрию», как назвал его один пленный казак. Казалось бы, судьба первого самозванца, Болотникова, «царевича Петра» и всех казненных во время мятежа должна была вразумить народ, остудить горячие головы беспокойных атаманов, утихомирить волнение. Но Смута уже разрушила прежнее внутреннее равновесие в стране, шторм яростно поднимал одну за другой волны народного недовольства, и вернуться к миру было не так просто. Как не вспомнить здесь строки стихотворения Федора Тютчева «Море и утес»:

И бунтует, и клокочет,
Блещет, свищет и ревет,
И до звезд допрянуть хочет,
До незыблемых высот...
Ад ли, адская ли сила
Под клокочущим котлом
Огнь геенский разложила —
И пучину взворотила
И поставила вверх дном?..

По мнению Скопина, изложенному в сочинении шведского историка Видекинда, к самозванцу примыкали по двум причинам: «либо вследствие заблуждения, либо из стремления к переменам... за исключением негодяев, соблазненных предателем» ^[277]. Кто-то безвольно плыл по течению, как щепка в вешней воде, кто-то сознательно использовал удобный момент для обогащения, а кто-то воспользовался ситуацией для сведения старых счетов. Что ж, негодяев следовало наказать, а заблуждающихся и ждущих перемен могли вернуть в лагерь Василия Шуйского военные успехи, если не самого царя, то царского войска и его военачальников.

Однако царь, поразмыслив, решил не пытаться судьбу и после взятия Тулы распустил войско по домам. Узнав об этом, сообразительный полковник Лисовский начал активно подталкивать самозванца к занятию Брянска: «Покаместа де у царя Василья учнут збиратца ратные люди, а мы де тот замок, шед, возьмем» ^[278].

Брянск занимал особое место среди городов за Окой, он связывал кипящую боевой жизнью Северу с Козельском и Белевом. Но самое главное — через него шла дорога из Северной земли на желанный для поляков Смоленск. Поэтому самозванца долго уговаривать не пришлось. Пришедшие к Брянску войска «второливого Дмитрия» в середине ноября осадили город. Очень скоро у осажденных не стало хватать воды, закончились запасы продовольствия, дрова, а выйти из города, чтобы пополнить их, было невозможно — «литовские люди и воры» крепко держали под прицелом и сам город, и берега Десны.

Нельзя сказать, что Василий Шуйский, распустив ратных людей по домам, совсем уж бездействовал. Время, конечно, было упущено — самозванец успел сколотить себе войско из поляков, запорожских казаков и оставшихся в живых болотниковцев, — но безусловный перевес был все еще на стороне царя. К Брянску были отправлены полки под командованием умелых и опытных военачальников князей Ивана Семеновича Куракина и Бориса Михайловича Лыкова; из Москвы они везли с собой продовольствие для осажденных. Тех, кто в Брянске присягнул самозванцу «неволею», царь простил и дал наказ воеводам щадить их: «А брянских бы людей берегли, чтоб их ваши люди не грабили и не воевали, и сильно ничего не имали»^[279].

Одновременно из Мешовска в Брянск на помощь осажденным скорым маршем шел князь Василий Федорович Литвинов-Мосальский^[280]. Однако «воры», засевшие под городом, несмотря на приближение царских войск, так скоро уходить от стен Брянска не собирались. Тем более что подошедшее войско князя Мосальского и осажденный город разделяла река Десна. Несмотря на зимнюю пору и крепкие морозы — оставалось десять дней до Рождества — Десна хоть и схватилась льдом у берегов, однако полностью еще не встала. Помышлять о переправе по льду на другой берег, к городу, не приходилось, и, стоя на берегу, «ратные же люди смотриша на город на Брянск, плакахуся горко как бы им помочь и ту великую реку Десну перейти».

«Рыдание и плач великий» доносились и из голодающего Брянска, они-то и подтолкнули воинов к невозможному, казалось бы, решению: переправляться на другой берег Десны по воде. Льдины запросто могли опрокинуть легкие лодки с людьми, а оказаться в декабрьской стылой воде в мгновенно тяжелеющей одежде, с оружием в руках — верная гибель. Но наблюдать, как на твоих глазах от голода, холода и жажды гибнут осажденные, было тоже невозможно. И воевода Василий Мосальский

решился отдать приказ: форсировать Десну.

Среди лжи, измены, обмана, насилия и грабежа своих же соотечественников — бед распространенных и уже мало кого удивлявших в те годы, — события под Брянском, когда читаешь о них в летописи, и сегодня, 400 лет спустя, вызывают удивление и восхищение. Такого величия духа, породившего смелость и самопожертвование «за други своя», наверное, не помнила Русь со времен взятия Казани, Астрахани и покорения Сибири казаками Ермака.

Десятки стругов и паузков были спущены на реку, и сквозь громоздящиеся, так и норовящие затереть лодки льдины ратники поплыли к городу, «лед разгребаху». С противоположного берега по сидящим в лодках людям немедленно открыли огонь. Но никто из форсирующих реку не повернул назад, не уstraшили их ни острые как нож края льдин, ни самопалы «воровского войска». Все высадились на берег, причем, как уверял летописец, «ни един человек, ни лошадь не погибе»^[281].

Невероятная решимость и храбрость ратных людей передались и брянским сидельцам — они вышли из города навстречу войску Мосальского и совместными усилиями отогнали «воров» и поляков от города и даже многих взяли в плен. А на следующий день встала Десна, и по приказу воевод по льду в город перевезли продовольствие.

«Устав ратных дел»

Рассказ о «предивном деле» под Брянском Михаил Скопин слушал в Москве, когда брянские воеводы Андрей Ржевский и боярин Михаил Кашин приехали на доклад к царю Василию. Пока говорили речи на царском пиру по случаю снятия осады с Брянска, пока обсуждали награды победителям — воеводам было дано по шубе и кубку, дворянам и детям боярским — денежное жалованье, поместные придачи да дорогие ткани — «камки и тафты и сукна», — недавно вернувшийся из войска Михаил Скопин обдумывал происходящее.

«Храбрость и дородство» ратных людей конечно же вызывали у него гордость. Он и сам не раз видел в бою, что русским воинам чаще всего удаются предприятия трудновыполнимые. Но не оставляла его и вызывала раздражение другая мысль: ведь всего этого могло и не быть: ни погибших под стенами Брянска воинов, ни умерших от голода горожан, — если бы царь послушал его совета и совета других военачальников и не распустил войско. Достаточно было двух-трех полков, чтобы дойти до Северной земли и не дать времени полякам и «ворам» собрать новую армию. Но царь подозрителен, он охотнее слушает лизоблюдов и «ушников», чем опытных воевод, а те ропщут и все чаще поговаривают о замене Шуйского другим, более счастливым царем.

Слушая о событиях под Брянском, Михайло Васильевич вспоминал и взятие снежного городка в Вяземах при названном царе Дмитрие. Хоть и была это игра, но князь воочию убедился, как трудно пешим тягаться с хорошо обученными польскими и немецкими всадниками. Единственная возможность выстоять перед атакой их конницы — укрыться за стенами крепости. Но как найти защиту против них в открытом поле? Что прикроет пеших, пусть и вооруженных огнестрельным оружием ратников от стремительных атак вражеской конницы?

Князь Михаил знал, что еще в 1606 году царь Василий приказал «по своему царскому изволению и призрением к воинству» государеву человеку Онисиму Михайлову написать книгу, «как подобает всем служите», а для этого прочесть и перевести иностранные книги про «ратная хитрости в воинских делах», которые «изрядными и мудрыми и искусными людьми в розных странах строятся во Италии, и во Франции, и во Ишпании, и Цесарской земле, в Голландии, и во Англии, и в королевстве Польском и Литовском и во иных разных господарствах»^[282]. Онисим трудился уже год,

и конца его работе не было видно^[283], а с поляками и Литвой сражались уже сейчас, и не на чужой, а на своей земле. Кое-что из книг по военному искусству, которые привозили с собой в Россию послы, а случалось, немецкие и французские наемники, Михаил читал и даже делал для себя выписки. Его любовь к книгам не исчезла, к тому же читать ратнику о воинской премудрости необходимо, постигать «благое искусство» нужно не только на поле боя, но и размышляя о чужих победах и поражениях.

С интересом он узнавал о том, как сражались воины в иных землях, как полководцы находили выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций, как остроумно выстраивали оборону и хитростью побеждали врага в меньшинстве. Из книг он узнал, что однажды «в Угорской (Венгерской. — *Н. П.*) земле под некоторою крепостию» стойко оборонялись ее защитники и враги не смогли ее взять и спустя несколько месяцев; что в «Ишпанской земле» военачальники предпочитают зимние походы, потому что летом «не возможно водить для жаров великих»; что укрепления можно построить тем способом, «как во Французской земле», когда однажды там «недругов в городские ворота втоптали»^[284].

Все интересовало молодого воеводу Михаила Скопина в воинской науке: и как крепости брать, и как подкопы делать, и как обозы ставить, и как полки во время боя на поле сражения расставлять. Оказалось, что можно их расставлять «остро, а назад широко и треугольчато, а иное серпом, или полумесяцем», как сделал Ганнибал в битве при Каннах. Но лучше, как увидел Скопин, ставить «четвероугольчато», потому как «между пешими людьми» при таком построении войска «укрывают полковой наряд», и «как случится к напуску (то есть во время атаки. — *Н. П.*), и пешие люди рогуются из наряду, в те поры доведется по недружным полком стреляти»^[285].

Большое значение во всех военных руководствах того времени придавали артиллерии. Онисим Михайлов в своем «Уставе» посвятил «полковому наряду» две трети статей — и это понятно: с момента своего возникновения огнестрельное оружие произвело переворот в военном искусстве, потребовало совершенно иных способов ведения боя. Артиллерия в ту пору еще не стала «богом войны», но уже играла решающую роль при взятии городов и крепостей. По наблюдениям внимательных иностранных путешественников, а на деле шпионов, «ни один из христианских государей не имеет такого запаса военных снарядов, как русский царь». Общее число пушек в России конца XVI столетия превышало две тысячи штук^[286]; среди них встречались настоящие гиганты:

отлитые Андреем Моховым Стоствольная пушка и Царь-пушка, донные хранящаяся в Московском Кремле. Русская артиллерия удивляла неприятеля и числом, и разнообразием — в ней имелись и мортиры, и гаубицы, и легкие пушки, — и дальностью стрельбы, и подвижностью. Уже в конце XVI столетия в Можайске использовали медные полковые пушки на «станках и колесах», опередив тем артиллерию многих армий^[287]. Особо искусных пушкарей — тех, кто стрелял из тяжелых пушек («василисков, или из соловьев, или из певич, и из квартанов, те пищали стенобитные»), — ценили высоко и мастерство их щедро оплачивали. Стрелявших из легких пушек малого калибра («драконов, из змей, из чегличков, из соколов») именовали, в отличие от пушкарей, затинщиками или пищальниками. И тех и других набирали в войско почти исключительно из горожан, в основном из среды ремесленников, которые обладали более высоким уровнем грамотности. Пушкари в России, в отличие от других стран, всегда были подданными государства — наемников в XVI веке русская артиллерия не знала, — и чаще всего великороссами^[288]. Пожизненный и наследственный характер их службы формировал высокие боевые качества пушкарей и затинщиков, которые нередко являли во время военных действий чудеса находчивости и отваги.

Особенно интересовали Михаила в иноземном опыте приемы сражения пехоты против конницы. Он внимательно изучал опыт римской армии, греческой времен Александра Македонского, в современных армиях ему особенно были близки приемы нидерландцев, которые широко использовали любое прикрытие — земляной вал, насыпь, загородку, временный частокол, — лишь бы пехотинцы могли вести из-за них огонь.

В московской осаде Скопин убедился, что можно успешно применять и русское изобретение — «гуляй-город», и не только во время осады: он учился у опытных полководцев использовать «гуляй-город» при расположении в лагере, укрываться в нем полкам на марше. Здесь никаких готовых рецептов не существовало, при устройстве лагеря в ход шло все, что оказывалось под рукой: телеги, плетни и перила — их связывали между собой, земля, которую выбрасывали из выкапываемых рвов. Можно было поступить и как казаки в Заборье — облить укрепленные стены обоза водой, а уж она на морозе сковывала их лучше, чем известь кирпичи при возведении боярских палат. Со временем Михаил Скопин будет назван иностранцами «осторожным полководцем», который «отлично умел укреплять лагерь и строить перед ним частокол из острых кольев»^[289].

Онисим Михайлов советовал в своем «Уставе» ввести в русской армии

должность «большого полкового воеводы» и маршалка на манер иноземцев. Воеводе предоставлялась бы полная власть «над всеми воинскими людьми, конными и пешими, над малым и старым, что кто ни буди, идучи против недруга, или отходя, или в приступное время, или во время бою повелевать и наряжати, делати и не делати...»^[290]. Если бы такая власть давалась большому воеводе, то можно было бы одним повелением прекращать все местнические споры, которые, несмотря на указ Ивана IV, велись и во время военных действий. Михаил как воевода большого полка имел немалую власть, однако сложная и громоздкая система субординации в войске мешала оперативному командованию, да еще местничество стояло поперек горла. Скольких поражений можно было бы избежать, если бы не гонор и зависть воевод друг к другу! Но нет, приходилось считаться с существующей системой подчинения, учитывать «отечество», прежде чем давать поручения воеводам. Удобен был бы для воеводы и маршалок — что-то вроде начальника штаба: ему докладывали бы сначала о делах и нуждах войска, он бы занимался снабжением армии, с ним мог бы посоветоваться большой воевода.

Главное, что уяснил для себя воевода Скопин, — это обязанность военачальника всегда вникать во все заботы и дела войска самому, не полагаясь ни на каких помощников. Еще Владимир Мономах в своем знаменитом «Поучении» советовал полководцу перед тем, как отойти ко сну, самому лично проверить все караулы. Прилежание военачальника не только возвышало его авторитет среди подчиненных, но и служило для них хорошим примером. Вот и в «Уставе» Онисим Михайлов писал о том же: «Подобает в воинству государю самому часто во всякие дела взирати и обо всех делах самому великое попечение имети, и как он так учнет делати, и на то смотря, учнут приказные люди всегда о всем большую печаль имети и к делу прилежны будут»^[291].

Часто обсуждал Михаил Скопин с молодыми воеводами и необходимость проведения разведки прежде дела, «посылки в разъезд» и «добытая языка». Видел он и другую нужду русской армии, говорил о ней неоднократно: войско нужно не только вооружать, но и обучать, проводить постоянные занятия с ратными людьми; как писал Онисим: «ежедневное навывание дает и приносит мастерство». В нынешние недружеские времена нужно держать войско готовым к войне, а для этого необходимо устраивать «нарочные всполохи» — учебные тревоги. Нужно учить людей не только наступать в порядке, но и сохранять «свое урядство» при отступлении, иначе можно понести такие потери, как под Калугой.

Все это Скопин неоднократно говорил царю Василию, тот соглашался, но все же войско после Тулы по домам распустил. Да еще и свадьбу не ко времени затеял. Впрочем, после Коломенского и Тулы царь к Скопину явно благоволил: на царской свадьбе ему предстояло быть дружкой государя — большая честь для молодого воеводы. Разрешил царь и самому Михаиле Васильевичу жениться. Так что Скопин в январе готовился сразу к двум свадьбам — своей и царской.

Две свадьбы

Заключение брака — событие большой важности в жизни человека любой эпохи. Особенно в Средневековье, когда разводы были практически невозможны, и выбор супруга или супруги означал, по сути, выбор своей судьбы. Поэтому к созданию семьи подходили обдуманно, не второпях, а заключение брака предваряли традиционными и для крестьянского, и для боярского дома этапами: смотринами, сватовством, сговором, помолвкой и, наконец, собственно свадьбой.

К этим важным мероприятиям привлекались многие родственники и свойственники с обеих сторон, у каждого из приглашенных была своя, определенная роль. Поезжане, посаженные, дружки, свахи, тысяцкий — так назывались главные роли церемонии, смысл и происхождение которых сегодня уже мало кто вспомнит без подсказки специалистов. Их обязанности во время торжеств напоминали игру-состязание между «своими» и «чужими» родичами, противопоставляли прежнюю, холостую и незамужнюю жизнь молодых новой, многотрудной семейной жизни.

Ритуальные действия свадебного пира были наполнены магическим смыслом зарождения новой жизни и пожелания плодородия «князю и княгине», как именовали всех новобрачных, а вполне сказочные детали, — вроде счета «три на девять» и «сорок соболей», да осыпание хмелем и золотыми монетами — напоминали о временах глубокой древности. Действия свадебных торжеств были четко очерчены традицией и именовались «чином», строгое соблюдение которого подчеркивало особую ценность и значимость переживаемого события и, что особенно важно, сохраняло верность традициям предков: «так жили отцы и отцы отцов наших». Зарожденный в давние времена, чин освящался церковью, и кульминацией свадебных торжеств XVII века конечно же было венчание.

Михаилу в ноябре 1607 года исполнился 21 год — возраст для заключения брака вполне подходящий. Уже больше года — с осени 1606-го — он сражался с мятежниками, поэтому дома бывал редко и коротко. Изпод Пчельни он вернулся в ноябре и вряд ли мог успеть найти невесту, сосватать ее и отпраздновать свадьбу за недолгое время до начала Рождественского поста. Возможно, избранницу свою он знал уже давно, а может быть, по традиции того времени, невесту с его согласия подыскала ему мать, Алена Петровна. Автор биографии князя Скопина говорит, что «по совету родительницы своя матушки и доложу царя и по

благословению духовного отца» Михаил «законному браку причитается и сожительницу себе приемлет княгиню Александру Васильевну зовомуую Головина»^[292].

Браку этому суждено будет длиться всего два с небольшим года, а вместе молодые проживут всего три месяца. Но, видимо, чувства между молодыми были, иначе не ушла бы Анастасия добровольно из мира в монастырь сразу же после преждевременной кончины своего супруга.

Отец невесты Василий Петрович Головин был царским казначеем, как и его отец, Петр Иванович. Головины давно были близки к Шуйским и являлись их сторонниками во время борьбы с Годуновым. Поэтому семейство Головиных в годы опальных расправ также пострадало: Петр Головин был сослан в Арзамас и там тайно убит по приказу Годунова, Василий Петрович — отец Александры — отправился из Москвы на дальнейшее воеводство^[293].

Возвышение Василия Головина, как и Михаила Скопина, началось при первом самозванце: в 1605 году стольник Головин был назначен казначеем, на следующий год возведен в окольные и исполнял должность печатника. Продолжилось его восхождение и при Василии Шуйском, один из поляков даже называл Головина «приятелем» царя Василия. Когда в 1606 году жаловали боярство Скопину, был возведен в окольные и старший сын Головина, Федор Васильевич, а вслед за ним и младший — Семен Васильевич. В 1608 году было пожаловано боярство их отцу — Василию Петровичу Головину^[294]. Опала Головина во времена Годунова, одновременное со Скопиным восхождение в чинах и близость к царю Василию Шуйскому — возможно, все это, помимо личных мотивов, сыграло свою роль в выборе Михаила.

Отпраздновать свадьбу в ноябре Михаил и Александра вряд ли успели — начинался Филиппов пост, поэтому, скорее всего, свадьбу отложили до Рождества. А на царской свадьбе, которая состоялась 17 января 1608 года, Михаил присутствовал уже вместе с молодой женой и матерью Аленой Петровной.

В первом браке у Василия Шуйского детей не было; во второй раз он долгое время не женился. Борис Годунов, опасаясь претензий со стороны «принцев крови» Шуйских, не разрешал Василию заключать второй брак. Наверное, оставаться бы ему неженатым до самой смерти, если бы не внезапная смерть Годунова. Невесту князь Василий подыскал себе давно, его выбор пал на дочь белгородского воеводы Петра Ивановича Буйносова-Ростовского, погибшего еще в начале Смуты; разрешение же жениться он

получил у Лжедмитрия I. Однако жажда власти отодвинула на время семейные заботы, все свои силы Василий Шуйский бросил на борьбу за трон. Теперь же, когда цель была достигнута, можно было вспомнить и о невесте.

Царю было уже 55 лет — возраст далеко не жениховский. Но отсутствие у него наследников и появление самозванцев, как пузырей в лужах во время дождя, — все это подталкивало Шуйского к заключению брака. Потому в зимний мясоед 1608 года страну облетела, как писали летописцы, «радостная весть» — царь сочетался браком, его избранница Екатерина Петровна Буйносова-Ростовская стала царицей Марией Петровной, по традиции поменяв имя.

На царской свадьбе присутствовали трое Скопиных-Шуйских: сам Михаил Васильевич, его мать Алена Петровна и молодая жена Александра Васильевна. Распределение мест на свадьбе свидетельствовало о том, что особенных изменений в дворцовой верхушке со времен свадьбы самозванца не произошло. На свадьбе ложного царя Федор Иванович Мстиславский, как один из наиболее родовитых бояр, занимал «отцово место», тысяцким был Василий Шуйский, дружками царя — Дмитрий Шуйский и Григорий Нагой. Скопин-Шуйский держал меч, стоя рядом с царем.

Теперь же на свадьбе царя Василия «в отцово место» был его младший брат Иван, по прозвищу Пуговка, все тот же Мстиславский играл роль тысяцкого. Дружками со стороны царя были Михаил Скопин-Шуйский и Иван Крюк-Колычев, их жены были свахами с государевой стороны ^[295]. Царь явно благоволил к Скопину после взятия Тулы, отсюда и почетное место дружки на царской свадьбе, и почти одновременно проходившие свадьбы царя и его родственника.

Царская свадьба проходила в полном согласии с древними традициями, что выгодно отличало ее в глазах подданных от недавней свадьбы самозванца. 17 января, в воскресный день, государь вышел из своих покоев одетый, как и полагается жениху: «шуба на соболех, бархат золот, заметав полы, в златокованом поясе». Василий Шуйский чинно прошествовал в Золотую палату, впереди него шли дружки — Михаил Скопин и Иван Колычев в нарядных, расшитых золотом кафтанах и собольих шубах. Согласно свадебному чину дружка жениха должен быть «весь в золоте», золотом украшается и наряд коня, на котором он приезжал. Сваха жениха — Александра Скопина-Шуйская тоже была одета нарядно — в «красной шубке, бобровом оплечье и платке и меховой шапке» ^[296]. За

друзьями государя неспешно следовали Мстиславский с боярами. В Золотой палате члены царского свадебного поезда расселись по лавкам на отведенное для каждого из них место. Государыня до времени сидела со своей свитой в Грановитой палате, среди ее «сидячих боярынь» в числе первых была названа мать Михаила — Алена Петровна.

Откушав за столом, царь вместе с гостями из Золотой палаты отправился в Грановитую, а «государьской путь кропил духовник его Благовещенский протопоп Кондратей». В Грановитой палате царь воссел на «чертожное место», справа от него поместилась невеста. У дружек царицы здесь была своя обязанность: они раздавали всем гостям подарки — «укруг коровая да глыбку сыра» — ломти хлеба и сыр, и «ширинки» — вышитые платки из дорогих тканей. Начинали дружки с жениха и невесты, затем по очереди обносили всех гостей, тем, кто не смог быть на свадьбе, посылали подарки домой. Хлеб и сыр были ритуальной едой, наделение ими в первый день свадебного пира было таким же древним обрядом, как и осыпание молодых хмелем. Совместное поедание за одним столом каравая должно было объединить роды невесты и жениха; с этого момента они становились как бы крохами одного хлеба, членами одной семьи. Для молодых, которые по традиции не должны были ничего есть и пить в день свадьбы, «крайчики» каравая и сыра были единственной разрешенной едой.

Вкусив хлеба с сыром и посидев с гостями, жених и невеста отправились в церковь на венчание. Царь следовал верхом: «и сел государь на аргамак, а государыня в сани у десницы Грановитыя палаты». Перед царицей в санях сидели четыре свахи, среди них — молодая жена Скопина Александра. Впереди свадебного поезда перед государем «свечники» торжественно несли свечи, «каравайники» — караваи, восемь одетых в золотые кожухи стольников и стряпчих — фонари.

Венчали молодых в Успенском соборе. После совершения таинства весь свадебный поезд таким же порядком возвратился обратно. «А как государь от венчания пришел в сенник, и быв с царицею у постели, пришел в Золотую палату, и стол был в Золотой палате, а у царицы был особой стол». Нужно заметить, что на свадебных торжествах большое значение придавалось порядку мест за столами во время пира. Здесь каждый занимал место не по знатности рода — местничать на царской свадьбе запрещалось, рискнувший возбудить спор сурово наказывался, — а по свадебному чину. Скопины-Шуйские занимали самые почетные места на царской свадьбе.

Второй день свадебных торжеств начинался с омовения — государь и

государыня ходили «в мыленку». И здесь в числе первых были Скопины: «А государыню под руки держали большие свахи: князя Михайлова княгиня Васильевича Шуйского княгиня Олександра да князя Микитина княгиня Хованского». Остальные свахи шествовали рядом с молодой, одна из них несла на особом блюде кичу — головной убор, который носили замужние женщины. В этот день молодоженам преподносили подарки: тесть — зятю, свекор или сам жених — невесте, одаривали дорогими тканями и вышитыми платками и всех остальных участников свадебного торжества.

На второй день снова пировали в Золотой палате; государь и государыня сидели уже за одним столом, играли музыканты «в трубы и по накрам» (литаврам). На третий день свадьбы до и после застолья в Золотой палате «были потехи». Кроме больших «столов» в течение всей следующей за венчанием недели на царской свадьбе проходило еще множество застолий и обедов: «княжой» стол, «княгинин», обед патриарха у царя. Словом, уложиться в предписанные «Домостроем» три дня царская свадьба никак не могла: как верно заметил А. С. Пушкин, «не скоро ели предки наши».

Однако далеко не все разделяли радость царя, даже среди его близких родственников. Современники обратили внимание на отсутствие Дмитрия Шуйского среди гостей на свадьбе^[297]. По слухам, он открыто упрекал царя в несвоевременной женитьбе: «Ты здесь веселишься, а невинная кровь льется»^[298]. Подобное нелicenseприятное для царя осуждение его поведения не кем-нибудь, а родным братом могло привести к охлаждению отношений между ними. Однако если бы такое действительно произошло, то вряд ли супруга Дмитрия занимала бы самое почетное место на свадьбе — сидела «в материно место», то есть на месте матери жениха. Причина отсутствия Дмитрия Шуйского, как нам видится, кроется в ином.

«Шатость» на Незнани

В начале зимы царь послал против самозванца войско в составе большого, передового и сторожевого полков, поручив общее командование своему брату Дмитрию. Собрав полки в Алексине, Дмитрий Шуйский пришел в Белев, где и простоял всю зиму, лишь изредка нападая на отряды самозванца. Один из поляков уточнил в своих записках, когда именно происходили описываемые события. «В это время (16 января по григорианскому календарю, то есть 6-го по юлианскому. — *Н.П.*) Дмитрий Шуйский стоял в Белеве и затем двинулся к Болхову»^[299].

Значит, во время свадебных торжеств 17 января, если верить дневнику поляка, Дмитрий находился в войске и присутствовать на свадьбе не мог. Как не могли быть на торжествах и многие другие, близкие царю люди, — потому в описании царского венчания список гостей оканчивается словами — «и иные бояре, которые были на Москве». То есть присутствовали на свадьбе лишь те, кто не был в тот момент в действующей армии.

Если разногласия между братьями все же и были, то недовольство Дмитрия объяснялось не столько несвоевременностью свадьбы, сколько самим фактом женитьбы Василия. Ведь с появлением у царя наследников уменьшались шансы самого Дмитрия занять престол после своего старшего брата. Впрочем, у Дмитрия была возможность завоевать авторитет, доверие и симпатии в войске, показав свое полководческое мастерство на поле боя. Но вот как раз на этой стезе он и не преуспел. Трусость, неумелость действий и отсутствие главных качеств полководца — мужественности и решительности — в очередной раз привели его к поражению.

Зима 1608 года выдалась морозная, снежная, в отдельных местах снег лежал глубиной до полутора метров. В открытом поле по такому снегу ни пеший не пройдет, ни конный не проедет. Поэтому активные боевые действия ни та, ни другая стороны не вели, ограничивались лишь небольшими стычками, а когда ударили сильные морозы, и вовсе отошли на зимние квартиры. Самозванец перезимовал в Орле, а весной двинулся к Болхову, туда же «по последнему пути» перед весенней распутицей подошел и Дмитрий Шуйский. Сил у него было достаточно — поляки, желая блеснуть своей храбростью, насчитали в царском войске 170 тысяч человек, хотя вряд ли войско превышало 30–35 тысяч. С самозванцем же, по словам все тех же поляков, было не более 13–15 тысяч человек^[300].

В мае, после Николина дня, в пятницу, войска встретились. Бой, как

отмечали обе стороны, был жестоким, продолжился он и в течение всего следующего дня. И вот в тот момент, когда еще не было ясно, какая из сторон возьмет верх, Дмитрий Шуйский, испугавшись, что поляки могут захватить пушки, неожиданно для всех отдал трусливый приказ «отпустить наряд» в Болхов. Перебежавший к самозванцу сын боярский Никита Лихарев рассказал о намерениях воеводы неприятелю, который немедленно воспользовался этой вестью: «и всеми людьми напустиша на московских людей и московских людей разогнаша и наряд у них поймали»^[301]. Войско Дмитрия Шуйского, не выдержав стремительной атаки польской конницы, обратилось в бегство. По дороге бросали оружие, «под конскими ногами напрасно умираху, и возматися воздух от конского ристания и друг друга незнающе, помрачиша бо ся лица их от пыли веемая по воздуху»^[302]. Пять тысяч человек из царского войска укрылись в Болхове, который тут же захватил самозванец, основные же силы по приказу Дмитрия Шуйского отступили к Москве.

Весть о поражении войска привела и царя, и всех, кто узнал о ней в Москве, «в ужась и скорбь велию». Впрочем, царь, желая поддержать позорно бежавшего из-под Болхова Дмитрия, всячески выказывал братскую любовь к нему, послал «навстречю брата своего и всех бояр о здоровье спрашивать окольничего Федора Васильевича Головина», шурина Скопина. В Москве, слушая рассказ Дмитрия о Болховском сражении, Михаил Скопин недоумевал: как можно, когда еще идет бой, заранее готовиться к поражению? Преждевременный приказ Дмитрия об отходе полкового наряда породил панику в собственном войске, а полякам, которые были в меньшинстве, напротив, придал уверенности, потому не только Никита Лихарев «отъехал к вору», но и «иные многие» из войска. Дмитрий же Шуйский объяснял свои действия просто: «видя в людех сумнение», он решил спасти пушки, чтобы те не доставались врагам^[303].

В этот непростой момент царю Василию, как никогда, хотелось опереться на родственников. И он решил — быть может, по совету брата Дмитрия — послать против самозванца Скопина, тем более что в последнее время удача действительно была на стороне молодого боярина.

Князь Михаил, не пробыв дома и трех месяцев с молодой княгиней Александрой Васильевной («тримесячнаго обходу не дошед сполна не пребысть», — как говорится в «Сказании»), отправился воевать с новым самозванцем.

После сражения под Болховом воины Лжедмитрия, захватив царский обоз, «спешно двинулись к московской столице»^[304]. Но столица кого

только не повидала под своими стенами и легко уступать вовсе не собиралась. Да и желающих воевать под знаменами «второлживого Димитрия» пока не прибавлялось, даже наоборот: присягнувшие было ему в Болхове остатки царского войска при первом же удобном случае ночью сбежали в Москву. Встречали «вора» хлебом-солью только жители Козельска и Калуги, так и не признавшие Василия Шуйского царем.

Именно на этом, калужском направлении и должно было преградить дорогу самозванцу войско под командованием Михаила Скопина. Однако до боевых действий было еще далеко. Первое, с чего начали едва назначенные царем воеводы, — принялись «тягаться отечеством». Чашник князь Иван Борисович Черкасский, назначенный командовать сторожевым полком, бил челом на князя Ивана Михайловича Воротынского, который возглавлял передовой полк, а князь Василий Федорович Литвинов-Мосальский, получив место третьего воеводы в большом полку, увидел в этом назначении «поруху» своему отечеству, потому что окольный князь Григорий Петрович Ромодановский был назначен вторым воеводой в передовой полк ^[305]. Недовольные своими местами воеводы совсем не ко времени подали прошения царю, а до царского указа отказывались брать списки подчиненных им полков и подразделений и не выезжали в войско. Начался разбор дел. А время между тем шло... Наконец царь «развел» воевод, посчитав претензии Черкасского и Ромодановского обоснованными, и выдал им «невместные» грамоты.

Но поляки не дали воеводам времени поместничать, они уже продвинулись к Москве, и совсем не на том направлении, где их ожидали. «О походе князя Михаила Васильевича против вора» коротко повествует автор «Нового летописца»: «Посла царь Василей против Вора боярина князь Михаила Васильевича Шуйсково Скопина да Ивана Никитича Романова. Они же приидоша на речку на Незнань и начата посылать от себя посылки. Вор же поиде под Москву не тою дорогою» ^[306].

В Подмосковье известны две речки с одним названием — Незнань или Незнайка. Одна из них является левым притоком Осетра и протекает в Зарайском районе. Посылать войско далеко на юго-восток от Москвы, к Зарайску, когда самозванец прошел Козельск и Калугу, вряд ли имело смысл. К сожалению, на многих исторических картах именно на этом направлении изображается поход войска Скопина ^[307]. Вероятно, автор «Нового летописца» говорит о другой Незнани, которая протекает на юго-западном направлении.

Небольшая речка Незнань — «неизвестно откуда берущаяся» — так

объясняют топонимические словари происхождение ее названия — и сегодня, как и четыреста лет назад, петляет по Наро-Фоминскому и Подольскому районам Московской области, редко где удаляясь от Москвы более чем на 25 километров, пока не впадает в Десну. То, что войско было послано сюда, на ближний от Москвы рубеж, говорит о действительно стремительном приближении Лжедмитрия к столице. К тому же, посылая войско на Незнань, в Москве, видимо, были совершенно уверены, что самозванец пойдет именно этой дорогой.

Однако «посылки» — разведка, получившая задание уточнить местонахождение вражеского войска, — принесли совершенно иные сведения: самозванец, оказывается, идет не Калужской, а Смоленской дорогой. И пока воеводы охраняют неизвестно от кого берега Незнайки, «рыцари» Лжедмитрия грабят поместья и вотчины служилых людей уже в районе Можайска.

Почему самозванец выбрал именно это направление на Москву, можно только предполагать. Возможно, его разведка сработала лучше и он предпочел обойти царское войско, не встречаясь с ним на дороге к Москве. Может быть, как считал С. Ф. Платонов, для польско-литовских войск Можайск был более привлекателен, потому что стоял на главной дороге от Москвы к Смоленску, по которой поляки ждали подкрепление. Могли их привлекать и не разоренные во время борьбы с Болотниковым, в отличие от калужского направления, земли ^[308].

Но в полках Скопина ошибка командующих вызвала негодование: «нача бытии шатость, хотяху царю Василью изменить». Имена изменников известны, их называет все тот же «Новый летописец»: это князья Иван Катырев, Юрий Трубецкой, Иван Троекуров и «иные с ними». Заметим, что автор летописца называет события на Незнани не мятежом и не восстанием, но *шатостью*. Вряд ли те, кто участвовал в открывшемся военном заговоре, внезапно поверили во вторичное чудесное спасение царя Дмитрия и заспешили в его войско. Шатость в войске наглядно показала, как велико уже было в тот момент недовольство действиями Василия Шуйского и его советников, прежде всего клана Шуйских.

Скопин-Шуйский и сам был раздосадован неудачно спланированными еще в Москве действиями и советами Дмитрия Шуйского о предполагаемом маршруте противника. Но еще большее его недовольство вызывало совершенно несвоевременное местничество воевод, которое и задержало выход войска из Москвы. А здесь еще и измена открылась...

Царь приказал «князь Михаилу же Васильевичу с ратными людьми...

идти к Москве, а тех, кои ему хотели изменить, на Москве пытал»^[309]. Военачальники приказы не обсуждают, они их исполняют, поэтому с заговорщиками командующий войском Скопин-Шуйский поступил по законам военного времени: они были арестованы, а ненадежное войско он отвел к стенам Москвы. Подозрительный по природе и любящий послушать доносчиков Василий Шуйский провел тщательное расследование, по результатам которого всех арестованных обвинили в измене и подвергли различным наказаниям: одних после пыток казнили, других посадили в тюрьму, третьих сослали в Сибирь, на Тотьму и в Нижний Новгород. Вряд ли Михаил одобрял действия царя Василия, он понимал, что расположение подданных жестокими казнями завоевать нельзя, — нужны военные успехи, а ими-то похвастаться царские воеводы пока и не могли.

Ходынская оплошность

Между тем войско самозванца, не встречая почти нигде серьезного сопротивления, захватило Борисов, Можайск и Звенигород; самоуверенные поляки уже видели себя хозяевами столицы и выбирали место для лагеря. Первоначально «второлживый Дмитрий» собирался стать в селе Тушино, что на Волоколамской дороге, между реками Москвой и Сходней. Однако частые нападения отрядов царского войска из Москвы заставили его перейти восточнее, к Ростокину, но и здесь воеводы не оставляли поляков в покое, оба войска опять «об Язузу травились»...

Наконец самозванец облюбовал для стоянки село Тайнинское у дороги в Троицкий монастырь. Выбирая северо-восток, он рассчитывал перекрыть дороги, по которым в столицу привозили продовольствие, — как видим, замысел самозванца мало чем отличался от плана Болотникова, также пытавшего «обсесть» дороги вокруг Москвы; вполне возможно, он и был подсказан «царику» кем-то из спасшихся болотниковцев. Но подобно тому как в 1606 году Скопин-Шуйский не дал мятежникам захватить Красное село и оседлать дороги на северо-востоке, не удался этот маневр и в 1608 году: «В Тонинском бысть от московских людей утеснение на дорогах, и начаша многих побивати и з запасы к нему не пропускаху. Он же видя над собою тесноту, поиде ис Тонинсково назад в Тушино»^[310].

Поляки вскоре увидели, какую они совершили ошибку, выбрав Тайнинское: теперь не они Москве, а им царское войско отрезало связь с Северной землей. «Думали мы москвитянам гостинцы (дороги) закрыть, а получилось наоборот: немало было поймано на этих гостинцах тех, кто шел к нам из Польши, и купцов, и иных людей», — горевал один из польских наемников^[311]. Конечно же в своей тактической ошибке поляки обвинили изменников: это-де они подсказали им неправильное место для лагеря. Найти виноватых оказалось легко, тем более что в войске действительно обнаружилась измена: пушкари забили гвоздями запалы пушек и попытались ночью перебежать в Москву, однако были схвачены и казнены.

Возвращаясь на прежнее место, поляки встретились у Тверской дороги с царским войском, здесь «бывшу бою с ними велик». От Тверской дороги «царик» отошел в Тушино «и начат тут табары строить». Предводители в войске самозванца — в основном поляки — поняли, что наскоком, как они первоначально предполагали, город не взять: и сил маловато, да и

решимость москвичей защищать свой город велика. Поэтому сидеть приготовились долго. Тушинский лагерь готовили основательно, с расчетом на «зимование»: ставили срубы, воздвигли хоромы для «царя», устроили рыночную площадь, на которую съезжались купцы с товарами, насыпали валы и возвели укрепления — словом, готовились к длительной осаде.

Жизнь наемника полностью зависит от выплаты ему жалованья. Тушинский вор, как с тех пор стали звать самозванца, обещал заплатить своему войску сполна, как только город будет взят. «Я хочу, чтобы все золото и серебро, сколько бы ни было его у меня, — чтобы все оно было вашим, — обещал он полякам. — Мне же довольно одной славы, которую вы мне принесете»^[312]. Так что «царик» под стенами Москвы высиживал славу и престол, а наемники — обещанное им щедрое жалованье.

Так летом 1608 года в России появились два правителя — «царик» Дмитрий и «полуцарь» Василий, две столицы — Москва и Тушино, а со временем — две Думы, и даже два патриарха — в Тушине им станет доставленный сюда под стражей митрополит Филарет — в миру Федор Романов. И «разделилось царство Русское надвое», — записал, скорбя сердцем, летописец. Каждый из царей набирал и свое собственное войско, но вот проблемы с поиском средств для оплаты наемникам, воевавшим в обоих лагерях, стали, похоже, одинаковыми, и ржа измены, уже привычная в эти дни, все настойчивее подтачивала оба лагеря.

Вскоре у «таборского», или «воровского», царя стали появляться перебежчики высокого ранга — князья, бояре и царские воеводы. Впрочем, нередко случалось, что, принеся клятву верности самозванцу в Тушине, изменник, не поладив там с гордыми шляхтичами, на другой день истово каялся и клялся служить верой и правдой царю Василию. Получив царское прощение и вознаграждение, он, забыв стыд и совесть, возвращался в Тушино. Таких ловкачей, снующих между двумя лагерями, москвичи прозвали «перелетами». Бывали случаи, когда члены одной семьи из-за обеденного стола разъезжались к разным царям с тем, чтобы в следующий раз вновь, как ни в чем не бывало, сойтись за общей трапезой.

И вновь, как и во время осады Москвы Болотниковым, подал свой голос патриарх Гермоген. Он неустанно призывал изменников одуматься. «Бывшим братьям нашим, а теперь не знаем, как и назвать вас, — так обращался он к тушинцам. — Потому что дела ваши в наш ум не вмешаются, уши наши никогда прежде о таких делах не слышали и в летописях мы ничего такого не читывали: кто этому не удивится, кто не восплачет?» В своих грамотах патриарх напоминал изменникам, что их

деды и отцы против завоевателей стояли твердо и врагов в Русское государство никогда не допускали: «Остановитесь, вразумитесь и возвратитесь. Вспомните, на кого вы поднимаете оружие: на Бога, создавшего вас, на братьев своих, отечество свое разоряете»^[313]. Но Смута, как никем не сеянный в огороде сорняк, вовремя не вырванный из земли, упорно разрасталась и цепко оплетала здоровые побеги, закрывала им свет и губила все живое. И, чтобы выполоть ее из государственного огорода, усилий одного патриарха было недостаточно.

Выбирать воевод для борьбы с самозванцем Василию Шуйскому теперь приходилось осторожно, памятуя о недавней измене в войске на Незнани. Молодой Скопин доказал свою преданность престолу, вовремя раскрыв заговор, и царь решил вновь назначить его командующим войском: «В большом полку бояре князь Михайло Васильевич Шуйской да Иван Никитич Романов»^[314]. Новый родственник Скопина, шурин Федор Васильевич Головин, командовал вместе с Иваном Борисовичем Черкасским сторожевым полком. Сам царь встал со своим полком у Ваганькова, «дворовым воеводой» у него был младший брат Иван Шуйский.

Войско под командованием Скопина, получив благословение патриарха Гермогена, в середине июня вышло из Москвы в направлении Тушина. С высоты Воробьевых гор, где до тех пор стояли дозорные, прекрасно просматривался город за Москвой-рекой, и воеводы издалека видели лагерь самозванца. Подошли к Ходынке и над рекой, всего в шести верстах от противника, поставили обоз. Командовал этой частью большого полка третий воевода — князь Василий Литвинов-Мосальский. Основное же войско встало ближе к Москве, у села Хорошева. Сил в тот момент у Василия Шуйского достаточно было для того, чтобы не только отразить нападение на Москву, но и отогнать самозванца к границам, откуда он начал свой поход. В царском войске были стрельцы, казаки «со вогненным боем и с пушками», служилые казанские и мещерские татары, чуваша, марийцы — все приготовились к бою и в любой момент ожидали команды. «Ратные ж люди стояху крепко, ни един с себя оружия никакова не скидоваху, и стражия быша крепкия»^[315].

Но Шуйский, как всегда, осторожничал и на всякий случай возобновил прерванные ранее переговоры с послами короля Сигизмунда III. Поляки прибыли в Москву, чтобы добиться освобождения всех задержанных после свержения Лжедмитрия I соотечественников и в первую очередь послов Н. Олесницкого и А. Гонсевского, приехавших в мае 1606 года на свадьбу

самозванца, а также семьи Мнишков. Теперь Василий Шуйский готов был не только освободить их, но даже дать им сопровождение до границы, — лишь бы они поскорее убралась восвояси, забрав с собой тех, кто примкнул к Лжедмитрию II. В обмен поляки обещали освободить пленных русских в Польше и, главное, публично поклясться, что «царик» — это вовсе «не прежний царь Дмитрий». Для Василия Шуйского, постоянно ощущавшего непрочность своей власти, их признание могло стать весомым аргументом в борьбе с самозванцем.

Насидевшиеся к тому времени в русском плену уже два года послы и Юрий Мнишек ради освобождения были готовы поклясться в чем угодно, потому легко согласились всенародно объявить москвичам, что Тушинский вор — самозванец. Но вот заставить поляков покинуть войско «царика» и вернуться в Польшу послы Сигизмунда III не смогли, да, похоже, особенно и не старались — они призывали наемников согласиться лишь для виду, на время, пока пленные достигнут границ России. Наемники уезжать и не собирались, для них не были приказами слова не то что послов, но самого короля — рыцари удачи, полюбившие рокоши, не особенно привыкли подчиняться королю даже в Польше, тем более — за ее пределами.

По мнению автора «Нового летописца», поляки вообще использовали переговоры лишь для того, чтобы отвлечь внимание царя и воевод от предстоящего сражения и внимательно рассмотреть позиции войска Шуйского: «Они же злодеи и приходиша не для послов, но розсматривати, как рать стоит на Ходынке, и быша на Москве и поидоша опять в Тушино мимо московских полков»^[316]. Судя по перечисленным в записках поляков подробностям расположения русского войска, автор «Нового летописца» вовсе не преувеличивал коварство противника.

Любопытно, что и поляки также считали, будто «московитяне хотели напасть на нас, пока мы были заняты переговорами, решив, что мы ни о чем не подозреваем»^[317]. Вряд ли в царском войске собирались нападать неожиданно, скорее наоборот, — надежда на успех переговоров вселила такое благодушие и беспечность в сердца воевод, что заставила их начисто забыть об осторожности. А вот войску самозванца, не имевшему численного превосходства, нужно было стараться побеждать изобретательностью и умением.

Переговоры подходили к концу. Накануне дня, когда должны были объявить о их результатах, в царском войске уже посчитали военные действия оконченными, потому «начаша ночи тое спати просто, и стражи пооплошахусь». Воспользовавшись тем, что вместе с часовыми уснула и

бдительность военачальников, и прежде всего главнокомандующего Скопина-Шуйского, гетман войска самозванца Роман Ружинский отдал приказ о нападении.

25 июня «перед утренею зарею, скрадом», переодетые в одежду московских воинов поляки направились к царскому войску. Как только они оказались у самого лагеря, раздался сигнал, и конница самозванца бросилась в атаку. Застигнутые врасплох пушкари все же попытались было зарядить пушки, но враг оказался настолько близко, что они лишь успели поджечь для остротки нападавших порох. С. Шаховской в своей «Летописной книге» очень красочно описал ходынскую битву: «Поляцы же... скачут по полком семо и овамо, и людей московских бесчисленно побивают и в шатрах богатство велие грабят... летают стрела по аеру яко молния, и блистаются сабельныя лучи аки лунныя светила»^[318].

Основной удар, судя по всему, пришелся на большой полк и полковую артиллерию. Часть большого полка, которой командовал Василий Литвинов-Мосальский, видимо, не поняв со сна, что происходит, бросилась бежать, сам воевода в первые же минуты боя по одним сведениям был захвачен в плен, по другим — добровольно «отъехал» к «царику». Тушинцы не преследовали бегущих только из-за собственной непомерной алчности: они обнаружили богатый обоз, брошенный царскими воинами, и имущество многочисленных купцов, приехавших со своими товарами к лагерю. «Едва ли не бóльшая часть нашего войска бросилась грабить обоз», — записал в своем дневнике один из поляков.

А что же командующий войском, боярин Скопин-Шуйский? Неужто и знания, почерпнутые из книг, и собственный опыт ничему его не научили? Нет, помнил Михаил Васильевич слова из «Устава»: «...а будет случится, что недруги побьют, доведется промыслом от людей к лесу или к иным крепям отходите, а будет люди свои поостановятся, и позберутся и укрепятся, а недрузи в те межи падутся забытошно над грабежом, и то дело надобное, что на недрузи в то время напустите»^[319].

Главное теперь было остановить людей и увлечь их за собой на врага. Именно это и проделали воеводы большого полка Михаил Скопин и Иван Романов, воспользовавшись тем, что преследователи потрошили возы и сбивали прикладами ружей замки с сундуков. Как бились ратники, которых повел за собой Скопин! Брали в копья растерявшихся поляков, били бердышами, секли саблями. Пешие сошлись в рукопашной, сотни наносили удары направо и налево страшными шестоперами. Золоченая ерихонка Скопина мелькала в самой гуще сражения, от удара сабли

погнулся его панцирь, но воевода будто и не замечал опасности.

Занятые грабежом поляки были застигнуты врасплох. Они явно не ожидали такой расторопности от воевод и не смогли вовремя дать отпор атакующим. Царское войско гнало тушинцев аж 15 верст, до самого их лагеря, да так успешно, что только переправившись через речку Химку, недавние победители смогли опомниться. «В таком страхе добежали мы до обоза», — признался в дневнике Н. Мархоцкий.

Известно: самый лучший учитель на поле боя — это умелый противник, он заставит долго помнить о допущенных ошибках и промахах, быстро научит не повторять их в будущем и делать выводы из них. Уроки калужского сидения явно пошли воеводе Скопину на пользу, он помнил, как вдвоем с Истомой Пашковым они остановили бегущих и тем самым сумели обеспечить отход основных сил. Сейчас же его полк хоть и бежал поначалу от внезапно напавшего врага, но заставил и поляков показать хребет.

Получил после Ходынки Михайло Васильевич и еще один урок: не стоит доверчиво относиться к обещаниям политиков, даже если они ведут переговоры о заключении мира. Тешивший себя надеждой на быстрое и бескровное завершение войны царь Василий в очередной раз продемонстрировал свою близорукость. Но и Скопин-Шуйский проявил не позволительные для командующего тысячным войском простоту и нерадение, которые обернулись невозвратными потерями. Что ж, 22-летнему воеводе Скопину еще предстояло обрести верное чутье в боях с опытным и ловким врагом, коим, безусловно, являлось польское воинство.

Пока поляки делили между собой награбленное из царского обоза, москвичи с плачем погребали своих близких, убитых на Ходынке. Погибших было так много, что в Москве даже не нашлось сразу столько гробов для погребения. Царь выделил средства, чтобы «с честью погребсти» воинов, погибших за «православную христианскую веру и за него, государя», а патриарх Гермоген отпел их ^[320].

Хоть и смогли царские воеводы отогнать противника от стен Москвы, но, похоже, Ходынка стала для Василия Шуйского пирровой победой. Именно после этого боя начали перебегать от него к самозванцу те, кто еще недавно служил ему верой и правдой: «учели с Москвы в Тушино отъезжати столники и стряпчие и дворяне московские и жильцы и городовые дворяне и дети боярские и подьячие и всякие люди» ^[321]. Царь, видя повальную измену, явно пал духом, что не могли не заметить в его окружении, и лишь патриарх Гермоген молитвой и беседой поддерживал

его, убеждая забыть уныние и малодушие, недопустимые для правителя в столь ответственный момент.

Далеко не все разделяли заботы патриарха, защищавшего неудачливого правителя. В феврале 1609 года в Москве была предпринята попытка свержения царя Василия с престола. На площади у Лобного места собралась толпа, и перед ней зачинщики мятежа зачитали грамоту, в которой обвиняли царя в самовольном избрании на престол, напрасном пролитии крови своих подданных и тайных пытках в застенках — «в воду сажает братию нашу дворян, и детей боярских, и жены их, и дети в тайне, и тех де побитых с две тысячи»^[322]. Зная, что патриарх неизменно поддерживал царя, инициаторы свержения, забыв стыд и совесть, ворвались в Успенский собор и прямо посреди богослужения потребовали от Гермогена, чтобы он отрекся от Шуйского. Повторялась история сведения патриарха Иова с престола. Озверевшие люди толкали в грудь восьмидесятилетнего старца, бросали песком и сором в лицо, дергали за облачение, стремясь напугать его и заставить действовать в своих интересах.

Подробности дальнейших событий мы узнаем от самого патриарха, о них он поведал в разосланном по городам послании. Патриарх не только устоял против злобы восставших, но опроверг все возводимые на Шуйского обвинения, потому что ни доказательств пыток и мучений, ни имен сажаемых в воду дворян и детей боярских мятежники назвать не сумели. Скопин-Шуйский слушал слова патриаршего послания уже в Новгороде: «А что вы говорите его для государя кровь льется и земля не умирится — и то делается волею Божию... Морове, и глади, и колебание земли было чего для? Тогда на царствующих не вставали и в том на них не порицали, а ныне язык нашествие, и междуусобныя брани, и кровем пролитие Божию же волею совершается, а не царя нашего хотением, рече бо Господь: „Едина от малых птиц не умрет без воли Отца Небесного“ (Мф. 10, 29)»^[323].

Итак, мятеж не удался, и благодаря стойкости и выдержке патриарха Шуйский остался на престоле. Как писал сам патриарх: «И те речи были у нас на Лобном месте, в субботу сырную, да и розъехались; иные в город, иные по домам поехали, потому что враждующим поборников не было и в совет их к ним не приставал никто; а которые и были немолодые люди — и оне им не потакали ж; и так совет их вскоре разрушился...» Мятеж, по словам Гермогена, «ударивша бо ся, яко волны о камень, и разсыпашася». А сам патриарх и предстал тем камнем, о который разбились волны уже не

один год штормящего российского моря.

...И, озлобленные боем,
Как на приступ роковой,
Снова волны лезут с воем
На гранит громадный твой.
Но, о камень неизменный
Бурный натиск преломив,
Вал отбрызнул сокрушенный,
И струится мутной пеной
Обессиленный порыв... [\[324\]](#)

Но военные неудачи все более колебали уверенность горожан и воинов в способности царя прогнать самозванца из страны. Если тот обосновался у стен столицы, что же ждет остальные города?..

«...И наполнилась чаша горечи полынной»

Пока события сосредоточивались вокруг Москвы, катастрофа еще не произошла: Москва — это не вся Россия. Пока жива провинция, есть на кого опереться. Как и прежде, города и земли посылали столице на помощь вооруженные отряды, продовольствие, порох. Но когда Тушинский вор начал рассылать по стране отряды «собирать дань», связь между городами и столицей прервалась.

Чтобы прокормить свое быстро растущее войско — а из Польши под Москву приходили всё новые отряды, — самозванец разрешил наемникам собирать дань с тех земель, которые присягнули ему, ну а с тех, которые еще не присягнули, — выбивать силой. Кто-то, приехав в Россию нищим, сколотил здесь за годы Смуты приличное состояние, а тот, кому посчастливилось вернуться на родину, еще долго с удовольствием вспоминал кампанию в России и мечтал о новой. «Это была удачная война», — признавались сами поляки ^[325].

Впрочем, наиболее дальновидные из наемников предупреждали рвение комиссаров самозванца: чрезмерными притеснениями можно настроить русских против себя и породить в стране недовольство «царем Дмитрием» и даже бунт против него. Но корысть и алчность «рыцарей удачи» трудно было направить в разумное русло, поэтому вскоре подтвердились самые худшие опасения прозорливцев: «Когда люди узнали, что надо платить такую дань, сборщиков перебили, утопили, замучили. Все заволжские края восстали...» ^[326]

Столицу в тот момент уже не воспринимали как сердце страны, всяк город стал промышлять сам о себе. Вот тогда-то приближение катастрофы почувствовали по всей стране: от Астрахани до Архангельска и от Ивангорода до Вятки. Войско перестало выполнять приказы царя, после проигранного в сентябре боя под Рахманцевом ратники самочинно разъезжались по домам. «А царь их Василей унимал, и оне не послушали, нашим де домам от литвы и от русских воров быть разоренным. Казанские и мещерские татаровя и чюваша и черемиса поехали по домам же» ^[327]. Ни уговоры, ни угрозы царя не помогли: если власть не способна защитить семьи служилых, пока они воюют, им придется делать это самим. Стремление любого человека защитить свой дом, особенно если ему угрожает опасность, естественно, но возобладание принципа: «мой дом —

моя крепость» рождает философию отчуждения, разобщенности, по сути ведет к распаду страны...

Скопин-Шуйский с горечью наблюдал, как разбегалось по городам и весям царское войско, как уже открыто отказывались воевать на стороне царя. Нет, на бунт никто не решался, помнили слова патриарха: «Кий ответ дадите Богу в день Страшного Суда Его?»^[328] Но и собрать войско, заставить его выйти в бой против самозванца тоже не представлялось возможным. Многие предпочли отсидеться дома и выждать, чем закончится противостояние царя и «царика».

Успехи тушинцев между тем красноречиво свидетельствовали о их нарастающей силе. Из Тушина один отряд ушел под Коломну воевать Рязанскую землю, другой отряд под командованием Сапеги и Лисовского был отправлен осаждать Троицкий монастырь. Монастырь привлекал тушинцев своим богатством и важным стратегическим положением; для России же Троицкая обитель была духовным оплотом, святым местом, где покоились мощи преподобного Сергия, поэтому так важно было отстоять монастырь, собрать военные силы, чтобы защитить его.

Пока защитники Троице-Сергиевого монастыря готовились к обороне, в Поволжье присягнули самозванцу татары. Первыми были касимовцы и шатчане, за ними последовали в ставку Тушинского вора темниковские татары, к концу года против Шуйского поднялись жители Алатырского, Цывильского, Свияжского, Чебоксарского уездов. Когда восстали Саратов и Арзамас, Нижнее и Среднее Поволжье объединились, и Федор Шереметев, который находился в Казани с войском, шедшим на помощь к Москве, оказался отрезанным от центральных районов.

Для государства наступил самый тяжелый момент с начала Смуты. Казалось, помощи ждать неоткуда, да и самому царю, фактически оставшемуся без войска, было не на кого опереться. В этой тяжелой, критической ситуации должен был появиться человек, который бы думал не о себе, а душой бы «заболел на общее дело», как написал историк И. Е. Забелин. Такой человек был необходим — и он появился: воеводу Михаила Скопина-Шуйского царь решил послать за военной помощью к шведам и назначить его командующим будущим войском.

Шведская помощь

Впервые предложение военной помощи пришло из Швеции, едва в России началась Смута. Воссевший на престол в марте 1607 года Карл IX только в течение одного года прислал Василию Шуйскому четыре грамоты с предложением дружбы и помощи.

В первом своем послании Карл в самых мрачных тонах описал намерения европейских держав в отношении России. За Польшей — старой противницей России и Швеции — стоят германский император и Рим, а Испания якобы уже готовит многочисленный флот, чтобы утвердиться в Балтийском море и затем вторгнуться в русские владения. «Королю известно, что папа со всею лигою и поляками поднимает на помощь себе разные народы, чтобы заводить всякие смуты и войны, завоевать всю Московию и привести ее в покорность и подданство себе»^[329]. В такой сложной ситуации царю остается только принять предложение короля, и он немедленно получит из Швеции военную помощь.

Конечно, никто в России не сомневался в истинности намерений шведского короля. Уполномоченным, посланным в Россию для переговоров о союзе с Швецией, король предписал свято блюсти прежде всего собственные интересы и требовать от русских уступки городов Орешек, Корела, Ям, Копорье и Ивангород. Послы также должны были настаивать на том, чтобы в Нарве русские купцы платили такие пошлины, какие назначат шведы. Словом, Карл хотел во что бы то ни стало ратифицировать Тявзинский договор 1595 года. В случае отказа России исполнить эти требования послам было приказано прибегнуть к угрозе заключения Швецией союза с Польшей. В одной из инструкций своим послам Карл писал: «Надо пользоваться временем смут в России, ибо пока между русскими нет единства, нетрудно составить себе там партию приверженцев и через нее действовать в свою пользу»^[330]. Вряд ли можно выразить яснее цель шведской политики в России. Поэтому хорошо понимавший эту цель Василий Шуйский предложение короля отклонил.

Когда до короля дошла весть о поражении царя под Калугой, он вновь предложил Шуйскому помощь и выразил готовность немедленно выслать несколько шведских отрядов в Выборг или Нарву. Но Василий Шуйский и на этот раз отклонил предложение Карла IX. Корельский воевода отвечал по поручению царя, что «у великого государя нашего многие рати собственные его государевы, а не сборные и не наемные, всегда готовы... А

что пишете о помощи, и я даю вам знать, что великому государю нашему помощи никакой ни от кого не надобно, против всех своих недругов стоять можем без вас, и просить помощи ни у кого не станет, кроме Бога»^[331].

Следующее настойчивое предложение короля последовало в сентябре, когда царь находился под Тулой. Шуйский вновь отказался от шведской помощи, в ответном послании он тщательно пытается скрыть тяжелое положение в стране: «И ныне во всех наших великих государствах смуты никакие нет, и всех наших великих государств люди служат нам, прироженному великому государю своему, с радостью. А то бывает и во всех великих государствах, что воры, тати, разбойники и душегубцы бегают и, избывая смертные казни, воруют, и над такими, по их злым делам, так и делают»^[332].

Но к лету 1608 года ситуация в России серьезно ухудшилась. В первых, тушинский лагерь получил неожиданную поддержку. После заключения перемирия с Речью Посполитой польские послы должны были выехать из России, увозя с собой семью Мнишков. По условиям договора Юрий Мнишек обязался Лжедмитрия II «зятем себе не называти, и дочери своей Марины за него не давати», но вместо Польши Мнишки, сбежав от сопровождавших их до границы царских провожатых, скоро оказались в лагере «царика». За 300 тысяч рублей и обещанную Северскую землю с четырнадцатью городами Юрий Мнишек признал в новом самозванце своего зятя и, не смущаясь, отдал ему в жены дочь. Положение самозванца в Тушине после его признания Мнишками, конечно, упрочилось.

Беда часто приходит не одна. Польский король Сигизмунд еще год назад заключил договор с Турцией, по которому крымский хан обязался оказывать военную помощь Речи Посполитой, то есть досаждать своими набегами России. И крымчаки свои обязательства сдержали: с лета 1607 года они непрерывно нападали на южные русские земли, поэтому к борьбе с самозванцем добавилась необходимость оборонять южные границы.

А между тем все больше городов переходило на сторону самозванца — одни добровольно, другие вынужденно. К осени 1608 года легче было назвать тех, кто еще стоял на стороне Шуйского: «Грех ради наших грады все Московского государства от Москвы отступиша. Немногие же грады стоя в твердости: Казань и Великий Новгород и Смоленск и Нижний, Переславль Рязанский, Коломна, царство Сибирское...»^[333]

В этой ситуации Василий Шуйский решился, наконец, принять шведскую помощь. Сделать это ему было совсем не просто: в окружении царя было немало противников такого решения. Патриарх Гермоген считал,

что звать шведов в Россию не следует, да и сам царь, как мы знаем, не один год отказывался от этого. Для совета он пригласил к себе Скопина-Шуйского. Автор «Летописной книги» князь С. И. Шаховской описал, как воевода полностью поддержал предложение царя: «...и призвав к себе (царь. — Н. П.) единокровного своего боярина разсмотрительного воеводу князя Михаила Васильевича Шуйскаго и поведает ему мысль свою. Той же Михайло совет царев хвалит и наипаче сему подтверждает бытии»^[334]. Одобряя решение царя, Скопин еще не представлял себе всю опасность, какую таила шведская помощь — призвать в страну наемное войско означало добровольно открыть ворота новой беде.

Наемники в ту эпоху играли большую роль в военных событиях Европы, особенно прославились на полях сражений швейцарцы, немецкие ландскнехты и рейтары. В наемники, как правило, шли обедневшие дворяне, сыновья бюргеров и крестьян, но случалось — бродяги и даже уголовные преступники. Война становилась профессией наемников, за нее они получали хорошие деньги и сражались, как правило, стойко и организовано. Высокая выучка, богатый боевой опыт, нередко презрение к жизни — своей и чужой — делали их серьезным противником для любой армии. Был у этих «псов войны» лишь один, но очень существенный недостаток: они сражались лишь до тех пор, пока им платили. Если же выплата жалованья задерживалась, то в лучшем случае они уходили из страны, в худшем — поворачивали оружие против своих недавних работодателей. Особенно страдало от них местное население: даже когда при взятии городов военачальники обещали сохранить жизнь населению, от наемников трудно было ожидать исполнения приказа. Желая пополнить свои карманы, они подвергали пыткам горожан, заставляли их рассказывать о спрятанных сокровищах, бесчинствовали в городах, не щадя никого.

Когда заканчивалась война, наемники снова превращались в страшную опасность для мирного населения. Правители многих европейских государств даже заключали специальные соглашения о мерах против безработных наемников. «Это скорее воришки, чем воины... союзы, с ними заключаемые, длятся лишь до тех пор, пока эти люди не найдут случая нарушить их», — писал о наемниках горячий поборник создания отрядов народной милиции Н. Макиавелли.

Во всем этом Михаилу Скопину еще предстояло убедиться, ведь не только для совета вызывал его царь. Именно ему Василий Шуйский решил поручить вести переговоры со шведами о найме войска, ему же поручалось и командование этой армией.

Чтобы выполнить царское поручение, Скопину предстояло из осажденной Москвы отправиться в Новгород. Почему именно в Новгород? Дело в том, что, по сложившейся традиции, все переговоры со Швецией велись не в Москве, а в Новгороде. Новгородские воеводы от имени великого князя и царя заключали договоры со шведами и даже скрепляли те договоры специально изготовленной в 1565 году для этих целей печатью ^[335].

Вот поэтому в августе 1608 года Михаил Скопин, попрощавшись с женой и матерью и получив благословение патриарха, отправился в трудное и опасное путешествие. Царь, как покажут дальнейшие события, всю организацию этого сложного предприятия полностью возложил на плечи молодого воеводы. Даже грамоты с государевой печатью, которая удостоверяла бы его право вести переговоры, Скопин с собой не вез: ему предстояло действовать на свой страх и риск. И здесь хитрый и лукавый нрав царя проявился в полную силу: если дело удастся — честь и хвала молодому воеводе, ну а нет — не обессудьте.

Глава шестая
НОВГОРОДСКИЙ НАМЕСТНИК И
ВОЕВОДА

Рысь пестра извону, а человеци лукави изнутри.

Древнерусский афоризм

Переговоры

Когда земля, устав от июльского зноя, отдыхала в тихом тепле начавшегося августа, уже возвещавшего зябкими утренниками о приближении осени, царский воевода Михаил Скопин покинул Москву. Путь его лежал на север, в Великий Новгород, куда он получил назначение быть воеводой «для ратного дела» и откуда должен был вести переговоры со шведами: «Того лета послал царь Василей в Новгород боярина князя Михаила Васильевича Шуйского, а с ним дворян для немецких людей, чтоб, их наняв, притить с ними к Москве»^[336].

Вместе с назначением Скопин был также пожалован титулом новгородского наместника. Наместнический титул был почетен; в то время его присваивали лишь боярам, а новгородское наместничество стояло вторым по значимости в списке наместников.

Какие же права получал князь и боярин Скопин вместе с этим титулом? Прежде всего, право вести переписку с иностранными государствами. Для новгородского наместника таковыми в первую очередь были Швеция и Польша^[337].

Молодой воевода выглядел немного грустным: перед глазами стояло заплаканное лицо молодой жены, которая никак не хотела отпускать его, опасаясь дальней дороги и предчувствуя долгую разлуку. Алена Петровна утешала плачущую Александру, вспоминала частые отлучки отца Михаила в военные походы и его наместничество в том же Новгороде: что ж, таков удел жен всех служилых людей — от рядовых стрельцов до воевод, — уметь ждать своих мужей.

Впрочем, грустил Михаил не долго. «Не век же мне сидеть подле жены», — уже мысленно заглядывая в Новгород, думал воевода. Дело ему царь поручил чрезвычайно важное и сложное: нужно было и со шведами договориться, и деньги для найма людей найти, и свое ополчение по городам созвать, и Новгородом управлять. Алена Петровна, не любившая Шуйских, а в особенности царя Василия и брата его Дмитрия, советовала Михаилу быть осторожнее: не нравилось ей это поручение — не иначе задумал что старый лис. «Почему он не послал в Новгород своего брата Дмитрия или Ивана? Почему не дал с собой Михаилу никаких грамот?» — говорила она. Конечно, времена опасные, по дороге их перехватить могут, тут грамоты только повредят Михаилу. Но если грамот нет, то вся ответственность ложится на Михаила, не отопрется ли потом царь Василий

в случае чего от своих слов?

Сам Михаил об осторожности думал мало, больше горел будущим делом и гордился поручением, которое позволяло ему отличиться: ведь не каждому в его годы предстояло стать и дипломатом, и администратором, и хозяйственником, и полководцем одновременно. О таком деле можно было только мечтать, — не один воевода позавидовал бы ему, узнав, за чем Скопин направлялся на север. Если ему удастся договориться со шведами и набрать наемников, да своих разбежавшихся служилых людей по городам собрать, — там можно будет и походом на Тушино идти, и выполнить то, что пока не удалось никому, — пленить самозванца.

Самые честолюбивые мысли одна за другой рождались в голове молодого воеводы, порой рисовались ему и такие картины: будто он на белом аргамаке, под звон колоколов всей Москвы въезжает впереди войска в стольный град, где народ встречает его хлебом-солью и величает «спасителем Отечества». Сам царь со слезами на глазах благодарит его, а патриарх служит в Успенском соборе благодарственный молебен. Вот он уже стоит посреди храма, рядом Александра Васильевна в нарядной шубе и кокошнике, улыбается радостно, а мать Алена Петровна кладет поклон за поклоном, благодарит Бога за избавление столицы от самозванца и возвращение живым и невредимым сына Михаила. Что и говорить, в чьей голове не зародились бы подобные мысли, особенно если носителю той головы всего 20 лет от роду?.. Перед отъездом все семейство Скопиных отстояло молебен, Михаил взял благословение патриарха Гермогена, по его совету приложился к чудотворному списку Казанской иконы Божией Матери.

А между тем отряды самозванца уже промышляли под Ростовом и Суздалем. Нечего было и думать проехать в Новгород по Тверской или Смоленской дорогам, блокированным войсками самозванца, как и дороги на Калугу и Тулу. Пришлось ехать кружным путем, по Стромьинской дороге. Еще раньше, в июне, по ней отправились из Москвы приказной человек Евстратий Стефанов и переводчик Григорий Крапольский из Посольского приказа с царскими посланиями «на собрания воинского чина» людей, способных отогнать тушинского «царика» от столицы. Грамоты предназначались жителям Переславля-Залесского, Ростова, Ярославля, Костромы и Галича. Выехав из Москвы по Стромьинке, они двигались «окольными дорогами — Владимирской на Киржацкий Ям, к Александровой слободе» и затем пешком в Переславль-Залесский ^[338].

Этим же путем решил ехать и Михаил Васильевич со своим

немногочисленным отрядом: «Царь же Василей, видя то, что многие ратные люди с Москвы разъехались по домам и помочи ждать не от ково и посла племянника своего, князя Михаила Васильевича Шуйсково Скопина в Великий Новгород, а с ним отпустил немногих людей на помочь»^[339]. А многих и взять было неоткуда — еще после Ходынки ратные люди начали разъезжаться по домам, провоевав с тушинцами все лето 1608 года: «Помалу же войско цареве нача оскудевати и разыдошася кождо восвояси»^[340].

Отряд, выехавший с воеводой Скопиным, насчитывал всего 200 конных и 200 пеших, набранных в костромской волости. Вооружены ратники были плохо: луки со стрелами, рогатины, редко у кого самопалы и сабли. Пехота выглядела и того хуже — «крестьяне оборванные, в лаптях, даже не имели жалкого топора, кроме палок с гвоздем на конце». Таким увидел воинов Скопина поляк С. Немоевский, возвращавшийся той же дорогой на родину. Встретились они 11 (21) августа в Переславле, откуда Скопин, по словам Немоевского, направлялся «к Новгороду Великому, защищать его от воров»^[341]. Видимо, слухи об истинной цели поездки Скопина в Новгород до поляков еще не дошли, иначе живо интересующийся всем происходящим в России Немоевский знал бы о ней. Вооружение и внешний вид отряда, приданного Скопину, красноречиво свидетельствовали о плачевном состоянии войска Василия Шуйского в тот момент.

Вместе со Скопиным ехал опытный дипломат, дворцовый дьяк Сыдавной Васильев, с которым Скопин был знаком еще с Ходынского сражения: царь поручил дьяку вести переговоры со шведами. Сопровождал Скопина также его шурин — Семен Васильевич Головин. В то время стольник и воевода, он был старшим из двух сыновей боярина Василия Петровича Головина от брака с Ульяной Сабуровой. По всему видно, между ним и Скопиным сложились доверительные и дружеские отношения, что особенно проявится в заботе Скопина о своем шурине в Новгороде. Остальных воевод — из тех, на кого можно было положиться, — выбирал уже шурин Михаила: дворян Корнилу Чеглокова, Семена Коробьина, Якова Дашкова и других^[342]. Семену Головину также предстояло из Новгорода ехать в Швецию для переговоров о найме людей в войско.

Первым воеводой в Новгороде был престарелый боярин Андрей Петрович Куракин, отправленный на воеводство еще при царе Федоре Ивановиче, вторым воеводой — присланный Василием Шуйским в ноябре 1606 года Михаил Игнатьевич Татищев. Дьяками при них состояли Ефим

Телепнев и Иван Тимофеев^[343].

Скопины были хорошо знакомы с семейством Татищевых: когда Василий Скопин-Шуйский был первым воеводой в Новгороде, Игнатий Татищев вел переговоры с Делагарди на устье Плюсы, позже оба участвовали в Шведском походе 1590 года, в 1591 году вместе воеводствовали в Новгороде, а в 1593 году судили во Владимирском Судном приказе. Род Татищевых принадлежал к числу «честных», но не «больших». Игнатий Петрович Татищев выдвинулся из рядовых детей боярских при Годунове, получив назначение быть казначеем большой государевой казны. Поднимался в чинах и его сын Михаил, к которому Годунов выказывал особое расположение. В 1591 году Михаил сопровождал отца в Польшу в качестве дворянина посольства, в 1596-м получил чин ясельничего, а в 1598-м поставил свою подпись в грамоте об избрании на царство Бориса Годунова^[344]. Человеком он был, по отзывам людей его хорошо знавших, неглупым, начитанным или, как тогда говорили, «книжным». С собой всегда возил Псалтирь, читал Шестоднев, даже редко по тем временам у кого бывшую Космографию^[345], — его любовь к чтению уже заранее расположила к нему Скопина. К тому же Скопин был наслышан о важных дипломатических поручениях, которые выполнял Татищев. В 1599 году он, уже думный дворянин и наместник Можайский, отправился послом в Польшу с извещением о кончине царя Федора и воцарении Бориса. В 1599 и 1602 годах Годунов поручал ему встречать женихов своей дочери Ксении — шведского принца Густава и датского Иоанна. Видимо, в знак особого расположения в том же 1602 году он был пожалован бывшей вотчиной опального князя Михаила Воротынского в Московском уезде (150 четвертей)^[346]. В 1604 году царь отправил думного дворянина Михаила Татищева с миссией на далекий Кавказ к царю Кахетии Александру. Послу предстояло нелегкое дело: не оказывая военной помощи Кахетии против мусульман, добиться, чтобы Александр по-прежнему признавал себя слугой московского государя. И не вина Татищева, что Александр неожиданно был убит родным сыном, принявшим ислам, — с дипломатическим поручением Татищев вполне справился^[347]. Там же, в Грузии, Татищев узнал о смерти Годунова и воцарении Лжедмитрия. Михаил Татищев был любимцем царя Бориса, поэтому никакого расположения к самозванцу он не испытывал.

Все это не случайно вспомнил Скопин по дороге в Новгород. Богатый жизненный опыт Татищева и его познания дипломата вполне могли

пригодиться в предстоящих непростых переговорах со шведами.

К концу августа, наконец, благополучно добрались до Новгорода. В то время население Новгорода насчитывало около тридцати тысяч человек. В основном это были ремесленники, служивые и торговые люди. Новгородцы встретили Скопина, как написал летописец, «с великою радостью и честью»^[348]. Еще бы, Новгород был местом службы многих Шуйских, в городе хорошо помнили отца Михаила — знаменитого защитника Пскова, воеводу Василия Федоровича Скопина-Шуйского. Едва прибыли в Новгород, Скопин начал «рать строить»: не мешкая, он отправил гонцов с письмами к шведским комендантам Выборга и Нарвы и главнокомандующему шведских войск в Ливонии. Сохранилось одно из этих посланий Скопина, отправленное им 21 августа 1608 года к нарвскому коменданту Филиппу Шедингу.

Начинается оно напоминанием о прежних посланиях шведского короля к Василию Шуйскому: «Писал многожда к царскому величеству к великому государю нашему, царю и великому князю Василию Ивановичи) всеа Русии государь ваш Карлус король, оказуючи любов свою к нему великому государю и всему Московскому государству, а хотел помогати от польских и литовских людей и от воров от северских людей...»^[349] Сейчас как раз настал такой момент, пишет Скопин, когда царь Василий «хочет быти с Карлусом королем в вечном миру и в соединенье и на всех недругов стояти за один». Для этого царь и прислал в Новгород его, боярина и воеводу, просить «Ругодивского державца Филиппа Скедина» как можно скорее «собрата ратных людей тысячу человек конных и прислати их тотчас ко мне в Великий Новгород».

От имени царя Скопин обещает обеспечить им «корм» по дороге из Нарвы в Новгород, а по окончании службы — «что месяцев заслужат, и государь пожалует их великим своим жалованьем». Царский воевода подчеркивает: выполнив просьбу царя Василия, шведский король сможет тем «истинную и крепкую дружбу на век показата», о чем он, король, неоднократно писал в Россию. А царь, в свою очередь, берет на себя обязательство помочь шведскому королю «своими царскими ратьми, где будет надобно вам» на тех же условиях. По поручению царя Скопин также сообщает, что Россия готова и впредь соблюдать договор, подписанный со Швецией при царе Федоре Ивановиче в 1595 году в Тявзине. Заканчивается письмо припиской уже от лица самого Скопина, который настоятельно просит нарвского коменданта: «Единолично бы тебе собрата вскоре ратных людей и ко мне в Великий Новгород прислати». О деньгах и корме пусть не

беспокоятся — «тотчас будет готов».

Письмо в Нарву интересно сразу по нескольким причинам: во-первых, перед нами один из немногих сохранившихся документов, написанных лично Скопиным, — точнее переводчиком под диктовку Скопина. В письме хорошо видно желание воеводы как можно скорее получить шведскую военную помощь, и думается, не только стремлением выполнить царское поручение можно объяснить настойчивый тон его послания. В Москве Михаил насмотрелся на «оскудевание» царского войска и отъезд служилых людей по домам, их очевидную неохоту воевать за царя Василия. К тому же как человек, уже имевший военный опыт, Скопин понимал, каким должно быть войско, способное разбить тушинцев.

Тысяча конных из Нарвы, да еще тысяча из Выборга, да пехотинцы, которых пришлет Карл, — это хорошая основа будущего войска, с которым можно начинать воевать против самозванца. Если удастся выиграть хотя бы один бой против отрядов «царика», будет легче собирать и своих служилых людей по городам, а там и на выручку осажденной Москвы можно будет идти.

Второй важный момент послания — это условия предоставляемой шведами помощи. Поскольку сохранился лишь текст окончательного договора, подписанного в 1609 году в Выборге, а условий предварительных соглашений нет, то письмо Скопина в Нарву дает возможность проследить некоторые эпизоды истории заключения договора. Итак, первоначальные условия договора явно выглядят как обоюдовыгодная сделка: у России и Швеции есть общий враг — это Речь Посполитая, с которой шведы воюют в Лифляндии с переменным успехом вот уже восемь лет. В Россию хитрые поляки, как писал шведский король, засылают одного самозванца за другим, надеясь подорвать основы государства изнутри, о чем шведский король не единожды «с любовью» предупреждал своего «брата» в России. Поэтому союз Швеции и России против Польши, по мнению шведов, взаимовыгоден и непременно должен быть заключен. Сегодня шведы оказывают помощь России — а завтра Россия, в случае необходимости, ответит тем же.

Конечно, и сам Василий Шуйский, и его близкое окружение, и воевода Скопин прекрасно понимали, что за «дружескую» шведскую помощь нужно будет расплачиваться не одними деньгами. Три послания короля Карла IX в Россию только за первую половину 1608 года показывают его упорное желание добиться не мытьем, так катаньем ратификации Тязвинского договора, далеко не все статьи которого отвечали интересам России. Поэтому в письме Скопина четко обозначена позиция России —

жить со Швецией «в дружбе и в вечном миру и на век неподвижно по прежним записям». Однако в послании ничего не говорится о наиболее выгодной для шведов и совершенно не приемлемой для России 2-й статье договора: лишении русских городов права быть свободными для купцов всех государств, при сохранении этого права только за Выборгом и Ревелем. Ничего не говорится в документе и о программе-максимум внешней политики Швеции, а именно о желании отторгнуть от России все принадлежащие ей города Ливонии, а также Ивангород, Ям, Копорье и Корелу с уездом. И первое условие союза, и второе будут выдвинуты шведами позже, на последующих переговорах, к чему Василий Шуйский и Скопин, безусловно, были готовы и что они уже заранее, перед отъездом Скопина, обсуждали в Москве.

Судя по дальнейшим событиям, в Москве было решено отдать шведам, если они будут того требовать, города Ливонии, которые к тому времени по большей части уже захватили поляки. Следующим возможным шагом была уступка города Корелы с уездом и даже, как указывает шведский историк Юхан Видекинд, города Нотебурга (Орешка)^[350]. Однако, по замечанию того же историка, русскими «редко что-либо уступается без долгого торга», и возможный переход Корелы шведам — долгая история.

Корела, или Кексгольм, как называли этот русский город шведы (ныне город Приозерск), был потерян Россией в 1580 году во время Ливонской войны и затем возвращен при Федоре Ивановиче в 1597 году. Летописец так описал историю приобретения и потери Корелы: «Лета 7089-го взяли немцы Корелу при царе Иване Васильевиче. А у немец взял царь и великий князь Федор Иванович без крови 106-го, а было за немцы 17 лет. А сто девятогонадесь отдал им опять царь Василей Шуйской за то, что оне отогнали от Москвы панов и русских воров с князем Михаилом Васильевичем Шуйским»^[351].

Приобретение Корелы не давало шведам возможности, как они того добивались, полностью блокировать балтийскую торговлю России. Однако обладание стратегически важным Карельским перешейком позволяло им в дальнейшем начать экспансию на северо-восток и восток страны^[352].

В уезде проживало в основном православное население, в самом городе действовало в то время шесть православных храмов и четыре монастыря, которые за 17 лет пребывания за шведами неоднократно ими грабились и разрушались. Местные жители натерпелись лиха за годы шведской оккупации и вовсе не жаждали ее повторения. Но сложившаяся в России ситуация двоевластия, а точнее, *двоебезвластия*, требовала от

Шуйского жертв, и он предпочел пожертвовать частью, лишь бы не лишиться целого.

Похоже, его позицию разделял и Скопин, поскольку на будущих переговорах со шведами в Новгороде, настаивая на скорейшей присылке наемного войска, он скажет от лица царя: «Пограничные города... не имеют для великого князя того значения, какое имеет главная задача, решаемая под Москвой: ведь в первом случае города, узнав хотя бы о единственной удачной битве... легко вернутся к покорности князю, тогда как во втором — борьба идет за благополучие и славу государства»^[353]. Заметим, что вовсе не славой и прочностью престола своего родственника Шуйского был озабочен молодой воевода, но благополучием государства в целом.

Конечно, утрата территорий, на которых проживало русское православное население, и переход их под власть протестантской Швеции были тяжелой потерей для России. Условия передачи Корелы будут оговорены отдельно, особым приложением к договору, в котором будет прописан и переезд самих жителей, и вывоз церковного имущества. Однако после подписания договора жители Корелы вовсе не захотят выполнять эти условия, а в ситуации гражданской войны, охватившей большую часть городов России, контролировать соблюдение подобного условия вообще будет невозможно. Наемники нужны сегодня, рассуждали Шуйские, без них с тушинцами не справиться, ну а завтра может случиться что угодно. Возможно, именно на такой исход рассчитывали и Скопин, и царь Василий Шуйский, решая судьбу Корелы.

Из Новгорода Скопин часто писал комендантам городов Выборга Арвиду Тённессону и Нарвы Филиппу Шедингу, настойчиво убеждал их «не верить сторонникам ожившего обманщика», а те в свою очередь посылали ему «прелестные» письма, которые они получали из Тушина. Скопин убеждал шведов в своих посланиях, что поляки и казаки поддерживают самозванца вовсе не потому, что он природный государь, а из желания захватить власть в стране, и предупреждал их, что, покорив Россию, «поляки соединенными силами обратятся на Швецию»^[354].

В ноябре 1608 года в Новгород для переговоров со Скопиным приехали представители шведского короля Карла. По сведениям шведов, это были комендант Нарвы Филипп Шединг и посольский секретарь Мартин Мортенсон. Условия найма войска уже обсуждались ими ранее, Скопин и коменданты Нарвы и Выборга неоднократно обменивались письмами, поэтому договорились быстро. Шведы обещали прислать в

Новгород как можно скорее отряд в пять тысяч человек — две тысячи конных и три тысячи пехотинцев. Коннице Скопин обязался платить 50 тысяч талеров ежемесячно, пехоте — 36 тысяч, большим воеводам, или, как называли их шведы, генералам, — пять тысяч талеров, остальным офицерам по четыре тысячи талеров ежемесячно ^[355].

Шведский король Карл часто собирал наемников со всей Европы для службы в своем войске, приезжали к нему «рыцари удачи» из Шотландии, Франции, Дании, Англии. В то время у него находилось на службе несколько тысяч наемников, которые размещались в Швеции, Ливонии и Финляндии. Их-то Карл и собирался послать в Россию на помощь Шуйскому. Нанятые за деньги воины нередко изменяли Карлу и во время боевых действий переходили на сторону поляков. Скопин прекрасно знал об этом, но выбирать не приходилось. Свое собственное войско с трудом обороняло даже Новгород, что уж говорить об освобождении Москвы и изгнании самозванца из Тушина! По словам Ю. Видекинда, Новгород в те осенние дни устоял в схватках с тушинцами лишь благодаря присутствию в нем Скопина: «Новгород, при колеблющемся духе горожан, с трудом оборонял против 2 тысяч степных казаков племянник великого князя, князь Михаил Васильевич Шуйский» ^[356].

Договор записали по всем правилам на двух языках ^[357] и поклялись соблюдать его: Михаил Скопин, целовав крест, Мортенсон, положив руку на Евангелие. Между тем соглашение нуждалось еще в официальном утверждении обеими сторонами; с этой целью договорились съехаться делегациям в Выборге. Скопин торопил шведов, потому что понимал: чем позже подпишут соглашение, тем хуже будет ситуация в стране и, значит, тяжелее условия договора. А шведы по той же причине не стремились к скорейшему его утверждению, тянули время, ссылаясь на то, что главные лица шведской делегации еще не прибыли. Михаил видел: каждый упущенный день работает на самозванца, сторонники которого открыто разъезжали по Новгороду и Пскову, подбивая людей на мятеж.

Мятеж во Пскове

Весть о том, что царский племянник послан в Новгород для набора наемников в Швеции, довольно быстро разлетелась по городам. Михаил Скопин отправил из Новгорода в Псков грамоту^[358], в которой рассказывал о поручении царя собрать наемное войско и идти освобождать Москву от самозванца. Но особенной радости от этой вести в пограничных северо-западных областях никто не испытывал, напротив — Псков, который издавна противостоял натиску с севера, не раз подвергался шведским нападениям и осадам, от появления головорезов, собранных по всей Европы, ничего хорошего для себя не видел.

Тушинские власти решили сыграть на нежелании пограничных городов видеть у себя «немцев». С целью привлечь жителей Пскова на свою сторону из тушинского табора в псковские пригороды с посланиями был отправлен воевода Лжедмитрия II Федор Плещеев. Из двух зол — Василия Шуйского, который пригласил «немцев» в Россию, и «царя Дмитрия» с его наполовину польским войском — жители окрестностей Пскова выбрали последнего. Себеж, Опочка, Красный остров, Изборск еще летом присягнули самозванцу. Целовали крест и клялись ему в верности и жители Копорья, Ивангорода, Орешка — тех самых городов, на которые претендовали шведы. В сентябре присягнул Лжедмитрию и Псков.

Заинтересованность тушинцев в том, чтобы именно Псков перешел на сторону самозванца, имела очень веские причины. Псков был одним из трех городов, где располагались государевы денежные дворы, которые получали заказы на чеканку монет из казенного серебра; два других двора находились в Москве и Новгороде. Наблюдал за работой денежных дворов и контролировал ее Денежный приказ в Москве. Пошлины, которыми облагалась тогда внешняя торговля, взимались западноевропейскими монетами — «ефимками», как именовали в России талеры. «Ефимочную казну» привозили в Москву, в Денежный приказ, и распределяли ее там между денежными дворами. В Приказе строго следили, чтобы чеканившиеся из «ефимков» русские серебряные копейки, денги и полушки соответствовали по рисункам, надписям, а главное, по весу установленным казной образцам.

Еще со времен первого самозванца на монетных дворах сохранились штемпеля с именем царя Дмитрия. И едва Псков перешел на сторону Лжедмитрия II, как там тотчас же началась для него чеканка монет.

Необходимое для этих целей серебро поступало теперь уже не из Москвы, а непосредственно из пограничных торговых городов — Яма, Ивангорода и Копорья. Интересно наблюдение нумизматов относительно веса этих новых монет. Они чеканились значительно тяжелее государевых: если «прямые» монеты весили 0,68 грамма, то псковские копейки 1608 года — 0,72 грамма. Неудивительно, что копейки бóльшего веса стали пользоваться повышенным спросом среди населения. Так самозванец добивался своей популярности и политическими, и экономическими способами ^[359].

А что же Василий Шуйский? Утрата им северо-западных городов, через которые в Москву поступало серебро, необходимость найти деньги для найма «немецких людей», выплата жалованья своим служилым людям — все это заставляло царя изыскивать способ, чтобы справиться с финансовыми трудностями. В Москве нашли средство, к которому нередко прибегали многие правители в периоды финансовых затруднений, — в этом Василий Шуйский не был оригинальным: начали «портить» монету. Если в хорошие времена из одного «ефимка»-талера весом около 29 граммов чеканили 38 копеек, то в беспокойном 1608 году из того же талера изготавливали уже 40 копеек. «Порченые» монеты внешне мало отличались от «прямых», только сборщики податей и таможенных сборов могли их отличить на глаз. «Порча» монет казной, конечно, была временной мерой, к тому же серьезных доходов она принести не могла. Поэтому, как предполагают некоторые исследователи, Василий Шуйский прибег к другому средству, которое в итоге и вызвало взрыв негодования в Пскове.

Конфликт среди горожан Пскова, о чем говорят многие историки, зародился задолго до сентября 1608 года ^[360]. Едва в стране начались неурядицы, царь разослал по городам грамоты с просьбой прислать денег займы — «кто сколько может». Займы казны не были редкостью и в более благополучные годы, что уж говорить о событиях 1607 года. Обычно деньги казне в долг присылали богатые купцы, «лучшие люди» в городах, монастыри. Однако в Пскове в тот раз поступили иначе: общую сумму разложили на всех горожан, в том числе «меньших» людей, при этом не пощадили даже «бедных вдовиц».

Возмущенные такой несправедливостью «меньшие» люди решили пожаловаться царю и отправили гонцов в Москву. Но «большие и лучшие» псковичи оказались ловчее и опередили тех, кто вместе с деньгами вез в Москву челобитную царю, и донесли на них как на «не желавших добра» государю. Шуйский легко поверил доносу, особенно после того, как

увидел, что из богатого Пскова привезли всего 900 рублей, и бросил жалобщиков в тюрьму. Спасла «меньших» людей от смерти только защита находившихся в Москве псковских стрельцов.

Когда в Псков дошла весть о случившемся, псковский мир возмутился, и воевода Петр Шереметев, стоявший заодно с «большими и лучшими», был вынужден провести дознание. Результатом его стал арест «ушников», донесших царю неправду. Виновные были наказаны, справедливость восторжествовала, и страсти утихли. Но, как показали дальнейшие события, лишь на время: происшествие 1607 года стало прологом к драме, разыгравшейся в городе в 1608 году.

Причину истинного недовольства псковичей следует искать не в извечном противостоянии «больших» и «меньших» людей в городе — это не было новостью; взрыв негодования могло вызвать тайное получение некими «большими» людьми права на денежный откуп. Денежные откупа — то есть право чеканить монету — с XV века стали государственной монополией и с тех пор властью не возрождались. Однако в тяжелый момент своего правления — а оно с самого начала было нелегким — Василий Шуйский решил вернуться к откупам, чтобы пополнить истощившуюся казну. Доказательство этого предположения некоторые исследователи склонны видеть в большом количестве копеек, отчеканенных в 1608–1609 годах, которые и по внешнему виду, и по весу (около 0,55–0,58 грамма) существенно отличались от нормальных. Прекрасное качество исполнения, огромное число «худых» монет, продолжительная их чеканка — все это позволяет предположить, что фальшивомонетчиками в данной ситуации выступили откупщики, действовавшие с ведома царя. Организована эта чеканка, конечно же в обход денежных дворов, могла быть в двух городах — Москве и Пскове.

Царь имел давние и тесные связи с богатыми купцами, порадевшими ему еще при организации заговора против Лжедмитрия I. В благодарность за это он не раз жаловал торговых людей разных городов привилегиями. Так что существование тайной договоренности Шуйского с купцами о денежных откупах в обход Денежного приказа вполне могло быть, и потому псковские «большие» люди вместе с воеводой Шереметевым так самоуверенно вели себя в городе. А обнаружение этих самых «откупных», сильно полегчавших копеек и вызвало негодование в Пскове.

Когда в Пскове начали присягать самозванцу, далеко не все псковичи поддержали этот выбор. Псковский мир раскололся, в городе началось волнение. Псковский епископ Геннадий пытался образумить «прельстившихся малодушных», звал одуматься и не присягать самозванцу,

вспомнить послания патриарха Гермогена. Но псковичи не желали слушать епископа, и владыка Геннадий, болея за свою паству, вскоре скончался, по словам летописца, «от кручины». Пытались унять начавшееся в городе волнение и воеводы, но они так же «не могоща увещати» толпу.

События в городе развивались стремительно. В середине августа только появились «смутные грамоты от вора из-под Москвы», а уже в конце месяца возмутившиеся горожане схватили «лучших людей» и купцов и побросали их в темницы. Отчаявшиеся воеводы послали за подмогой в соседний Новгород — «дабы прислали рати в помощь во Псков»^[361]. В Новгород в этот момент прибывает Скопин. Получив просьбу о помощи, он тотчас послал в Псков отряд. Однако в самом отряде, набранном из детей боярских и казаков, произошел раскол, и часть его вернулась в Новгород^[362]. Волнение в Пскове к тому времени зашло уже слишком далеко. Двух лагерей, подобных Москве и Тушину, здесь не было, зато возникло вполне соответствующее духу Смуты желание, как писал Иван Тимофеев, «жить без всякого начальства и устроения, по-разбойничьи, самовластно». Одни в городе стояли за присягу самозванцу, другие пожелали остаться верными Шуйскому, но большинство ожидало только одного: чтобы в городе, наконец, прекратилось волнение и можно было бы жить, как раньше.

Однако, похоже, именно сохранение спокойствия и возвращение жизни в прежнее русло не входило в планы городских смутьянов. Как написал автор «Псковской летописной повести о смутном времени», неким «врагом креста Христова» был намеренно пущен слух о том, что наемники уже находятся в России, они покинули Ивангород и со дня на день будут во Пскове. Кто-то очень точно рассчитал момент для распространения ложной информации: и без того бурлящий город, получив это известие, буквально взорвался изнутри. Воевода Петр Шереметев, близкий Василию Шуйскому, и дьяк Грамотин были брошены в тюрьму. Оба своими действиями давно снискали себе славу притеснителей «меньших» людей в городе. До поры до времени те терпели и наблюдали, как воевода с дьяком присваивали себе дворцовые земли, обкладывали незаконными поборами псковичей и жителей псковских пригородов, строили тюрьмы, в которые бросали недовольных псковской властью. Теперь же властям предстояло на себе опробовать ими же отстроенные тюрьмы: 1 сентября 1608 года «возмутишася вси и похваташа воевод, всадиша в темницу, а сами послаша по воровского воеводу, по Федку Плещеева, и целоваша крест вору ложно...»^[363].

Дальнейшие события во Пскове, который начал жить «по своей воле», мало отличались от того, что происходило в других городах во времена Болотникова. Федор Плещеев, став псковским воеводой, первым делом выпустил из тюрем томившихся там повстанцев Болотникова, привезенных из Тулы^[364]. Петр Шереметев был удушен в темнице, судьбу тульского дворянина Фуникова разделили многие псковичи. В городе, по словам летописца, «в своей воли возбесневше, и лихоимством разгорешася на чужде имение»^[365]. Грабеж и чинимое в городе насилие усугубились после пожара, случившегося в мае 1609 года, когда выгорела большая часть города. От жара взорвался порох на складах в Кремле, сильно повредив и сам Кремль. Обвинив во всем бояр и купцов, «окаяннии мятежницы» начали грабить богатые дома в городе^[366].

Мятеж в Новгороде

Поднявшаяся в Пскове волна возмущения оказалась столь мощной, что захлестнула и соседний Новгород. Чеканили в самом Новгороде или нет «откупные» копейки, неизвестно, но развернувшиеся на берегах Волхова события очень напоминали только что произошедшие на стрелке рек Псковы и Великой.

...Как, любя своего героя и радуясь его достижениям и победам, описать мало красящий его и, может быть, даже жестокий, бесчеловечный поступок, совершенный им? Сослаться на человеческую слабость, коей не лишен ни один, пусть даже и самый сильный, человек? Или сыскать извиняющие его причины, скрытые пружины, приведшие в действие механизм его поступка? Поступка, в результате которого погиб человек.

Случившиеся в Новгороде осенью 1608 года события привлекали внимание многих историков и писателей, по-разному объяснявших причины происшедшей на берегах Волхова трагедии. Жалость, милосердие, сострадание к ближнему — вряд ли эти христианские качества были востребованы в эпоху Смуты. Но ведь в других ситуациях Скопин проявит именно эти качества, чем и заслужит внимание современников. Почему же в Новгороде мы видим его другим? Но другим ли? Может быть, он и там оставался самим собой? Постараемся разобраться в произошедших осенью 1608 года в Новгороде событиях, в которых судьба столкнула Михаила Татищева и Михаила Скопина.

На воеводство в Новгород Татищева отправил Василий Шуйский. Пока царствовал Борис Годунов, его любимец Михаил Татищев, «угождая любителю власти», нередко наносил обиды Василию Шуйскому, «всенародно бесчестил» его, как написал дьяк Иван Тимофеев. Что имел в виду под «обидами» Шуйского Иван Тимофеев, остается только догадываться, но то, что Татищевы могли позволить себе многое благодаря близости к Борису Годунову, можно говорить совершенно определенно. Едва Борис Годунов венчался на царство, как в тот же день, в знак особой милости, отец Михаила Татищева Игнатий Петрович был возведен в сан царского казначея. А в ноябре того же 1598 года, то есть через два месяца, Михаил Татищев подал челобитную не на кого-нибудь, а на думного дьяка Василия Щелкалова, управлявшего Посольским приказом: ясельничий Татищев не поделил мест с печатником Щелкаловым^[367]. Только приближение к престолу и осведомленность об уже сгущающихся над

головой некогда всесильного Щелкалова тучах могли позволить Михаилу Татищеву совершить столь дерзкий поступок.

Когда же свергли самозванца, Татищев не только принял живейшее участие в возведении Шуйского на престол, но, по словам Тимофеева, был самым активным участником этого события. «Это совершилось с помощью некоего присоединившегося ложного вельможи, совершенно худородного Михаила Татищева, согласного с ним в мыслях, непостоянного в делах и словах, хищного, как волк»^[368]. Худородным, конечно, Татищев не был — слова Тимофеева красноречиво свидетельствуют об установившейся неприязни между вторым воеводой и дьяком; но, отмечая активное участие Татищева в свержении самозванца и возведении на престол Шуйского, Тимофеев подтверждает мнение поляков о роли Татищева в событиях 1606 года. Поляки же считали Татищева чуть ли не душой заговора 17 мая 1606 года — как они говорили, «первейшим изменником, предводителем того дела»^[369].

Так почему же Василий Шуйский, став царем, оплатил черной неблагодарностью Михаилу Татищеву? Причиной ссылки последнего Тимофеев называет злопамятность Шуйского, не забывшего нанесенных ему когда-то обид^[370]. Тимофеев считал, что воевода Татищев «очень старался опять возвратиться из изгнания в царствующий город» и низложить того, кого он так опрометчиво возвел на престол. Однако вернуться в Москву Татищеву было не суждено.

Во время своего воеводства Татищев сблизился с дьяком Ефимом Телепневым, уроженцем Новгорода. Тимофеев именует их равными по чести, то есть одинаково бесчестными людьми, нередко действовавшими в Новгороде заодно. Телепнев, как когда-то Татищев царю Борису, оказал тайные услуги Шуйскому: «Дни его жизни у царя были тогда светлыми по причине тайной, законопреступной заслуги и из-за временного приближения к царю его родственников». Суть этой самой тайной заслуги Тимофеев не раскрывает, но родной брат Ефима Телепнева Василий действительно был в 1609 году пожалован Шуйским в думные дьяки Посольского приказа. Самого же Ефима считали доверенным лицом царя Василия: он «тайно наушничал царю».

Когда спустя несколько лет на российский престол пригласят польского королевича Владислава, неизвестный чиновник, желая выслужиться перед новой властью, составит подробный список «Московского государства ушников, которые Московское государство в разоренье и в смуту приводили при князе Восилье Шуйском и с ним

советовали...»^[371]. Попадет в этот список и Василий Телепнев: «Василей Григорьев сын Телепнев. Сидит в Посольском приказе».

Имея за спиной поддержку брата — высокопоставленного чиновника, дьяка Посольского приказа, — Ефим, и сам «ушничаящий» царю, вел себя в Новгороде, как в своей отчине. Прибывший туда Татищев вскоре нашел в дьяке единомышленника и стал властвовать в городе вполне в духе времени, как единоличный и самовластный правитель. Доказательства этому обнаружались уже после смерти Татищева. Когда описывали имущество обвиненного в измене воеводы, составлявшие опись были удивлены: никаких необходимых по тому времени запасов провизии в доме убитого воеводы не обнаружили — а ведь он воеводствовал в Новгороде к тому времени уже два года. Поместья его все оказались занятыми «ворами», поэтому никакой провизии оттуда не поступало. Может быть, он ожидал нового назначения и потому не делал припасов? Однако его люди на этот вопрос ответили отрицательно: «Службы себе никуда не ожидал». На что же тогда жил воевода?

Во время описи выяснилось, что многие вещи, найденные в доме воеводы Татищева, ему не принадлежали. Их настоящие владельцы показали, что вещи были отобраны у них воеводой. Некто Матьяш Доморацкий бил челом к князю Михаилу Скопину о возвращении ему дорогого саадака — «кован серебром, с чернью, лук писан золотом». Подьячий Медведев жаловался, что его расписной стол «взял Татищев на подержанье, да не отдал», а у Григория Шорина воевода взял «посмотреть» три пары самопалов — да и забыл отдать.

Не побоялся Татищев присвоить себе даже приглянувшееся ему имущество новгородского митрополита Исидора. Хотя воевода имел собственную богатую лошадьми конюшню, у митрополита он забрал лошадь и занял 100 рублей — немалую по тем временам сумму. Деньги митрополит, видимо, уже наученный горьким опытом, дал воеводе все же под залог платья^[372]. Хорошо известно, что «городнический» способ ведения своего хозяйства был в России неистребим — и 200 лет спустя о нем писал Н. В. Гоголь в знаменитом «Ревизоре»: «Нет, вишь ты, ему всего этого мало — ей-ей! Придет в лавку и, что ни попадет, все берет. Сукна увидит штуку, говорит: „Э, милый, это хорошее суконце: снеси-ка его ко мне“».

При таком стиле руководства делать запасы было совершенно излишне, потому их и не обнаружили в доме воеводы. Когда же в соседнем Пскове, где способ правления воеводы Петра Шереметева был точно таким

же, случился мятеж, Татищеву было о чем поразмыслить. Как предполагают некоторые исследователи, возможно, Татищев вместе с Телепневым был замешан также и в чеканке «порченной монеты»^[373]. Если это предположение верно, тогда становится понятным, почему 8 сентября 1608 года двое должностных лиц Новгорода — воевода Татищев и дьяк Телепнев — тайно покинули город, прихватив с собою большую часть городской казны.

Однако бежали они не вдвоем: вместе с ними бежал и родственник царя, воевода Скопин-Шуйский.

Бегство

В сентябре 1608 года, на праздник Рождества Пресвятой Богородицы, когда все стояли на заутрене в Софийском соборе и по другим соборам и храмам Новгорода, двое воевод и дьяк, сопровождаемые небольшим отрядом, вышли из города в безлюдном месте и через мельничную плотину бежали из города. О своем отъезде они никого не оповестили — ни митрополита Исидора, ни воеводу Куракина, ни второго дьяка Ивана Тимофеева, — и покинули Новгород, по словам автора «Временника», «ником не гонимые, а только побуждаемые своею совестью». Отъехав от города версты на три, беглецы отправили письмо, в котором объяснили причины своего столь стремительного отъезда: их заставила срочно уехать необходимость ведения переговоров о найме шведских отрядов в Ивангороде, куда они теперь и направляются.

Однако в Ивангороде принять к себе воевод отказались, наоборот — «крепко затворились со всеми находящимися в нем людьми» и не желали подчиняться ни родственнику Шуйского, ни ему самому. Получив от ворот поворот, беглецы были вынуждены свернуть с главной дороги и передвигаться скрытно. Несколько дней блуждали они по топям и болотам Псковщины, пробираясь вдали от основных дорог, по лесам, в основном ночью, опасаясь встречи с отрядами самозванца. Татищев уже стал всерьез подумывать о бегстве за границу, чтобы там отсидеться и дожждаться помощи из-за моря. В конце концов решили пробираться в Орешек, где воеводой был хорошо знакомый Татищеву активный участник переворота 17 мая 1606 года Михайло Салтыков. Однако тот уже давно изменил отправившему его в дальнюю ссылку Василию Шуйскому и присягнул тушинскому «царику». Когда беглецы подошли к Орешку, Салтыков не только не впустил их в город, но и пригрозил заковать и отвезти в Тушино. Пришлось и от Орешка повернуть не солоно хлебавши.

Когда читаешь о подробностях этого бесславного бегства и скитания по лесам, невольно задаешься вопросом: как полководец Скопин, который командовал войском, без боязни останавливал толпы бегущих на поле сражения, не раз бывал в самой гуще битвы, вдруг оказался в такой странной компании и в такой неприглядной ситуации? Вот потому-то и оказался, что, умея быстро и верно принимать решения на поле боя, в интригах и «ушничестве» 22-летний военачальник явно не преуспел, должного опыта, несмотря на придворную жизнь при Годунове и

самозванце, не набрался, потому и новгородскую кашу быстро расхлебать не сумел.

Что мы знаем о внешней канве событий? Получив приказ вести переговоры о найме войска, Скопин из Новгорода рассылал письма в другие города, «строил рать», просил денег и ждал ответа из Швеции. В это время в соседнем Пскове вспыхивает мятеж, воевода схвачен и брошен в тюрьму, власть в городе в руках поднявших мятеж против местных властей и Шуйского «меньших людей». Воевода Новгорода Татищев, уже два года управлявший городом, и родившийся в городе Телепнев, приближенный царя, советуют не ждать, когда с ними поступят, как с Петром Шереметевым во Пскове, а прихватить деньги и бежать. Пока цела казна, наемников можно подождать и в другом городе, а дождавшись, с ними усмирить и Псков, и Новгород. Если же остаться в городе, можно и голову сложить, и поручение царское не выполнить.

В этой ситуации Скопин, который лишь недавно прибыл в город, решил прислушаться к совету воеводы Татищева, который лучше знал и происходящее в Новгороде, и самих новгородцев: «Вестъ же прииде ко князю Михаилу Васильевичю в Нов город, что псковичи измениша. Князь Михайло ж, советовав с Михаилом Татищевым да с дьяком Ефимом Телепневым, и, побоясь от новгородцев измены, побегоша из Нова города к Иваню городу не с великими людьми»^[374]. Скопин относился к Татищеву с уважением как к старшему и более опытному человеку, которому Борис Годунов доверял самые ответственные дипломатические поручения. Когда молодой воевода Скопин только появился в Новгороде, Татищев постарался расположить к себе царского родственника — ведь опальный воевода мечтал вернуться в Москву, а Скопин-Шуйский мог за него перед царем замолвить слово. Скопин представлял в Новгороде интересы самого царя, и Татищев не преминул этим воспользоваться. Понимая, что молодой воевода на первых порах будет нуждаться в поддержке тех, кто хорошо знает обстановку в городе, он ни на шаг не отходил от Скопина, подсказывая и направляя энергию воеводы в нужное ему русло.

«Обольстительными словами увлек его, как волк незлобивого агнца», — скажет о совете Татищева Скопину бежать из Новгорода дьяк Тимофеев. Что ж, от ошибок не застрахован никто. То, что поспешное бегство из Новгорода было ошибкой, Скопин понял, когда перед ними поочередно закрыли ворота и Ивангород, и Орешек, и когда бóльшая часть бежавших с ними воинов приняла решение вопреки воле воевод вернуться в Новгород, да еще и забрав с собой похищенную из города казну. Возвращение

городской казны давало бежавшим с воеводами ратным людям шанс быть прощенными и помилованными новгородцами.

Ясной и зябкой сентябрьской ночью, проскитавшись целый день по лесам и болотам, в промокшей насквозь одежде грелся у костра воевода Михаил Скопин, размышляя о произошедшем с ним. На память приходили один за другим эпизоды из жизни сосланного в Новгород воеводы Татищева, которому он, царский родственник, так доверился.

Вот Татищев прибывает в Москву в ноябре 1605 года, когда лжецарь уже полгода как сидит на престоле. Лжедмитрий щедрой рукой возводит его в чин окольного и повелевает отправить «почтенного Михаила Игнатьевича Татищева, окольного нашего» вместе с князем Василием Мосальским на сейм в Польшу. Как оказалось, перемена правителя не поставила крест на карьере Татищева, он по-прежнему был на дипломатической службе, рос в чинах. Но Михаил Татищев невольно сравнивал самозванца с Годуновым, своим добродетелем, и не радовался этой перемене. Присутствие многочисленной польской свиты рядом с царем, его явное пренебрежение русскими обычаями, будущий брак с католичкой оскорбляли родовитую московскую знать, заставляли подумывать о перевороте. Все чаще «великий мечник» Скопин слышал речи именитых бояр, полных недовольства самозванцем...

Скопин зябко поежился. К ночи дождь прекратился, небо очистилось, и теперь о многодневном ненастье напоминали лишь ошметки черных туч на горизонте да мокрая листва на деревьях — так успокоившийся ребенок вспоминает редкими всхлипываниями о своих недавних горьких и безутешных рыданиях. Скопин приказал подбросить дров в костер, который тут же ответил треском и задымил: дрова были сырыми. Воевода Татищев и дьяк Телепнев спали в шатре, бодрствовали лишь молодой воевода да дозорные. «Даже походный шатер не забыли с собой прихватить, — с неприязнью подумал о своих товарищах по несчастью Скопин. — Видно, бегство свое заранее обдумали. А я как муха в их хитро сплетенную паутину попал, да еще согласился казну новгородскую с собой забрать».

Он вспомнил о сундучках с копейками, полушками и денгами, сейчас лежащими в головах Татищева и Телепнева и взятых из Новгорода якобы на наем войска. Деньги, безусловно, главная артерия войны, перережь ее — и дело можно будет считать проигранным. Верно написал один из иноземцев: «Люди, оружие, деньги и хлеб — вот жизненная сила войны»^[375]. Но одними деньгами войны не выиграть, нужно еще найти людей, способных

держат оружие и желающих сражаться. Вот они, деньги, но кому они нужны здесь, посреди леса, когда ратники давно покинули своих воевод?

Скопин посмотрел на уснувших, измученных долгим переходом людей — остатки своего немногочисленного отряда. Воины соорудили легкий шалаш из веток, чтобы не намокло оружие, а сами легли под деревом, укрывшись плащами. Их отряд начал редеть сразу после бегства из Новгорода. По дороге в Ивангород собрался уходить новгородец Афанасий Бурцев. Скопин побеседовал с ним с глазу на глаз и решил его не останавливать: с ним он передал письмо, в котором сообщал митрополиту Исидору о своем вынужденном отъезде из города. Не доходя до Орешка, когда и сами начальники не ведали, «камо ехать», покинули воевод еще двое ратников — Андрей Колычев да Нелюб Агарев. Кто следующий?..

И вновь воспоминания возвращали Скопина к событиям двухлетней давности.

В апреле 1606 года, Великим постом, когда все старались воздерживаться от скоромного, «великий мечник» Скопин увидел, как в царских палатах за трапезой подали телятину. Поляки и сам самозванец дружно приступили к еде, русские бояре переглянулись. Скопин услышал, как его родственник Василий Шуйский осторожно напомнил «Дмитрию» о том, что есть постом мясо, да к тому же еще телятину, издавна считавшуюся на Руси нечистой пищей, не надо бы. Мягкое замечание Шуйского, может быть, и осталось бы незамеченным присутствующими, но тут заговорил Татищев. Не выбирая выражений, он высказал самозванцу все, что думал о небрежении «Дмитрием» русскими традициями и обычаями. На мгновение стало тихо. Скопин увидел, как побледнел оскорбленный царь, но, быстро взяв себя в руки, вызвал стражу из немецких наемников и приказал арестовать Татищева.

К этому времени по Москве ходили упорные слухи о том, что против самозванца составил заговор, видимо, Татищев был его участником и ощущал за спиной поддержку, раз позволил себе такой поступок. Опальный окольный был лишен царской милости и сослан на поселение в Вятку. И только заступничество Федора Басманова в пасхальные дни, когда самодержцы по традиции миловали преступников, Татищев был прощен и возвращен в Москву ^[376].

Позже Михаил Игнатьевич «отблагодарил» Басманова, нанеся ему смертельный удар ножом, когда верный слуга самозванца попытался защитить своего хозяина. Скопин неожиданно вспомнил свой давний и уже порядком подзабытый разговор с французским капитаном Маржеретом.

Одинаково ревностно служивший и Годунову, и самозванцу наемник считал, что своим участием в заговоре Татищев отомстил самозванцу за опалу и ссылку. «Его злобный ум, не забывающий никакой обиды, был всем известен», — обронил как-то француз^[377]. Едва Василий Шуйский со своими сторонниками сверг Лжедмитрия, Татищеву поручили вести переговоры с арестованными польскими послами. Однако он повел себя с поляками столь бескомпромиссно, выражаясь в свойственной ему резкой и грубой манере, что в результате переговоры зашли в тупик, и поляки потребовали от Шуйского отстранения Татищева и замены его кем-либо другим.

Правда, слышал Скопин о Татищеве и другие отзывы, кое-кто из иностранцев называл его «умным и благочестивым человеком»^[378]. Но, похоже, прав все же оказался французский наемник. Слишком откровенное поведение Татищева перед заговором, его прямота и грубость во время переговоров с поляками, а главное — убийство когда-то защитившего его Басманова, — все это выказывало в нем человека резкого, порой поступающего вопреки здравому смыслу, но в угоду своему вспыльчивому нраву.

Видимо, его нрав и послужил причиной того, что он оказался в Новгороде в ноябре 1606 года, куда был назначен вторым воеводой, заняв место своего скончавшегося от чумы предшественника. Примерно в это же время были высланы из Москвы любимцы Лжедмитрия: Василий Рубец-Мосальский поехал воеводой в далекую Корелу, Михаил Салтыков — в приграничный Орешек. Конечно, уехать на воеводство в псковские пригороды или в Новгород — это совсем не то, что быть сосланным в Сибирь, но расти в чинах, как известно, можно только находясь на виду у власти.

Значит, размышлял Скопин, причину активного участия Татищева в перевороте следует искать вовсе не в его желании видеть Василия Шуйского на престоле, скорее им руководило нежелание видеть царем самозванца. А уже после переворота резкий и неосторожный в словах и поступках Татищев чем-то навлек на себя недовольство подозрительного Шуйского, и тот почел за лучшее отослать его подальше от Москвы, в Новгород. Недаром Иван Тимофеев намекал Скопину, что следует опасаться Татищева, человека «весьма лукавого и коварного».

Во время скитаний по лесам и болотам, хоть и пребывали все бежавшие «в великой ужаси и в страховании», у Скопина все же было время подумать и трезво оценить происходящее. Вовсе не попечение о

порученном Скопину деле двигало Татищевым, все больше понимал Михаил Васильевич, а желание сохранить собственную жизнь, если вспыхнет возмущение, как и во Пскове, порожденное мздоимством воеводы. Ну а царский родственник ему был необходим, чтобы заручиться поддержкой других городов или даже стран на случай отъезда из страны. Если же побег не удастся, то, имея при себе Скопина как соучастника, легче будет и с новгородцами договориться. «Не Скопина честь они спасали, а себя всячески оберегали», — точно определит причину их бегства новгородский дьяк Тимофеев.

Между тем в покинутом воеводами городе вскоре обнаружили отсутствие властей: «В Нове ж городе митрополит Исидор и все новгородцы, видя такую погибель, что воевода, город покиня, пошел вон, они ж быша в великом плаче и в сетовании, в страховании; и здумаша послати за ним бита челом, чтоб он воротился в Великий Нов город, а у них единодушно, что им всем помереть за православную христианскую веру и за крестное целование царя Василья. Посла ж за ним властей и пятиконецких старост со умолением, чтобы он воротился в Нов город» ^[379].

Однако описанная летописцем картина единодушного горевания по случаю исчезновения властей была далека от реальности. Очевидец Иван Тимофеев, оставшийся в городе, рассказывает, какие разгорелись споры и разногласия между новгородцами. Одни действительно опасались того, что город оказался фактически без управления и военной защиты, да к тому же и без денег, и потому готовы были простить сбежавших, лишь бы они поскорее вернулись. Другие, наоборот, не желали возвращения беглецов, оставивших город на произвол судьбы. Третьи и вовсе требовали отправить за ними погоню, поймать, казнить и жить «безначально», как живут горожане во Пскове. Вот этих-то смутьянов больше всего и опасались люди состоятельные, оказавшиеся в меньшинстве. Они боялись им противоречить, — ведь было известно, что не согласных «с миром» в то «шаточное» и скорое на расправу время ожидала участь быть растерзанными толпой, — потому и старались не раздражать их. Не смогла утихомирить возмущенную толпу и власть духовная в лице митрополита Исидора, ибо, как выразился Тимофеев, также «хромала человекоугодием». К общему согласию новгородцы хоть и не пришли, но послать письмо беглецам все же решили.

Скопин к тому времени в ситуации уже вполне разобрался, и когда явились кончанские старосты — посланцы новгородцев, всячески поддержал идею переговоров. Судя по всему, переговоры прошли успешно,

и в Новгород послы вернулись с ответным письмом, в котором сообщалось о скором возвращении беглых воевод. Навстречу Скопину и Татищеву из города послали «знатных людей с обилием необходимой пищи», как написал Тимофеев.

Возвращались воеводы иным путем, чем бежали, — не лесами и топями, а по воде, на лодках. Обрадованные возвращением Скопина «митрополит и дворяне и дети боярские и посацкие люди» встретили его «с великою честью»^[380]. О радости по поводу возвращения Татищева и Телепнева летописец умалчивает. Прибывший в Новгород Скопин отправился напрямик в Софийский собор, где митрополит Исидор служил благодарственный молебен по случаю возвращения воевод в город. «Как встретят новгородцы?» — мучился сомнениями молодой воевода, проезжая по Софийской стороне по направлению к собору и размышляя о предстоящем непросто разговоре с «лучшими людьми» и владыкой Исидором. Мрачные мысли не оставляли его и во время молебна, мешали сосредоточиться для молитвы. Скопин заметил Михаила Татищева, стоявшего поодаль, прямо напротив открытых во время водосвятного молебна Царских врат. Скопин невольно задержал на нем взгляд, ему показалось, что Татищев молится вполне искренне, даже истово.

Но вот молебен закончился, все вышли из собора, и Скопин понял, что его волнение о предстоящем объяснении оказалось излишним: инициатор бегства Татищев и здесь вышел на первые роли, оставаясь верным себе. Он сразу же, не откладывая дела в долгий ящик, решил доказать, что лучший способ защиты — нападение. Нисколько не винясь, Татищев «убедил криком своей широкой глотки» всех собравшихся в своей безусловной правоте. Очевидец происходящего Иван Тимофеев видел, как оробели новгородцы от «рева... горла» Татищева, который «как аспид, всех устрасил». Каждый понимал, что воевода лжет, пытается скрыть истинные причины своего бегства. Но поскольку согласия в мире и должного «человеческого разумения», как написал дьяк, в тот момент ни в ком не оказалось, то собравшимся на площади перед собором пришлось сделать вид, что они поверили «гордословцу Татищеву». Зачинщики смуты, видимо, не сочли момент для расправы с ненавистным воеводой подходящим и до времени затаились.

А что же Скопин? Многие посматривали на царского родственника, ждали от него объяснений. Но Скопин молчал, и его молчание было красноречивее всяких слов. «Удержи язык твой от зла, и устне твои, еже не глаголати лъсти» (Пс. 33, 14), — вспомнил он знакомые с детства слова

псалма. Он чувствовал свою неправоту, причиной которой была излишняя доверчивость Татищеву и Телепневу, а главное, он смущался своей слабости и трусости, когда эти двое заставили его, не боявшегося встретиться с врагом на поле боя, бегать, как затравленного охотниками зайца, по новгородским и псковским лесам в поисках пристанища. Перекричать Татищева было мудрено, да и нужды говорить не было, как считал Скопин. Не нравилось ему поведение воеводы, и не могло понравиться, — недаром хорошо знавший их обоих Тимофеев утверждал, что они отличались друг от друга, как свет от тени. Если виновен, — а Скопин считал свой поступок опрометчивым, и потому себя виноватым, — так делами свою вину искупай, а не крикливыми объяснениями. А дел в пограничном Новгороде для воеводы Скопина хватало.

Иван Тимофеев заметил, что «распоряжающиеся городом» после своего возвращения проявляли усердие в исполнении своих обязанностей. Прежде всего Скопину предстояло оборонить город от отрядов самозванца. В ноябре 1608 года из тушинского лагеря под Новгород был послан отряд казаков. «...Наши снарядили под Великий Новгород, — писал в своем дневнике один из поляков, — запорожских казаков (их было у нас немало). Казакам приказали расположиться недалеко от Новгорода, в Руссе, выставить сторожевые отряды и сделать так, чтобы новгородцы признали нашего царя»^[381]. Командовал этим отрядом полковник Я. Кернозицкий. Встав лагерем в Руссе, они «бродили кругом, опустошая окрестности»^[382], так что приходилось вступать с ними в жестокие схватки. Отряд Кернозицкого насчитывал две тысячи казаков и четыре тысячи «русских воров», собранных в Тушине^[383].

Собственных сил у Скопина было мало, приходилось рассчитывать на поддержку новгородцев, а их настроения были хорошо известны по только что пережитым событиям. Но другого войска у Скопина не имелось и, собрав кого можно было в городе, воевода «нача строити рать и послати хотя против их (то есть Кернозицкого. — *Н. П.*) на Бронницы»^[384]. Возглавить вновь набранный отряд вызвался Михаил Татищев, который «нача у князь Михаила прошатись». Скопин согласился было, но в этот момент к нему пожаловала целая делегация новгородцев. Не скрывая своего враждебного отношения к Татищеву, горожане сообщили воеводе, что Татищев на самом деле намеревается не защищать город, а перейти на сторону самозванца: «Он идет для того, что хочет царю Василью изменить и Новгород здать».

Скопину было о чем задуматься. С изменой в своем войске он уже

сталкивался — события на речке Незнани не были им забыты. Тогда последовал жесткий приказ царя, и изменников, сковав, отправили в Москву на дознание. Но Новгород не Незнань, до Москвы не одну неделю добираться, да по местам, где отряды тушинского царька промышляют. Так что доставить Татищева к царю не получится, придется разбираться самому. Скопин решил положиться на суд новгородцев: приказал собрать людей, чтобы объявить им о подозрении на Татищева. Тот уже не раз доказывал, что он не из тех, кто за словом в карман лезет, — вот пусть сам и оправдывается перед новгородцами: действительно ли он собирался изменять царю Шуйскому, или пустое на него наговаривают.

Но оправдываться Татищеву не пришлось. Едва Михаил Скопин объявил собравшимся на площади перед Софийским собором о доносе на Татищева, как толпа, не дослушав воеводу, словно разъяренный зверь, давно поджидавший свою добычу, набросилась на Татищева. Беснующиеся люди будто хотели вознаградить себя за долготерпение и теперь, не дав никому опомниться, рвали несчастного на куски: «Все воззопиша и, не розпроша, убиша его миром». Митрополит Исидор, не смея выйти на площадь, дрожа губами, шептал молитвы и сжимал в побелевших пальцах наперсный крест. Онемевший Скопин застыл на верхней ступени собора, не шелохнувшись.

Когда же толпа, наконец, расступилась, на земле осталось лежать растерзанное и окровавленное тело воеводы; рядом с ним валялись когда-то отобранная у новгородца сабля в дорогих серебряных ножнах, которую он даже не успел обнажить, и разорванная в клочья одежда. Будто протрезвевшие после кровавого похмелья, новгородцы молча взирали на того, перед кем еще недавно трепетали и кого не смели послушаться. И только когда один из буянов предложил бросить тело воеводы в воды Волхова — «на съедение рыбам» ^[385], пришедший в себя Скопин властно объявил, что убитый будет по-христиански предан земле, а его имущество как изменника конфискуют в пользу государства. Обещание свое Скопин выполнил: Михаила Татищева похоронили в Антониевом монастыре.

Очевидец происшедшего дьяк Тимофеев объяснил события как всегда затейливо, но вполне понятно: «А Михалко сам себя уловил в сеть своей злобы». То есть замучивший новгородцев за два года правления своим самоуправством и воровством воевода Татищев, любивший «братя на горло», не считающийся ни с кем в городе, получил той же монетой, что расплачивался сам.

Можно сказать: глас народа — глас Божий, а бездействие Скопина

расценить как проявление его бессилия и неумения управлять обезумевшей толпой. Но можно посмотреть иначе: если ничего не предпринял — значит, не посчитал нужным. Скопин не только не остановил самосуд толпы, но и вину Татищева, готовящего измену, счел таким образом доказанной. «Вину его вслух всем людям объявил сам Скопин-Шуйский, — пишет Иван Тимофеев, — и весь народ громко воскликнул: да извергнется такой от земли, и нет ему, говорили, части и удела в нашем владении».

С. Ф. Платонов и вслед за ним И. О. Тюменцев сочли, что «перепуганный воевода» Скопин выдал толпе Татищева, сделав его «козлом отпущения». Вряд ли Скопин намеренно захотел расправиться с воеводой, предав его такой страшной смерти, да и причин лично бояться толпы у него не было. А вот причины быть недовольным Татищевым у Скопина конечно же имелись — ведь это Татищев вовлек его в постыдное бегство из города. Но не в характере Скопина было расправляться с кем-то чужими руками, к тому же Михаил Васильевич видел, как Татищев разговаривает с толпой, знал не понаслышке и о крутом нраве воеводы, и о его способности расправиться с врагом, нанести ему удар ножом. Возможно, он захотел услышать, что скажет в свое оправдание Татищев, — ведь сам Скопин не возражал, чтобы тот возглавил отряд, значит, серьезных подозрений в измене Татищева у него не было.

Думается, расправа с ненавистным воеводой произошла вовсе не по замыслу Скопина, а вполне в духе Смутного времени. Подобные зверства происходили и в других городах в те же дни, например во Владимире. Тамошний воевода Михаил Вельяминов открыто перешел на сторону самозванца и не захотел даже под давлением горожан возвращаться под власть царя Василия Шуйского. Тогда владимирцы схватили своего воеводу и привели на отчет к его духовному отцу, соборному протопопу. В отличие от Татищева, у Вельяминова была возможность оправдаться, однако, выслушав его, протопоп объявил всему миру, что воевода «есть враг Московскому государству». И толпа поступила с ним так же, как и в Новгороде: убила, забив камнями ^[386].

Спустя два года новгородцы расправятся еще с одним воеводой — Иваном Михайловичем Салтыковым, сыном того самого воеводы Михаила Глебовича Салтыкова, не пустившего Скопина в Орешек. Активно поддерживавший польского королевича Владислава, Салтыков приедет в Новгород приводить жителей к присяге новому царю, да так там и останется: не признавшие Владислава новгородцы посадят Ивана Салтыкова после мучительных пыток на кол.

А что еще можно было ожидать от мужика, почувствовавшего волю менять не только воевод, но и царей? Бунт, разжигающий всеобщее своеволие, гибелен как для государства в целом, так и для любой власти, а на бескрайних российских просторах гибелен он и для самого мужика, «... беспредельная родная Русь, гибельная для него, балованного, разве только своей свободой, простором и сказочным богатством», — как заметил И. А. Бунин ^[387].

Несчастливо начиналось для Скопина воеводство в Новгороде, еще более несчастливо оно закончилось для Татищева. Любимец Бориса Годунова и один из активных участников низложения первого самозванца, убийца Федора Басманова, он и сам в итоге оказался растерзанным толпой и вошел в мартиролог Смутного времени. А Скопин получил наглядный урок, как при преступном бездействии властей может разбираться с неугодными правителями вкусившая волю толпа.

Строитель рати

В 1608–1609 годах Новгород стал центром, вокруг которого начали собираться силы из Поморья и заволжских городов на борьбу с самозванцем. Из Новгорода воевода Скопин неустанно рассылал письма по городам и монастырям, призывал присылать отряды и деньги на оплату наемного войска и своих ратников.

Первое послание Скопина, отправленное в волжские и северные города, — «отписка», как говорили тогда, — относится к декабрю 1608 года. «Господам вологжаном, и белозерцом, и устюжаном железопольския, и углечаном, и кашанцом, и Бежецкого Верху, и Городецка посадским и всяким людем Михайло Шуйской челом бьет»^[388] — так без чинов, попросту, говорил о себе воевода. В 1580-е годы, после того как шведы захватили Нарву, экономический центр торговли России с Европой переместился в Архангельск. Вскоре этот порт превратился в процветающую международную гавань, а русские города, что расположились на пути из Белого моря в центр страны — Холмогоры, Великий Устюг, Вологда и Ярославль, — извлекали выгоды из своего положения и богатели. Именно там искал Скопин помощи и поддержки в деле собирания рати, а также средств для оплаты наемникам.

В отписке Скопин благодарил горожан, которые вместе с дворянами и детьми боярскими в бою 21 декабря расправились с изменниками государевыми — Осипом Застолпским и паном Матьяшем, и убеждал «господ» из заволжских городов и дальше держаться крестного целования, данного царю Шуйскому: «Самим вам меж собя укрепились и людей не распустя промышляли над изменники государевы не мешкая... а того бы вам однолично в оплошку себе не поставит, и людей не распустити и не дать бы вором собрались». А где объявятся посланцы от тушинцев, «в те места приходить, и от воровския смуты отводить».

К этому времени наемное войско, набранное в Швеции, уже вышло на Ореховский рубеж — тогдашнюю границу Швеции и России, и Скопин немедленно, для придания уверенности защитникам городов, сообщает об этом: «...а немецких людей Свейской король Карло шлет к государю царю и великому князю Василью Ивановичу всеа Руси на помочь десять тысяч и пришли с Семеном Васильевичем Головиным да с диаком с Сыдавным Васильевым на Ореховской рубеж декабря в 17 день, а в Новгород будут вскоре».

За время своего пребывания в Новгороде Скопин отправил десятки таких «отписок», в каждой из которых убеждал прекращать смуту, не присоединяться к врагам, а смутьянов сажать в тюрьму. Отписки воеводы гонцы доставляли в другие города с риском для жизни: практически все главные дороги к этому времени были отрезаны тушинскими отрядами. «Розсылщики» отписок, судя по всему, были отчаянными людьми, если решались развозить письма в столь опасное время, — когда находили грамоты, то вестовых крепко пытали и после дознания казнили. Поэтому вестовые проявляли смекалку, и грамоты куда только не припрятывали — зимой, к примеру, клеивали в лыжи, под ногами, «возле ушей»^[389], но и там, случалось, их находили. Но если доставляли письма благополучно, то вестовых награждали, о чем даже царь Василий Шуйский не раз просил в своих грамотах. Биографии этих смелых людей по большей части неизвестны, но имена их сохранились в документах того времени: это и «Офонка» из Вологды, и сольвычегодский Шумилка, и «Тихон Микифоров со товарищами» из Устюга, устюжские «розсылщики» Поспелка Петров, да Жданка Кононов, да Гришка Вешняков, Юшка Свиньин из Усолья и многие другие.

Отписки Скопина-Шуйского заполняли пустоту безвестности в те нелегкие годы, когда каждый город, деревня и житель сам решал для себя: за кого стоять? Кого защищать? «И учили в городех между собя советовать между собя ратные люди»^[390]: где порядок и где государство, призванное охранять его, за которое призывают положить жизнь? В переписке городов ясно слышатся сомнения, и звучит один и тот же вопрос: «и нам целовать ли крест тушинскому царю или стояти крепко?» А другие города, что там думают? «И вам бы к нам отписати: что ваша мысль?» — настойчиво вопрошали растерявшиеся устюжане у жителей Соли Вычегодской. Стоять ли за Василия Шуйского или уже пора присягать «царю Димитрию»? А может быть, подождать до поры, пока не прояснится: «ино еще до нас далеко, успеем с повинною послати» к самозванцу? «Пожалуйте помыслите с миром крепко, а не спешите креста целовати: не угадать, на чем совершатся»^[391].

Скопин собирал рать, отправлял одного за другим гонцов с отписками, а Новгород и сам находился в те месяцы в осаде. Посланные к воеводе из Вологды 14 декабря вестовые засели в Тихвине и ждали там до 6 января, пока «очистятся дороги»: «нелзе было в Новгород приехать, что Новгородской уезд все пятины вору крест целовали, и Ладога, и Корела, и Ивангород»^[392]. В марте 1609 года Скопин не мог отправить посланцев к

царю, потому как из Новгорода в Москву «ни которыми дорогами проехать ни которыми делы не мочно»^[393], как он сам писал. Приходилось посылать гонцов кружными путями — из Новгорода к Семену Шапкину в Каргополь, с тем чтобы тот отправил посыльных в Москву с письмами Скопина, да «не единова, дважды или трожды, детей боярских или кого ни буди, чтоб с теми вестми однолично от тебя к государю к Москве пройти как ни буди», — настаивал воевода в многочисленных письмах^[394]. Войско сидящего в осаде Скопина таяло на глазах, «шатость» была так велика, что «многие дворяне отъезжаху в литовские полки»^[395]. До прихода наемников нужно было продержаться и не сдать город, и Скопин, хоть и пребывал «в великом сетовании», видя оскудение своего войска, настойчиво отправлял гонцов в новгородские пригороды, прося помощи.

И вот уже в Тихвине служивый человек Степан Горихвостов собирает тысячу человек, готовых идти освобождать Новгород, а в Заонежье не отстает от него Евсей Резанов, который также собрал отряд, «и поидоша к Нову городу Стефан же передом, а Евсей после», и остановились в Грузино. Кернозицкий между тем, услышав о подмоге новгородцам, дал задание своим людям взять «языков», чтобы узнать о происходящем.

«Языками» оказались крестьяне соседних с Хутынским монастырем, где стояли отряды Кернозицкого, деревень. «Он же начат их пытать. Они же люди простые не знаху сметы и сказаху Корнозицкому, что приидоша на Грузино ратных людей множество, а за ними идет большая сила». Святая простота тамошних крестьян спасла не только Хутынский монастырь от разорения, но и освободила Новгород от осады, ибо тушинцы после дознания пленных «побегоша от Нова города с великою ужастик»^[396]. Обрадованные таким оборотом событий новгородский митрополит и Скопин послали радостную весть в Москву, где, судя по всему, уже давно потеряли надежду, если даже и в случае радостных известий «тому отнюдь веры не имяше».

А Скопин неустанно, день за днем, созывал ратников из незанятых тушинцами городов, оповещал о продвижении наемников, просил не верить изменникам. Отписки Скопина переписывали, подклеивали к ним свои послания и отправляли из города в город: из Каргополя в Холмогоры, Устюг, Соль Вычегодскую, Пермь Великую, Вологду, Тотьму. Эти послания не только заполняли, говоря современным языком, информационный вакуум, но и подтверждали: власть единоначальная, законная, по-прежнему существует, и воевода Михаил Скопин-Шуйский — ее полномочный представитель.

Большая часть отписок воеводы содержит в себе просьбы, приказы, распоряжения, напоминания и требования прислать людей и денег. Для расчета с наемниками деньги нужны были немалые: да и свои ратники отказывались воевать бесплатно: «ратные люди говорят: как дослужат до срока, а не пришлете денег, и они хотят идти домой»^[397].

В марте 1609 года Скопин писал к торговым людям Строгановым, просил у них денег. Василий Шуйский уже не единожды обращался за денежной и военной помощью к Строгановым, и те не отказывали, помогали. У Строгановых были собственные варницы соли, в первой половине XVII века на них вываривалось до пятисот тысяч пудов соли, которой торговали в Вологде и других городах. Торговали Строгановы и другими товарами: сукнами, ювелирными изделиями, которые покупали у иноземных купцов в Архангельске, а также мехами, хлебом, сеном, кожами и полотном^[398]. Только одних пошлин в казну, по свидетельству англичанина Флетчера, Строгановы платили 23 тысячи рублей ежегодно. Они отправляли, снаряжая на свои деньги, отряды ратников в Ярославль, давали деньги в долг, посылали и пушки, и свинец, и селитру.

Писал Скопин о том же в Пермь, Соль Камскую, Чердынь, чтобы «таможенные, и кабацкие, и десятинные пошлины... и всякие денежные доходы, что в сборе ни есть», прислали к нему, «чтоб ратным людям без корму не быть и государеву б и земскому делу порухи ни который не учинилось»^[399].

Царь просил о том же старцев Соловецкого монастыря: «Дворянам и детем боярским и всяким служилым людям на жалованье наша многая казна вышла, а которые монастыри в нашей державе, и из тех монастырей всякая монастырская казна взята и роздана всяким служилым людям на жалованье». Поэтому царь просит Соловецкую братию не отказать, прислать деньги в Москву: «А велели б есте тое казну везти дорогою бережно и осторожно, чтоб та казна до Вологды довести здорово, а на Вологду наш указ к воеводе и к дьяку послан»^[400].

Вологда находилась на границе двух хозяйственных районов государства — северного и центрального; здесь начинался беломорский водный путь и сходились многие транспортные артерии страны. Выгодное географическое положение делало Вологду богатым городом. Все, чем торговал Север: соль, пушнина, рыба, мороженое мясо, — отправлялось из Вологды в центральные районы, а из них в Вологду поступали хлеб, железо, металлические изделия и то, что предназначалось для продажи за границу — поташ, икра, восточные ткани, лен, пенька и другие товары.

Зимой и летом, на саях и телегах, по воде и посуху привозили торговые люди в одиночку и караванами товары, которые складировали в Вологде, а затем продавали на рынке^[401]. Осенью беспокойного 1608 года торговые люди, в том числе иностранные купцы, оказались отрезанными от Москвы и вынуждены были со своими товарами пережидать зиму в Вологде. Боясь разграбления своего имущества, они были готовы вместе с ратными людьми защищать город от тушинцев. По просьбе Скопина вологодцы и сами посылали деньги, вооружали отряды ратников и других понуждали к тому. Так что не случайно Вологда в те дни становилась центром сбора сил и средств.

Особенно много «отписок» послал Скопин к пермякам, которые никак не хотели присылать ни денег, ни людей. Его настойчивость, целеустремленность и дотошность ясно отразились в переписке с несговорчивыми пермяками. В марте 1609 года устюжане отправили в Пермь «отписку» Скопина, в которой он просил собирать ратных людей к государю на службу и отправлять их в Вологду. Однако, несмотря на обещание Перми, в Вологде от них «ни один человек не объявился», как заметили устюжане^[402]. В августе того же года, так и не дождавшись от Перми ни людей, ни денег, Скопин снова пишет к ним, в который уже раз разъясняет, что «иноземцом, наемным людем найму дать не чего, в государеве казне денег мало; ведомо вам самим, что государь на Москве от воров сидит в осаде болши году, и которая была казна и та роздана ратным людем... И вам бы, господине, самим, и гостем и торговым лутчим и середним и всяким людем говорили, чтоб они, для покою и крестьянские избавы и для того, чтоб Московское государство за наемными денгами и достоль не разорилось, дать на наем ратным людем денег, и сукон, да и камок и тафт, сколько кому мочно». Этими материями Скопин собирался расплачиваться с наемниками, а когда настанут лучшие времена, обещал воевода, то казна вернет долг пермякам, поэтому они должны сейчас те материи переписать, и перемерить, и «цену тем сукнам написав», прислать их к Скопину «тотчас», а с собранными деньгами ехать «днем и ночью, нигде не мешкая»^[403].

Но время шло, а из Перми так ничего и не присылали. Устюжане совестили пермяков, напоминали им, что в прежние времена, при царе Иване Васильевиче, из Перми в походах участвовало по тысяче человек, а сейчас лишь 80 прислали в Ярославль на борьбу с тушинцами. Наконец в сентябре 1609 года из Перми и Чердыни прислали вместо тканей — поскольку «у них в Перми сукнами и камками и тафтами никто не торгует»

— меха: «от Чердынской земли семь сороков соболей» и пермские воеводы Федор Акинфов — «сорок соболей да лисицу черну», да Наум Романов также «сорок соболей»^[404], ну а деньги обещали прислать, как установится первый зимний путь.

Но дотошный Скопин в декабре напоминает пермякам о не присланных ими деньгах: «...и вы тех денег к нам не послали, потому что было не лзе, зимней путь не стал». Теперь зимний путь устоялся, и потому деньги Скопин просит прислать «не мешкая»^[405].

И города, и монастыри, и торговые люди откликались, присылали всё, что могли собрать для оплаты наемникам и на снаряжение своего войска. Очень поспособствовали смене настроения сами тушинцы, отряды которых чинили по всей стране беззакония и зверства. Из города в город передавали вести: «Которые де города возмут за щитом, или хотя и волею крест поцелуют, и те города отдадут паном в жалованье, в вотчины, как и прежде сего уделья бывали»^[406]. В захваченных городах «волские казаки... и стрельцы, и всякие русские воры... и черемиса волости воевали... и церкви Божии осквернили и разорили, и образы окладные одирали и кололи, и многих людей побивали, и жен и детей позорили»^[407].

Возмущенные действиями отрядов самозванца горожане начали расправляться с присланными из Тушина сборщиками податей; многие, поразмыслив, вновь присягали Василию Шуйскому. «И у нас, во многих городах, от великих денежных сборов учинилась смута великая, — жаловался своему тушинскому начальству суздальский воевода Плещеев, — и от того во многих городах мужики заворовались и крест целовали Василию Шуйскому и по государевой грамоте и по твоей присылке денег сбирати было мне вскоре не мочно»^[408].

И вот тогда обостренным чувством действительности, которое дает хлеборобу и ремесленнику связь с землей и делом, поняли, наконец, что новая власть ничего, кроме разорения, не принесет. Шуйский как царь плох — но самозванец еще хуже. Не сразу, а понемногу, раскачиваясь, с оглядкой на других стали присылать поморские и северные города в Вологду своих ратников. Слали деньги и отряды из Поморья, с Двины, из Соли Вычегодской. Устюжане писали в другие города, как из Холмогор и Каргополя «и из иных мест прошли с государевою казною мимо Устюга, ко государю к Москве, а иные в полки к боярину и воеводе ко князю Михайлу Васильевичу»^[409]. В Москву прислал деньги Соловецкий монастырь — 3150 рублей и Печенгский монастырь — 398 рублей и 25 алтын, а еще «сто

пятьдесят ефимков» и даже ложку серебряную. В Новгород из Соловков Михаилу Скопину прислали еще две тысячи рублей^[410].

Василий Шуйский не скупился на похвалы и благодарности, прощал города, ранее присягнувшие самозванцу, и раздавал льготы: «И мы их вину им отдали, а за их службу пожалуем их нашим великим жалованьем, чего у них и на разуме нет, и для их службы и разоренья велим их во всяких наших податех полгодить, и торговати им велим беспошлинно»^[411]. И просил не оставлять ратников Скопина и впредь без помощи, чтобы «как почали, так бы есте и докончали».

Все присланное Скопину серебро немедленно переправлялось для чеканки монет на Новгородский денежный двор, который работал в те годы на полную мощь^[412]. Новгород был первым городом, где начал поиск средств Скопин. «А у меня, господине, в полках дворяня и дети боярские всех городов немецким людям денги и лошади и платье давали не единожды», — писал он, увещевая пермяков. «И в Новгороде митрополит, и архимариты, и игумены, и гости, и посадские и уездные всякие люди немецким ратным людям на наем, денги, и сукна, и камки, давали сколько кому мочно», — ставил он в пример новгородцев^[413].

Об этом же мы узнаём из материалов дела, заведенного на дьяка Ивана Тимофеева. К началу 1610 года дьяк Тимофеев отбыл срок своей службы в Новгороде, но выехать в Москву сразу не смог, а летом того же года город захватили шведы. Во время шведской оккупации Новгорода недоброжелатели Тимофеева возбудили против него несколько дел. По-видимому, желавшие свести с ним счеты решили использовать благоприятный для этого момент. Близкий шведским властям дьяк Пятой Григорьев, назначенный собирать налоги с новгородцев, обвинил Тимофеева в расхищении казны во время воеводства Скопина. Тимофеев подал шведским властям встречную челобитную, в которой рассказал о злоупотреблениях местных дьяков и подьячих, воровстве ими казенных денег. О воеводстве же Скопина он сообщил, между прочим, следующее: «Как де приехал в Великий Новгород боярин и воевода князь Михаил Васильевич, а с ним диак Сыдавной Васильев, и велели де им делати на приход и на расход свои книги...»^[414] Но подьячий Ждан Медведев, «забывшись сном», допустил ошибку, написал одну и ту же сумму дважды в книгу прихода, что и послужило поводом к обвинению Тимофеева в казнокрадстве. Если бы не оплошность этого подьячего, то, наверное, мы бы никогда не узнали, какой казной располагал Скопин в Новгороде: «Во

117-м году (1609-м. — *Н.П.*) при боярине и воеводе при князе Михаиле Васильевиче Шуйском в приходе 32 952 рубли 13 алтын пол-6 де(ньги), опроче 2554-х рублев 18 ал(тын) пол-2 де(нег)», которые дважды написал Ждан Медведев. Не густо, если учесть, что каждый месяц одним лишь наемникам необходимо было выплачивать жалованья 38 тысяч рублей.

...В новгородской приказной избе за широким дубовым столом сидели двое: воевода Михайло Скопин и дьяк Иван Тимофеев. Сквозь слюду окна в избу просачивался кроткий утренний свет и весело дробился на серебряных репьях, украшавших окно, — нарождающийся день обещал быть морозным и ясным. На столе горели свечи, в углу постреливала дровами беленая печка. Когда кто-нибудь открывал дверь, в избу врывались клубы морозного пара и терпкий запах моченых яблок и квашеной капусты: в сенях запасливые подьячие держали бочки с соленьями. Свеча давно оплыла, воск золотистой горкой застыл на столе, а Скопин все слушал доклад дьяка Ивана Тимофеева о заснувшем Ждане Медведеве и пересчете доходной книги. «Покупчился я здесь, на новгородском воеводстве, — с усмешкой глядя на новую, заведенную по его приказу приходную книгу и большой кованный ларец с казенными деньгами, думал Скопин. — В гостиную сотню из Бархатной книги переписался». Но по-другому, он уже знал, не получится: если не взять дело в свои руки и не вникнуть в тонкости доходов и расходов, разворуют всё, что ни есть, не успеешь и оглянуться.

На краю стола лежали свитки челобитных, принятых подьячими только за прошедшую неделю, — а сколько их накопилось за время воеводства Татищева! Челобитные нужно прочесть, выяснить, в чем суть просьбы, заставить найти старые записи, если они сохранились, по этим делам, а главное, — не допустить оплошности при вынесении решения. Их разбор он не доверял никому: как напишет позже дьяк Иван Тимофеев, «а боярин князь Михаил Васильевич и не в таких великих делах на челобитных подмечал своею рукою» ^[415].

Вот челобитная Аксины, дочери ратника Михайлы Мякинина, убитого под Каширой в бою с болотниковцами в 1607 году. Этого Михайлу Скопин хорошо помнил, не забыл он и то, как, не жалея себя, этот ратник рубился рядом с ним. Потому и писала Аксиныя Мякинина воеводе Скопину. Осталась она сиротой после смерти отца, поместье отдали ее дядьям, и теперь «бьет она челом боярину нашему князю Михайлу Васильевичу об отца своего поместье», чтобы было ей чем прокормиться. Воевода велел написать подьячему грамоту, по которой дядья должны

сироту «поить и кормить», а вскормив, замуж выдать. А пока она молода и муж ей еще не сыскался, «девке Оксиньце» приказано выделить из поместья ее отца «на прожиток пятьдесят чети».

Заступился он и за вдову Василия Оболянинова, убитого в том же 1607 году. Был Оболянинов в ертаульном полку «головою в первых стравщиках», и «за службу и за кровь» ее мужа вдове было пожаловано 95 четей земли из его имения. Скопин приказал поместье ее убитого мужа с новыми хозяевами разделить так, «чтоб ей, вдове Степаниде, в том разделе не обидно было»^[416].

Скопин перевел взгляд с челобитных на Ивана Тимофеева. С ним он познакомился еще в осаде под Калугой и Тулой. Книжность дьяка, его порой витиеватая, затейливая речь выделяли его среди других приказных. Не просто было иногда проникнуть в суть дела сквозь искусно выписанную Тимофеевым вязь слов, как сквозь бурелом пройти. «Затейливо говорит, — не раздумал, слушая дьяка, Скопин. — Не иначе пишет что. Сейчас многие в этот грех впадают». Впрочем, свои обязанности дьяк выполнял исправно, о хозяйственных делах докладывал просто и ясно и к Скопину относился сердечно; молодой воевода ценил это и к речи дьяка уже начал привыкать за месяцы своего новгородского воеводства.

Тот уже давно закончил читать свой отчет о новгородской казне и ждал указаний воеводы. Скопин молчал. Дьяк догадывался, что предстояло говорить о неприятном.

— Составил ты опись имения воеводы Михайлы Татищева? — отворотившись от дьяка, наконец промолвил Скопин.

Дьяк осенил себя крестным знаменем, пробормотал скороговоркой: «Упокой, Господи, душу убиенного раба Михаила».

— Составил, княже, — дьяк протянул свиток воеводе. — Можно выставлять на продажу.

«Да, — подумал воевода, — именно так и поступают с имуществом обвиненных в измене: выставляют на продажу». Он взял свиток у дьяка, развернул его и пробежал глазами.

— Вот что, — обратился он снова к дьяку, — у меня вчера головы и сотники были, говорили, что у вновь набранных казаков коней нет, седел, а у кого и ружей не хватает. С таким войском в поход не выступишь, разве только литву и поляков Кернозицкого насмешишь. — Воевода горько усмехнулся.

— Нет нынче в людех мужественной крепости и единства. Потому и богоборные латыняне в темно-мрачном ополчении окружаюша нас объятием,

яко велий змий хоботом, — неожиданно ответил дьяк.

Скопин покосился на Тимофеева, пытаясь вообразить тушинцев в виде змея с хоботом, и приказал:

— Пиши.

Он приготовился диктовать, просматривая список вещей Татищева. Дьяк обмакнул перо в чернильницу.

— Из оставшегося имения по убиении народом обвиненного в измене Михайлы Татищева дать казакам 12 седел для выезда за город против воров, — начал Скопин, припоминая вчерашний разговор с сотниками. — Десять самопалов дать вольным казакам, которые вновь прибраны в Новгороде для воровского приходу. Лошадей дать ратным людям, что сказались безконны, которым против воров выехать битись не на чем. Московским дворянам и детям боярским, новгородским помещикам, кто заплатить не сможет, дать вещи в долг ^[417].

Воевода остановился, припоминая:

— Запиши еще: дать большой самопал Миките Калитину без денег. — На вопросительный взгляд дьяка воевода пояснил: — Челобитную он подавал Татищеву, просил из государевых житниц ржи дать для бедности, — в осаде поиздержался совсем.

— Не чуждые земли нашей разорители, но мы сами есмы той потребители, — отозвался Тимофеев.

Скопин задумался над словами дьяка, а затем продолжал:

— Да запиши: для свейской посылки Семену Головину выдать из вещей Татищева теплый кафтан, именуемой чуга, камка шелк зелен с серебром, ценой в 15 рублей. Да кафтан холодный с ожерельем бархат червчат ценой 12 рублей. Да кушак червчат, камка золотая, цена рубль, да шапку лисью горлатную черную, в 10 рублей и другую — меньшую, ценой в 5 рублей. — Скопин пояснил дьяку: — По уму нас провожают, а встречают-то по одежке. Негоже свейским воеводам да дьякам видеть, как обносились русские ратники.

Тимофеев согласно кивнул и лишь спросил:

— Как записать прикажешь, княже?

— Запиши: без денег. Да передай Семену, пусть возьмет себе из рухляди служилой доспех, чокан, лук, седло, — что потребно, а ты все запиши.

— А себе, воевода, что возьмешь из той рухляди?

Скопин тяжело посмотрел на дьяка и, ничего не ответив, перевел взгляд в окно. Сквозь неясное оконце было видно, как ложился легкий снег

на деревья и землю, будто скрывая не то осеннюю грязь, не то мрачные воспоминания воеводы о случившемся здесь в сентябре убийстве.

— Мне ничего не нужно, — наконец обронил он.

Тимофеев внимательными глазами следил за выражением лица воеводы и, угадывая одолевавшие молодого воеводу мысли, произнес:

— Зело прелукав, злохитр и мздолюбен был Михалко Татищев, да как в Писании речеса: «в сети своей увязи грешник».

Скопин ничего не ответил дьяку. Но тот не отступал:

— У тебя, княже, шатер походный совсем прохудился, сквозь него все вокруг видно, можно и полы не поднимать. Как с таким в поход пойдешь? Из Москвы тебе другого не пришлют. И что свей подумают о стратегии нашем?

Скопин упорно молчал.

— Так я запишу, — не унимался дьяк, — 14 холстов на полы шатров да 27 аршин покромей суконных на поделку шатру. Да скатерти бранные, — как без них? — недорого, по 2 алтына за скатерть.

Он посмотрел на мрачного воеводу и продолжил:

— Вот еще кони есть, хорошие, говорят, воевода покойный их из Кахетии вывез, — как без коней в поход-то идти? А если твои, княже, падут или заболеют? Где взять? А хорошо выезженный конь и жизнь спасти может седоку. Все равно же ведь продадут, покупатели на них враз найдутся.

Скопин, наконец, поднял лицо к говорившему скороговоркой дьяку. Кони были страстью воеводы, и дьяк прав, хорошего коня найти не так просто.

— Ну, если только продадут... — нерешительно начал он.

— Продадут, не сомневайся, княже. А ты здесь по казенной надобности. Пишу: два жеребца аргамака, серый грузинский — 65 рублей да жеребец турецкий — 40 рублей. Покойный Татищев в них толк знал, худых да больных на его конюшне нет. Да мерина еще возьми, серого — 18 рублей.

...На этих лошадях Скопин и выступил из Новгорода в свой долгий поход, где ему предстояло научиться управлять наемниками, обучить воинскому делу своих наспех вооруженных ратников, сохранить от разорения города и освободить от тушинцев Троицкую обитель и Москву.

Глава седьмая «СПАСИТЕЛЬ ОТЕЧЕСТВА»

*Молитесь Богу, братия!
Начнется скоро бой!*

А. К. Толстой

Долго, трудно, с потерями и неудачами, но все же собирал со всего земского мира свое войско Михаил Скопин — как тяжеленный камень в гору закатывал. Порой срывался тот камень, скатывался вниз, к подножию, — в первых же столкновениях рассеивали опытные польские воины и казаки войско Скопина, и все приходилось начинать сызнова. Наемники, так долго ожидаемые царем и Скопиным, не раз разбредались в поисках наживы по городкам и селам Северо-Западной Руси, выгребая все, что глянется, и даже собственным, «родным» начальникам, кто привел их в Россию, доставляло немало труда вновь собрать их под воинские знамена. И Скопин скрепя сердце в который раз уговаривал, обещал, находил деньги и платил наемникам.

Да и свое, с таким трудом собранное с миру по нитке войско нуждалось в неустанной заботе и попечении с его стороны. Опорой ему здесь были те проверенные в деле немногочисленные воеводы, которые в основном уже сделали для себя выбор, с кем и на чьей стороне им быть. Скопин добивался главного, чтобы набранное им войско было послушным не только при движении и маневре в походном порядке, но и в бою. Помогали ему природная смекалка, умение обучаться на ходу, делать из своих ошибок нужные выводы. В итоге, как бы ни была тяжела и, казалось бы, неподъемна задача, его усилия начали приносить плоды; труд Скопина совсем не походил на бесполезные, каторжные усилия горемыки Сизифа. И как военачальник, и как дипломат, и как администратор, — он добился на финишной прямой своей короткой и яркой, как вспышка молнии на мрачном небосводе Смутного времени, жизни несомненных успехов, заслужив высокое наименование «спаситель Отечества».

Выборгский договор

Уже который месяц Скопин сидел в «новгородской осаде», как сам он называл свое вынужденное затворничество в Новгороде. Кернозицкий не давал возможности покинуть город, да и как сделать это, когда защитников в городе — раз-два и обчелся? Тушинцы это прекрасно знали и усилий своих по осаде города не оставляли. Однако, как записал в своем дневнике один из поляков, «там (под Новгородом. — *Н. П.*) казаки простояли без всякой пользы до самого лета»^[418]. Только благодаря присутствию Скопина не смогли тушинцы захватить город. Если бы не он, не миновать Новгороду судьбы соседнего Пскова. Вот и приходилось молодому воеводе рассылать гонцов во все города, собирать войско и ждать помощи из Швеции, неотлучно сидя в Новгороде.

В начале февраля шведы, наконец, согласились вести переговоры. Послами Скопин отправил в Выборг своего шурина, стольника и воеводу Семена Васильевича Головина, верного ему человека, и дьяка Семена Васильевича Зиновьева, по прозвищу Сыдавный. Его Скопин знал давно — в одном полку под Калугой они осаждали закрывшегося в городе Болотникова, сражались на Пахре, вместе накрепко обороняли Серпуховские ворота в Москве, когда под городом стояли отряды мятежного атамана.

Дьяк, как видел Скопин, себя не щадил, порученное ему дело выполнял добросовестно, иногда с такой выдумкой, что можно было диву даваться, откуда все это в одном человеке, — на него можно было положиться. Впрочем — это Скопин тоже хорошо видел, — при случае он и своей корысти не забывал. Про таких говорят: он и дело сделает и себя не забудет. Посольских одели в добротные шубы, лисьи шапки, на лошадях была богатая сбруя — знали: не только русские, но и свей встречают по одежке. Прихватили послы и подарки...

Переговоры вели в Круглой башне Выборгской крепости. Едва появились шведские представители: Йоран Бойе, член парламента, Арвид Вильдман — комендант Выборга, Отто Мёрнер — комендант Або, Тённе Бранссон — военный советник и секретарь Эрик Олафсон^[419] и стороны по протоколу приветствовали друг друга, как сразу возникли недоразумения, чуть не расстроившие начавшиеся переговоры: русские послы не смогли предъявить грамот, подписанных царем. В конце же той грамоты, которую они привезли с собой, комендант Выборга прочитал вслух подпись:

«Боярин и воевода князь Михайло Васильевич Скопин».

Шведы, конечно, знали, что Скопин — родственник царя и его «ближний приятель», как указывали в грамотах того времени. В желании самого Василия Шуйского заключить договор тоже сомневаться не приходилось: царь утвердительно ответил на предложения короля Карла ^[420]. Однако шведам было выгодно потянуть время. Они ухватились за протокол и объявили послам о приостановке переговоров. Таких пауз и заминок возникнет еще немало: Головин и Зиновьев пробудут в Выборге почти месяц.

Русские послы прекрасно понимали, почему шведы тянут время, и потому явились не с пустыми руками: ту наживку, на которую шведская рыбка клюет легко, послы уже приготовили в Новгороде, обсудив возможный ход событий со Скопиным. Во время следующей встречи со шведами инициативу взял в свои руки более опытный и красноречивый дьяк Зиновьев. Он нашел ход, который объяснял отсутствие на руках послов верительных грамот, подписанных царем.

— Явились мы сюда по приказу великого государя царя и великого князя Василия Ивановича, всеа Руси самодержца, и по приказу царского величества боярина и воеводы князя Михайлы Васильевича Шуйского, — громким, хорошо поставленным голосом, которым можно было и на площади перед толпой говорить и давать команду идти на приступ, начал дьяк. — А что грамот за царскою подписью не привезли, — так все дороги нынче до Москвы небезопасны, царских гонцов не раз с грамотами поляки да казаки перехватывали. Посланы мы подтвердить прежний договор, который князь Михайло Васильевич Шуйской с Моншею Мартыновым, посланным короля, в Великом Новгороде учинили. По тому договору обещался король и государь Карл Девятый две тысячи конных и три тысячи добрых пеших людей прислать в наем, да еще сколько сможет своих людей, сверх тех наемных пяти тысяч человек отпустить безденежно, а царь и великий князь Василий Иванович обещался, как ратные люди на рубеж придут, для них еду и питье, корм лошадям готовы будут. — Дьяк перевел дух и продолжил: — А у которых вашего вельможнейшего короля и государя конных людей идучи, лошади падут, или у кого лошадей вовсе не будет, и тем людям мы лошадей дадим. И под наряд, который от рубежа свейские люди с собою везут, тоже обещаемся подводы из Новгорода, сколько сможем, привезти.

— Мы читали этот новгородский документ, — выслушав дьяка, произнес сенатор Бойе. — Подтверждает ли царь и великий князь Василий

Иванович, что он будет соблюдать договор 1595 года, подписанный в Тявзине, и не претендовать более на Лифляндскую землю?

К такому вопросу, судя по всему, дьяк был вполне готов, он и бровью не повел.

— Подтверждает! — громко провозгласил он и обвел глазами шведов, сделав паузу, будто для того, чтобы те вполне могли оценить великодушные царя Василия. — И обещает быть заодно с братом своим королем Карлом против короля польского Жыкгимонта. И государю нашему и всему российскому государству без ведома Карла короля с литовским королем и всею литовскою землею не мириться.

Дьяк внимательно посмотрел на советника: тот задумался, затем начал крутить головой, ему хотелось увидеть реакцию своих помощников. Но Зиновьев понимал: тут не должно быть паузы, и добавил то, что волновало русскую сторону:

— Но и королю Карлу бы, без государева ведома и всего Российского государства, с литовским королем также не мириться. А коли нужда будет у свейского короля в людях воинских, то государь наш даст ему ратных людей в помощь столько же, сколько король Карл государю нашему даст.

— Ну, такие времена еще не скоро наступят, когда наш король будет у русских военную помощь просить, — произнес с усмешкой, склонившись к уху сенатора, военный советник Бранссон. Произнес тихо, но так, чтобы дьяк, по всему видно, понимавший по-шведски, понял.

— Мы слышали, — все с той же усмешкой обратился Бранссон к дьяку, — что у царя и великого князя Василия Ивановича казна в Москве пуста. Откуда же он собирается брать деньги для оплаты наемников?

По тому, как дьяк сверкнул глазами в сторону военного советника, было ясно: он уловил смысл сказанного до того, как закончил переводить толмач, и хотел ответить резко: мол, не вашего свейского ума это дело, — но сдержался.

Хотя дипломатическая карьера дворцового дьяка Сыдавного только начиналась, калач он был уже тертый, при дворе Василия Шуйского кого только не повидал: и грузинских князей, приезжавших помощь против турок и персов у русского царя просить, и жадных до чужих земель и денег шляхтичей, и ногайских мурз. И как вести переговоры, хорошо знал: где нужно пообещать, где взять голосом, а где и умом.

— Платить наемным людям будет князь Михаил Васильевич Шуйской по росписи, каковую он в Новгороде сам, своею рукою написал и подписал, — ответил дьяк с достоинством и ловко вынул из рукава кафтана и развернул узкий свиток грамоты. Начал читать:

«На 2000 коней, на месяц всякому по 25 ефимков, всех 50 000 ефимков.

На 3000 человек пеших, по 12 ефимков на месяц, всех 36 000 ефимков.

На большого воеводу на графа, на месяц 5000 ефимков.

Двум воеводам, один у конных, другой у пеших, на месяц 4000 ефимков.

Ротмистром, головам и приказным людем 5000 ефимков.

И всего, воеводам и ротмистром, и головам, и ратным людем конным и пешим, на один месяц найму 100 000 ефимков»^[421].

Закончив чтение, дьяк так же ловко, привычным движением свернул свиток и обратился к шведам:

— Мы с собой привезли четыре тысячи восемьсот рублей, чтобы вы ратным людем здесь сразу раздали, в наем их приказано не считать. Как придут ратные люде в Москву, то платить им станут вдвойне.

«Щедро, — подумал военный советник, заерзав на месте. — И плату у царя получают, да еще по дороге жители городов отступное платить будут, чтобы их эти головорезы не ограбили».

Будто прочитав недобрые мысли советника, дьяк Зиновьев вновь заговорил как по писаному:

— А вашим бы ратным людем, какие нашему царю и великому князю Василию Ивановичу на помощь идут, наши церкви и монастыри не разорять и не грабить, над иконами и образами не надругаться, а людей наших, которые за царя Василия стоят, не побивать и не полонить. А которые за ворами были, но добром сдадутся сами, — и тех также не побивать.

— Ну, а тех, которые добром не сдадутся? — спросил, словно уличенный в своих тайных помыслах и тем раздосадованный, военный советник.

— Литовских людей вольно вам побивать и в полон в свою землю забирать. А русских людей, крестьян, в набегах в плен не захватывать и не убивать. А кого из русских служилых людей в деле возьмете, — а они не добьют челом царю нашему, — тех мы выкупить можем^[422].

— Солдатам выплатят жалованье, — помолчав, произнес Бойе, когда дьяк завершил свою речь, — а что получит шведский король за оказанную услугу русскому государю?

Стольник Семен Головин кивком головы повелел выйти из палат сопровождавшим их воинам и вступил в переговоры:

— Царь и великий князь Василий Иванович поручил нам передать

секретно, что шведскому королю и брату его высокорожденному князю и государю Карлу Девятому готов он передать город Корелу, которую вы зовете Кексгольмом, с уездом.

Шведы переглянулись. За пять тысяч головорезов, собранных со всей Европы, которым русские обязуются платить, Василий Шуйский готов стать союзником в борьбе с поляками, подтвердить наконец Тязвинский договор, отказаться от претензий на Ливонию да к тому же еще отдать Кексгольм? О такой уступке можно было только мечтать. Похоже, пришло время для исполнения заветных желаний шведской короны.

— Может быть, еще и Нотебург попросим? — шепнул на ухо Бойе военный советник Бранссон. — Видно, дела у Шуйского совсем плохи, раз он пошел на доселе не виданное: добровольно, без войны раздает свои земли. Когда еще так удачно выпадет кость в игре?

Бойе покусывал губы, разглядывая русского посланника Семена Головина, одетого в теплый кафтан, покрытый зеленым шелком, украшенный серебряным шитьем и подпоясанный красным кушаком. «Вот потому и не верится в обещания русских, которые никогда ничего без торга не отдавали, ни яблоки, ни груши, — не то что свои земли, — размышлял сенатор Бойе. — И не ведет ли этот молодой Скопин, который, как говорят, боек и умен, свою собственную игру вдали от царя Василия? Не будем торопиться, — это только советнику саблей бы махать, — время и поляки работают на нас. Подождем, когда русские отдадут Кексгольм, дойдем до Москвы, изгоним их мнимого Дмитрия, а там и условия диктовать можно будет. Тогда Шуйский не то что Нотебург, но Ивангород, Ям и Копорье отдаст».

— А как мы можем поверить в то, что ваш царь действительно отдает добровольно крепость с уездом? — обратился он к Головину. — И, главное, кто подтвердит это обещание? Новгородский воевода Скопин?

— После того как наемные люди с рубежа пойдут к нам, спустя три недели мы доставим к вам грамоту подтверждающую от царского величества боярина и воеводы князя Михаила Васильевича Шуйского за его рукою и печатью Новгородской. А спустя два месяца наши гонцы доставят вам государя нашего царского величества крепость, за его государевою печатью, на город Корелу с уездом. Вашим же королевским воеводам с наемными людьми тогда бы нашему царю служить, к ворах не пристать, и городов, которые ныне в измене, не захватывать и нашему царю не изменять.

— Ну, а как не захотят ваши жители уезжать из Корелы, что делать будете? — с сомнением в голосе спросил выборгский комендант Арвид

Вильдман.

Но Головин и к этому был готов; похоже, в Новгороде со Скопиным они предусмотрительно прошли все возможные тропки, на которые могли свернуть шведы с главной дороги переговоров. И даже о секретности переговоров не забыли, — потому и приказали выйти своим спутникам вместе с переводчиком. Если о передаче Корелы станет известно раньше времени, недовольство царем Василием Шуйским в России может только усилиться.

— Как начнут наемные люди служить нашему государю, спустя одиннадцать недель город Корелу мы очистим и отдадим швейскому королю, чтоб владел он той землей, как было раньше, при великом государе нашем царе и великом князе Василии Ивановиче, — перевел слова Головина шведский толмач. Дьяк Зиновьев внимательно следил за переводом.

— Город царь отдает вместе с людьми? — переспросил военный советник.

— Кто захочет выйти из Корелы на Русь, тех мы вывезем вместе с имуществом. А также из церквей всякое церковное строение и образы, из крепости наряд вместе с зельем, и ядрами, и пищалями, — все, что нам принадлежит, — переводил толмач. — Ну, а кто захочет остаться жить в Кореле и уезде, тех неволить и увозить не будем, — пусть там живут ^[423].

Не раз и не два встречались еще русские послы со шведами, целый месяц в Выборге прожили, уж и деньги, выданные им в Новгороде на прокорм, вышли, но все же под шведскую дудку плясать не стали. Несмотря на сверхблагоприятную для шведов ситуацию, в окончательный договор послы все же смогли включить необходимые для России пункты:

1) обязательство шведов не переходить на сторону поляков и не «засесть» в тех русских городах, которые сдадутся добровольно или которые придется взять штурмом;

2) шведское войско должно сразу же после подписания договора идти на Москву, не задерживаясь и разбивая и изгоняя по пути войско «воров» и поляков;

3) наемники должны подчиняться, кроме своих военачальников, также русскому главнокомандующему князю Скопину: «...и над князем Михайлом Васильевичем изменою или злохитрым иным умышленьем не подыскивати и шкоты никоторыя не учинити, под смертной же казнью, а быти у него в послушанье и в совете, поколе они в их земле будут»;

4) в наемном войске будут постоянно присутствовать русские послы

Головин и Зиновьев для наблюдения за исполнением договора.

Шведы, со своей стороны, также выторговали себе ряд новых уступок:

1) русские обязались в случае необходимости усилить свои войска в Лифляндии против Польши, чтобы шведы не отзывали для этой цели наемное войско из России;

2) Россия должна была весной обеспечить проход шведским войскам через Ям, Копорье и Ивангород, поскольку проход по льду Финского залива в это время года невозможен.

Не забыли шведы включить даже такое условие — обязали жителей принимать у них для оплаты корма шведские деньги: «золотые, и ефимки, и мелкие серебряные денги на покупки ходити», а русским тех денег «не поругатись, ни охулити».

Исследователи, занимающиеся русско-шведскими отношениями того времени, склонны оценивать этот договор как безусловную «ошибку русской дипломатии при Василии Шуйском»: «Некритичный выбор союзника» в трудную минуту стоил «почти столетнего периода тяжелейшей борьбы для русского народа»^[424]. С этим трудно спорить, памятуя о дальнейшем развитии событий — захвате шведами Новгорода и удержании его в течение нескольких лет, о русско-шведских столкновениях на протяжении всего XVII века, вплоть до Северной войны. Однако думается, вовсе не договор подтолкнул шведов к захвату российских территорий, а то тяжелое положение, в котором оказалась наша страна в период Смуты.

Якоб Делагарди

Когда Кернозицкий запер Скопина в Новгороде, а Сапега и Лисовский осадили Троице-Сергиев монастырь, Тушинский вор почувствовал себя под Москвой уже вполне полноправным царем. В документах он даже стал именоваться «единым христианским царем под солнцем и многих княжеств государем и повелителем»^[425]. Его отряды, разбредаясь по волжским и замосковским городам, «не ленились, жгли, убивали, грабили всюду, куда им только удавалось попасть»^[426]. Лагерь в Тушине ломился от свозимого со всей округи продовольствия; редкий день не отворялись ворота табора, чтобы пропустить гурт скота или очередной воз, груженный мешками с мукой, бочонками с маслом, медом, вином, солодом, найденными в крестьянских дворах или монастырских подвалах.

Вести о сладкой жизни тушинцев пересказывали друг другу в письмах, «перелеты» и лазутчики разносили их по стране, и многим захотелось жить так же, как перешедшим на сторону царя Дмитрия. Вскоре из Астрахани стали доходить известия о появлении там трех новых самозванцев: «един назвася Август, царя Ивана сын, другой назвася имя Осиновик, сын царевича Ивана, а третий назвася Лавр, царя Федора Ивановича сын»^[427]. В отличие от Тушинского вора, который «неведомо, откуда взялся», происхождение новых самозванцев не являлось загадкой для их окружения, но ни самих претендентов, ни их «свиту» это нисколько не смущало. К тому времени падение престижа всякой власти в стране, охваченной хаосом Смуты, было столь очевидно, что ватага казаков вполне могла найти своего кандидата на царский престол, чтобы идти с ним на Москву. Так когда-то в императорском Риме последних веков его существования солдаты по своему желанию и усмотрению возводили на императорский престол популярных в армии командиров. Впрочем, неугодных «солдатских императоров» свергали так же быстро, как и возводили; марионеточные правители сменяли друг друга в зависимости от влияния той или иной группировки при дворе или командиров отдельных армий.

Астраханские самозванцы до Москвы не дошли, их воцарение не задалось. Одного из них, Осиновика, по неизвестным причинам казаки сами «повесиша на Волге», двух других — Августа и Лавра — повелел повесить «царь Димитрий» в Тушино, на Московской дороге.

Пока тушинцы под Москвой предавались сытой и веселой жизни, в

самой Москве царило иное настроение. Отрезанная отрядами казаков и поляков от важнейших районов страны, столица голодала. В город прекратился подвоз хлеба, дров и сена для лошадей; осажденные москвичи разобрали и пустили на топку дворы отъехавших к самозванцу изменников, сожгли уже все заборы. «А рожь в Москве сырая в рубль, а сухая рожь сорок алтын (рубль двадцать копеек. — *Н.П.*), — доносили в Тушино лазутчики, — сена воз купят в три рубля и свыше». Голод, холод и высокие цены заставляли некоторых покидать столицу: «...а люди с Москвы бредут розно, служивые и всякие люди»^[428].

К весне, когда запасы совсем истощились, цены поднялись выше прежнего. «Рожь в два рубля, горох в три рубли, четь крупы гречневые в три рубли, а овес купят четь в сорок алтын, сена воз в два рубля, а яловицу купят рублей в десять, а на Москве многие люди помирают голодную смертью»^[429], — докладывали перебежчики. Иссякли амбары простых москвичей и царские житницы, иссякло и терпение самих москвичей. Виновником бед и лишений всё чаще стали называть царя Василия Шуйского. Уже не одно покушение, по уверению московских беглецов, произошло на царя: «хотели Шуйского убить на Вербное воскресенье, и тогда нелучилось». Пришедшие к нему толпой «дети боярские и черные люди» «с криком и вопом» добивались от царя ответа: «До чего им сидеть? хлеб дорогой, а промыслов никаких нет, и ничего взята не где, и купите не чем»^[430]. Царь просил дать ему срок до Николина дня — вся его надежда была на Скопина, которого со дня на день ждали из Новгорода с наемниками, и на Шереметева, идущего из Нижнего Новгорода на Владимир, а дальше на соединение со Скопиным.

Князь Федор Иванович Шереметев со своей «понизовской ратью» продвигался медленно, но верно: он уже освободил Муром, на Волге под Юрьевцом Поволжским разбил отряд Лисовского, выгнал тушинцев из Касимова. Царь через посланцев поблагодарил воеводу Шереметева, но одновременно выразил свое недовольство его медлительностью: «идет мешкотно, государевым делом не радеет». По Москве ходили упорные слухи, что готовится новое покушение — на Вознесение, и даже известно, что убить царя хотят «из самопала». Василий Шуйский видел, что продолжительность его царствования целиком зависит от военных успехов этих двух полководцев, и потому нетерпеливо подгонял Шереметева.

С нетерпением ждали в Москве и войско Скопина: еще в ноябре 1608 года, когда Михаил Васильевич начал вести предварительные переговоры в Новгороде, державшие сторону царя Василия города уже заговорили о

победах Скопина, распространяя преждевременные, но такие желанные вести. Устюг сообщал в Соликамск, что некий «Митка Седлов» привез из Тотмы слух, будто «пришел со многими людьми к Москве, из Великого Новгорода, князь Михайло Васильевич Скопин-Шуйской со многими воинскими людьми, с новгородцами и со псковичи и с немцы, и Тушино погромил»^[431]. Именно Скопину народная молва приписывала самый громкий успех, к нему все обращали свои надежды. Скопин, конечно, знал о том, как его ждут в Москве, не только из писем царя Василия, ему рассказывали о голоде в письмах мать и жена.

Тем временем сам Скопин так же нетерпеливо ждал в Новгороде возвращения послов вместе с наемным войском. Еще не были завершены переговоры, когда поставленный шведским королем во главе войска Делагарди выехал из Стокгольма. Обычно в эту пору шведы переправлялись в Финляндию по льду Ботнического залива, однако зима 1609 года оказалась непривычно теплой для тех мест, и переправляться по льду конному, тяжело груженному войску было небезопасно. Решено было двигаться по берегу, вокруг залива, что потребовало дополнительного времени. В начале февраля наемники добрались до восточного побережья, но и здесь вышла заминка: короткий путь на Выборг оказался занесен снегом, пришлось идти в обход. Наконец 5(15) марта Делагарди со своим войском прибыл в Выборг^[432].

Якоб Понтус Делагарди был сыном того самого Делагарди, с которым воевал в годы Ливонской войны Василий Скопин-Шуйский. В 1581 году, когда отец Михаила Скопина оборонял Псков от поляков, отец Якоба Делагарди осаждал русскую крепость Нарву. Теперь, спустя 27 лет, судьба вновь сплела в один клубок эти две фамилии, но на сей раз потомкам предстояло обнажить мечи против общего врага.

Якоб Делагарди родился в 1583 году в Ревеле (Таллине) и был старше Михаила Скопина всего на три года. О своих французских корнях он уже забыл — его отец получил в Швеции за военные заслуги титул барона и звание фельдмаршала и даже породнился с королевским домом, женившись на внебрачной дочери короля Юхана III^[433]. Рано оставшись сиротой, Якоб воспитывался при дворе своего деда Юхана III и готовился стать военным. К началу московского похода молодой Якоб Понтус Делагарди уже имел солидную биографию, в которой, как и полагается военному, были и победы, и поражения.

Во время войны с Польшей молодой Якоб Понтус участвовал в походе короля Карла IX в Лифляндию. Там при обороне города Вольмара в 1601

году он попал в плен к полякам. Похоже, его военная карьера повторяла карьеру отца — французского наемника, когда-то попавшего в шведский плен. В Польше Якоб провел долгие пять лет. Во время польского плена он хорошо выучил не только польский язык, но и нравы польских воинов, их приемы и уловки на поле боя.

Тяжелая кавалерия — гусары — составляла гордость польской армии того времени. В гусарских полках, в отличие от легкой кавалерии, служили в основном представители знатных польских и литовских фамилий. Главным оружием гусар были длинные — от 4,5 до 5,5 метра копья, на концах которых развевались разноцветные яркие флажки-прапоры. Эти прапоры, как говорили очевидцы, «застилали глаза неприятельских коней» в бою и пугали их. Во второй половине XVI столетия копья гусар укоротили; к сабле и притороченному к седлу тяжелому палашу прибавились два седельных пистолета, и таким образом вооруженная огнестрельным оружием польская конница стала еще более грозной силой. Однако главным оружием польско-литовской конницы по-прежнему оставались длинные пики. Грозное впечатление, особенно на новичков, производила слаженность действий оцетинившейся копьями атакующей польской конницы, словно острым стальным клинком пронзающей ряды неприятеля. Нанеся удар копьем и сблизившись с противником, гусары начинали рубку саблями и палашами.

Не меньший ужас, чем копья, наводили на неприятеля и его лошадей знаменитые «крылья» за спиной гусарских панцирей, издававшие на ветру во время атаки громкий шелест. Считалось, что непривычные к этому звуку лошади пугались, отказывались подчиняться командам всадников и в результате ломали строй, лишая конницу ее главного преимущества.

Впрочем, Делагарди всем этим рассказням о польских гусарах не верил; он по опыту знал, что в гуле сражения, треске пистолетных выстрелов и свисте пушечных ядер боевых коней вряд ли мог напугать трепет каких-то там «крыльев». А вот то, что «крылья» были способны защитить всадника от удара саблей по шее и произвести впечатление на неприятеля во время атаки, — в этом Делагарди убедился на поле боя сам.

Впрочем, и недостатки польской армии, особенно шляхетского ополчения, Делагарди тоже хорошо изучил. Сборы польской шляхты на войну были долги, некоторые порой так и не выезжали из своих замков. Словом, Делагарди был вполне согласен с мнением русского беглеца Андрея Курбского, весьма критично отзывавшегося о польском поместном войске: «Яко слышат варварское нахождение, так забьются в претвердые грады; и воистину смеху достойно: вооружившись взброи, сядут за столом

с кубками, да бают фабулы с пьяными бабами своими, а ни из врат градских изыти хотяще, аще и пред самым местом, або под градом, сеча от басурман на христиан была»^[434].

После своего освобождения из плена Делагарди не вернулся домой в Швецию, а нанялся в войско к талантливому полководцу Морицу Нассаускому, ведущему борьбу с Испанией за независимость Нидерландов^[435]. Якоб Делагарди служил принцу Морицу верно и ревностно, главным образом потому, что основным правилом принца было платить наемникам сполна и вовремя. В Нидерландах Делагарди много приобрел как воин и полководец: он изучил новый, введенный Морицем принцип построения подразделений войска с копьеносцами в центре и вооруженными огнестрельным оружием пехотинцами по флангам, усвоил необходимость постоянного внимания к обучению воинов — всему этому стоило поучиться в войске Морица Нассауского любому военачальнику.

Война Нидерландов против Испании шла к концу — после ряда тяжелых военных поражений испанцы были вынуждены подписать в 1609 году перемирие сроком на 12 лет. Оказавшимся не у дел «рыцарям удачи» предстояло искать новую войну. К несчастью, в то время в Европе велось немало войн, поэтому Делагарди охотно согласился на предложение короля Карла IX идти во главе наемного войска в Россию.

Заснеженной дорогой до Выборга Якоб вспоминал рассказы о войне в России, которые слышал в детстве. Самым ярким, сохранившимся в его памяти был рассказ о том, как его отец штурмовал русскую крепость Нарву. Несколько дней обстреливали шведы из тяжелых пушек город, но малочисленный гарнизон крепости и упрямые жители города ни за что не хотели сдаваться. Тогда полководец Понтус прибег к древнему, но хорошо проверенному средству: он пообещал в случае победы отдать город участникам штурма на разграбление. От желающих штурмовать Нарву после такого обещания не было отбоя, каждому захотелось первым ворваться в богатый торговый город — ворота русских на Балтике. «Мы готовились к штурму, как к пляске», — вспоминали спустя много лет ветераны того штурма^[436]. Понтус не сомневался, что немногочисленный гарнизон крепости не сможет устоять перед рвущимися к грабежу солдатами. На следующий день его воины с ходу взяли Нарву, ограбили ее подчистую и буквально залили кровью: они вырезали практически все население города — семь тысяч человек, не пощадив даже стариков и детей.

Возможность повоевать в России привлекала Делагарди прежде всего

большими барышами. Но не одна корысть двигала им: честолюбие королевского внука требовало новых побед, как хороший костер — сухих дров. Он мечтал повторить подвиги своего знаменитого отца в России, которые были навеки запечатлены в их родовом гербе. Когда-то его отец смог захватить и присоединить к Швеции город Корелу. Однако после смерти старшего Делагарди русские вернули Корелу себе, и вот теперь он — Якоб, сын Понтуса Делагарди, — вновь завоеует ее для Швеции.

«Немецкая кованая рать»

Получив новые секретные инструкции в Выборге, 11 марта Делагарди выдвинулся по направлению к границе. В его войске, как сообщалось в отписке, было восемь тысяч всадников и четыре тысячи пехотинцев, собранных со всей Европы: «Свейския земли, и шкотцких, и дацких, и фрянцовских, и аглинских, и голанских, и борабанских и иных земель», не считая идущих из Нарвы и Ревеля^[437]. Русские, впрочем, различий между иностранцами в те времена не делали и называли всех одним словом: «немцы».

Делагарди послал разведывать дорогу опытного и проверенного не в одном деле Христиерна Сомме, с которым воевал вместе в Нидерландах, придав ему отряд в две с половиной тысячи человек. Через две недели наемное войско подошло к русско-шведской границе, на другой стороне которой его поджидал царский воевода Иван Ододуров с небольшим отрядом в 300 человек^[438]. На вопрос шведов о причинах малочисленности русского отряда Иван Ододуров ответил, что долгое время на границе стояло русское войско в 25 тысяч человек, но теперь они вынужденно отошли и «травятся» с поляками близ Копорья.

Иван Григорьевич Ододуров принадлежал к числу высших должностных лиц в окружении царя Василия, ему доверялись многие ответственные поручения. Сын боярский в начале царствования царя Василия, он вскоре стал стряпчим с ключом, а затем — постельничим царя^[439]. О нем, как о самом ревностном служаке царя и его деятельном помощнике, упоминает автор доноса королевичу Владиславу, преподнося списочный состав главных «ушников» царя Василия: «Постельничей Иванис Григорьев сын Ододуров. А такова вора и на Москве нет. И по немец у Шуйского напросился, и немец к Москве привел». Не случайно в 1610 году Ододуров категорически отказался признать отречение царя Василия и не присягал Владиславу^[440].

Делагарди, выслушав ответ Ододурова, усмехнулся и переглянулся с Сомме, который ответил ему понимающим взглядом: если бы у Скопина действительно было такое многочисленное войско, то он не сидел бы в Новгороде, осажденный четырехтысячным отрядом Кернозицкого, и не нанимал бы солдат по всей Европе. По сведениям шведов, у Скопина в Новгороде было всего три тысячи человек да еще две тысячи выслано по

разным дорогам. Так что ответ Ододурова о существовании мощного русского войска в Копорье скорее следовало расценивать как тактическую хитрость, а не достоверную информацию, что вполне отвечало духу внешней политики царя Василия: изображать ситуацию не такой, какая она есть, а такой, какой должна быть в глазах извечной противницы России Швеции.

К крепости в Копорье пришлось идти самим наемникам. Чтобы узнать, как там обстоят дела, на разведку послали 200 всадников и 150 «пеших на железных лыжах» во главе с Хансом Бойе. Однако, несмотря на «немаловажность маленького замка», как оценили его шведы, взять Копорье, занятое сторонниками тушинцев, не удалось. Наемники отступили, памятуя, что главной их целью является Москва, и двинулись на соединение со Скопиным в Новгород.

Едва войска перешли границу и встретились с отрядом Ододурова, как послы Головин и Зиновьев тотчас отправили грамоты с сообщением об этом Скопину. Обрадованный Скопин немедленно известил о приходе военной помощи другие города, желая их приободрить. «Господину Семену Панфиивичу Михайло Шуйской челом бьет, — писал он в Каргополь. — Марта, господине, в 8 день писали ко мне, в Великий Новгород, столник и воевода Семен Васильевич Головин да диак Сыдавной Васильев с Иваном Огаревым, что они в Выборе с королевскими воеводами о ратных людех договорились, и крестным целованием укрепились, и записми розменились, и из Выбора ратных людей на рубеж выслали»^[441]. В грамоте Скопин подробно извещал каргопольского воеводу и вместе с ним царя Василия, которому немедленно должна была быть переслана «отписка», что наемное войско вышло из Выборга 3 марта, послы вместе с «немецкими воеводами» отправились к границе 4 марта, а сам Скопин, как только «немецкие люди в Новгород придут, и яз с государевыми и с немецкими людми, прося у Бога милости, пойду ко государю к Москве тотчас».

Пока войска шли к Новгороду, Скопин неустанно просил в своих «отписках» о денежной помощи; он прекрасно понимал, что без денег наемники воевать не будут. Доносили ему и о секретных инструкциях, полученных главнокомандующим Делагарди от короля: в случае невыплаты жалованья требовать русские города Ям, Копорье и Ивангород.

30 марта 1609 года, «на пятой неделе Великого поста в пятницу»^[442], наемное войско подошло к Новгороду. Как сообщал Скопин царю, «немецких ратных людей кованья рати», то есть в панцирных доспехах, насчитывалось 15 тысяч человек. У некоторых исследователей названная

Скопиным численность войска вызывает естественные сомнения^[443]: в сражениях наемников с тушинским войском численность отрядов с обеих сторон не превышала пяти — семи тысяч человек. К тому же найти в раздираемой гражданской войной стране деньги для оплаты такого огромного наемного войска не представлялось возможным, да и редко какое из государств по тем временам было способно на это.

Так какова же была реальная численность войска? Шведские историки, опираясь на дипломатические документы, называют иную цифру наемников — пять тысяч. Это вполне согласуется с Выборгским договором: две тысячи конных и три тысячи пехотинцев. Примерно это же количество — четыре тысячи человек — называет и французский наемник Пьер Делавилль, прибывший в Россию вслед за корпусом Делагарди^[444]. Правда, в Выборгском договоре указывалось, что помимо пяти тысяч наемников шведский король может прислать и еще, «сколько смогут нанять». Но Карл IX вовсе не собирался оплачивать наемников из своего кармана — как заметил И. О. Тюменцев, срок службы наемников шведской короне истекал в 1608 году, и шведский король ловко расплатился с ними в Выборге деньгами, присланными Скопиным-Шуйским из Новгорода. Шведское королевство и само в тот момент испытывало денежные трудности: Карл IX будет даже вынужден занять деньги у Делагарди.

Зачем же тогда Скопин указал в отписке неверную численность наемного войска, пришедшего в Россию? Видимо, для того, чтобы ввести в заблуждение тушинских предводителей, которые нередко перехватывали грамоты царских воевод. Намеренное преувеличение иноземного войска должно было посеять волнение среди сторонников Тушинского вора и, наоборот, укрепить дух сторонников царя Василия Шуйского. Если вспомнить ответ Ивана Ододурова о численности его отряда на границе, то такой прием, судя по всему, вовсе не был редкостью в те времена.

Осторожный Скопин, зная нравы наемников, прислал к Делагарди гонца с просьбой оставить все это разноязыкое войско за городом, самого же главнокомандующего со свитой он приглашал в город. Разрешить ввести наемников в богатый Новгород — все равно что привести козла в огород и надеяться, что он не станет есть капусту. Впрочем, в соответствии с этикетом и как гостеприимный хозяин, Скопин прислал из города почетный эскорт в количестве 1500 человек для командующего. Этот же эскорт, по-видимому, должен был удостовериться, что наемники действительно поставили лагерь за городом. Делагарди просьбу Скопина выполнил и въехал в Новгород без войска. Так состоялась первая встреча двух

полководцев, которым больше года предстояло сражаться вместе.

Переговоры военачальники вели через нескольких переводчиков. В документах называются их имена: Арн Брук, Ханс Бранкель (русские называли его Анцы Брянкилев) — уроженец Москвы, состоявший на шведской службе; Эрик Андерссон (Ирик Андреев), Еран Бойе, — все они прибыли вместе с Делагарди^[445]. По сведениям иностранцев, среди переводчиков был и русский по имени Димитрий, который когда-то был отправлен по указанию Бориса Годунова учиться в Западную Европу^[446]. У Скопина толмачом состоял Ганс Флерих, немец по происхождению, находившийся в России на военной службе.

По отзывам современников, отношение самого Делагарди и остальных командиров к Скопину было вполне дружеским. Они по достоинству оценили его храбрость и мужество как воина, ум и здравомыслие как государственного мужа и полководца. «Сей Шуйский хотя был молод, ибо ему было не более 22-х лет, но, как говорят люди, которые его знали, был наделен отличными дарованиями души и тела, великим разумом не по летам, не имел недостатка в мужественном духе, и был прекрасной наружности»^[447].

О доброжелательном отношении шведских военачальников к Скопину писал и смолянин, участвовавший в походе: «И с радостью приидоша к нему немцы неки, Яков Фунтусов и Виргов и многие немецкие полковники на помощь. И видя князя Михаила Васильевича бодра, и храбра, и премудра, и многою красотою от Господа одарена, и его доброумна, и приветна, наипаче возрадовашася и з болшим радением ему послужиша»^[448]. Однако следует признать, что любовь и дружба шведов к Скопину будут требовать постоянного внимания с его стороны, материализованного в деньги, меха, ткани, дорогие подарки командирам.

Едва «немецкая кованая рать» дошла до Новгорода, фактически не принеся еще никакой пользы, даже не взяв маленькой крепости в Копорье, как сразу же потребовала оплаты. Это была традиционная уловка всех наемных войск того времени: требовать оплаты перед началом боя. «Приидоша же в Великий Новгород к боярину, ко князь Михаилу Васильевичу Шуйскому, Семен Васильевич Головин да дьяк Сыдавной Васильев, а с ними приидоша немцы конные и салдаты с воеводами, с Яковом Пунтусовым да с Иветгором (Эвертом Горном. — *Н. П.*), и начаша уговариватися об найму», — сообщает летописец^[449]. Чтобы переговоры шли успешнее, Скопин преподнес Делагарди персидский булатный кинжал

в золотых ножнах, украшенный камнями: «лалы, и с бирюзы, и с винисы», и серебряную уздечку, — все из конфискованных вещей убитого Михаила Татищева^[450].

По условиям договора оплата начислялась ежемесячно с момента перехода границы и до Москвы, после освобождения Москвы — двойная. Так что наемники были заинтересованы не в активных боевых операциях, а в длительности похода, по принципу: «солдат спит — деньги идут». Поэтому Делагарди начал убеждать Скопина, что его «войско истощено походом» и ему нужно «отдохнуть в Новгороде, пока не высохнут дороги, полные грязи и тающего зимнего снега»^[451]. А за это время царь мог бы утвердить подписанный в Выборге договор и скрепить его своей печатью. Рассуждения Делагарди и его поведение вполне подтверждали данную ему наемниками в московском походе кличку: «ленивый Якоб».

Однако и Скопин знал все возможные условия расчета с наемниками. В «Уставе» ясно говорилось об этом: «А по иным временам бывают что с такими людьми особо договор чинится в наймех... наперед на руки дата половина найму месячного, а иное бывает, что им целой месячной наем дается или болши наперед смотря по делу...»^[452] А вот дела-то как раз и не было, ни в одном серьезном сражении наемники еще себя не показали, а Скопин рассчитывал как раз на активность наемников и потому приложил все усилия к тому, чтобы войска как можно скорее начали продвижение к Москве. Если бы он нашел все необходимые по договору деньги и выплатил их в Новгороде, то наемники вполне могли бы уйти за границу, так и не сделав ни одного выстрела. И Скопин предпочел выплачивать обещанное по частям, за конкретные действия наемной армии. Опасался Скопин и двухмесячного праздного стояния войска под Новгородом (раньше мая в тех краях дороги не просыхают) — оно могло стать гибельным для жителей Новгорода и его окрестностей. Дальнейшие события покажут, что опасения Скопина были совсем не беспочвенны. Но тогда, весной 1609 года, Скопин смог справиться с ситуацией.

5 апреля он подписал грамоту, подтверждающую передачу шведам города Корелы с уездом, а 15 апреля — «утвержденную грамоту» на Выборгский договор, скрепил их новгородской печатью и пообещал как можно скорее доставить в Москву на подтверждение царю^[453]. Ну и самое главное для наемников: он пообещал им раздать пять тысяч рублей деньгами и три тысячи соболиными мехами, как только они выдвинутся по направлению к Москве.

Гонцы Скопина немедленно отправились к купцам Строгановым в

Соликамск и в Вологду. «А что, господа, у вас у Соли Вычегоцкия государевы денежный казны есть в сборе, прошлого 116 и нынешнего 117 году (1608–1609 годы. — Н. П.), и вы б ту государеву казну прислали ко мне в Великий Новгород тотчас, не измотчав, по нынешнему по последнему зимнему пути», — писал к ним Скопин, сообщая о приходе «немецкой кованой рати»^[454].

Строгановы собрали «государевы денежные доходы... с посаду и с уезду», прислали письмо в Пермь, приклеив к нему отписку Скопина, и попросили о сборе денег жителей Перми. Сейчас послать деньги легче, чем раньше, заметили Строгановы, «тогда, господа, дороги дале Вологды не было, а ныне дал Бог к Великому Новгороду с Вологды из Ярославля дорога чиста, ехати мочно, а начаемся Божии милости вскоре и к Москве дорога очистится»^[455]. За особую помощь царь пожалует торговым людям Строгановым большие привилегии, в том числе почетное право писать себя «с вичем», то есть именоваться по отчеству.

Однако полученные от Скопина деньги и меха так и не заставили наемников выйти в путь по размокшим от снега русским дорогам: воины, как пишет Видекинд, были «недовольны» тем, что жалованье им не выплатили полностью. О деньгах, заплаченных как в Выборге, так и здесь, в Новгороде, было уже забыто. Если Скопин не рассчитается сейчас, передавал воеводе Якоб Делагарди, шведам придется пойти на крайние меры: захватить когда-то принадлежавшие Швеции города Ям, Копорье и Ивангород.

Можно представить, какую трудную задачу решал Скопин, уламывая самого Делагарди и его «псов войны» на единственную удачную битву, которая бы заставила многих одуматься и вернуться в царское войско^[456]. Скопин потому и торговался с наемниками, как на базаре.

Но той самой удачной битвы пока не случилось, и Скопину вновь пришлось через гонцов уговаривать «немецкую рать» и изыскивать где только можно денег. «Чтобы привлечь сердца воинов, Скопин снова отсчитывает им 4000 рублей деньгами и 2000 рублей сукном (*in ranno*) и в течение нескольких недель щедро посылает продовольствие из города», — пишет шведский историк^[457]. Убедившись, что договор Скопиным все же выполняется, Делагарди согласился наконец выступить из Новгорода, тем более что кони наемного войска уже съели весь корм в городе и его окрестностях. «И начаша князь Михайла Васильевич збиратися идти на очищение Московского государства», — записал летописец.

Начало «очищения Московского государства»

«Зачистку» Скопин решил начать со Старой Руссы: продвигаться к Москве, оставляя у себя в близком тылу занятый врагами город, было опасно. Он выслал туда отряд наемников под командованием Эверта Горна, «да с русскими людьми Федора Чулкова» и Семена Головина, «да с ними дворян, и детей боярских и стрельцов и казаков и охочих людей». О происшедшем под Старой Руссой единодушно поведали автор «Нового летописца», шведский историк Видекинд и сам Скопин в отписке царю. Узнав о приходе большого числа наемников и войска Скопина, тушинцы бежали из города в Торопецкий уезд; когда же Старая Русса была уже занята войсками, Кернозицкий попытался было вытеснить шведов и русских из города, однако ему это не удалось ^[458].

По сведениям из польского лагеря тушинцы потерпели поражение потому, что казаки были смертельно пьяны ^[459]. Вполне возможно, что насидевшееся без дела, обленившееся за долгую зиму воинство не ожидало нападения. («Как же может статья, чтобы на безделье не напился человек?» — заметил один из героев Н. В. Гоголя.) В бою у села Каменка близ города Торопца «московитяне взяли девять пушек, знамена и пленников» ^[460]. Все это, как признает польский автор, определенно придало смелости русским в их дальнейших действиях и явилось следствием «счастья и успехов» Скопина. Безусловно, везение всегда было не последним делом в военных победах.

Преследуя бежавших «литовских людей», наемники и ратники Скопина совместными усилиями разбили их, и «Торопец очистили и ко кресту к царю Василью приведоша». Федор Чулков остался с отрядом в Торопце, а Эверт Горн отправился назад к князю Михаилу. На обратной дороге отряд Горна вновь встретился с тушинскими войсками — у Троицкого монастыря «на Хохловище»; монастырь «взяша приступом и побита на голову» литовских людей ^[461].

Поляк Н. Мархоцкий в своем дневнике уточняет, с кем именно сражались наемники и ратники Скопина — с полком Александра Зборовского и запорожскими казаками, которые ушли из-под Новгорода: «все его войско составляло около четырех тысяч человек» ^[462]. Этот же полковник выступит к Торжку, где встретится с русско-шведским войском под командованием Эверта Горна и воевод Семена Головина и Корнилы

Чоглокова.

Бой под Торжком 17 июня 1609 года ^[463] его участники и современники описали не так единодушно, как события в Старой Руссе. Более того, каждая из сторон приписала главный успех себе. Вот как выглядит это сражение в описании шведского историка Видекинда: «Под знаменами врагов во главе с названным Зборовским и Григорием Шаховским было 3 тысячи человек, тогда как у Горна, включая русских, только 2 тысячи. С этими силами он решительно ударил на неприятеля и при первой же атаке захватил главное знамя. Тут ряды смешались, кони поскакали, и много отличных коней захватил победитель; перебито было 100 отступающих, множество ранено, а всех остальных он обратил в стремительное бегство. Сам предводитель бежал в лагерь Сапеги. С нашей стороны недосчитались только 15». Словом, полный успех при минимальных потерях.

Однако противная сторона увидела сражение иначе. По словам поляка Н. Мархоцкого, полковник Зборовский, под началом которого было четыре тысячи человек, встретился с «немецкой засадой под Торжком: их было тысячи две, не считая москвитян». Зборовский провел «удачную битву, уложив до шестисот немцев», и, узнав от «языков», что наступает сильное войско Скопина, отступил под Тверь. Преувеличивая силы противника и его потери и, наоборот, преуменьшая собственные (обычный прием мемуаристов), шведский и польский авторы сошлись в результатах боя: тушинцы от Торжка отошли к Твери.

События в Торжке описаны и в русских документах — правда, более сдержанно, но зато весьма подробно, в деталях, поэтому рассказ автора «Нового летописца» выглядит достовернее. На подмогу пришедшему под Торжок воеводе Корниле Чоглокову был послан воевода Семен Головин. Головин встретился под городом с Горном («Велгором»), и они пошли на приступ. «Немцы же пешие поидоша вперед, отыковсья копьем, а иные стаща позади их. Литовские ж люди наступиша на них тремя ротами, и немецкие люди две роты побита литовских людей, а третья рота проеха сквозь полков, и конных людей немецких и русских литовские люди потапташа до города, едва, из города вышед, отнята». Итак, польско-литовская тяжелая кавалерия своей традиционной стремительной атакой намеревалась сломить ряды русского и наемного войска и заставить их отойти. Однако Делгарди знал, что нужно противопоставить атаке гусар. В нидерландской армии был разработан новый способ построения и ведения боя, при котором пехотинцы успешно противостояли атакам испанской конницы. Небольшие, по 800–1000 человек полуполки состояли

из равного количества пикинеров и аркебузирова. Аркебузиры в то время располагались в несколько шеренг, с тем чтобы сделавший выстрел мог отойти назад для перезарядки своего ружья, которая требовала времени в десять раз больше, чем произведение самого выстрела. Поэтому полуполки строились в 10 шеренг, при этом пикинеры располагались в центре, аркебузиры — на флангах. Такое построение во время боя было замечательным новшеством, которое позволяло пикинерам прикрывать стрелков из огнестрельного оружия^[464]. Построив таким образом объединенное войско, Делагарди добился того, что в первом же столкновении «немецкие люди две роты побита литовских людей». И даже последующее вынужденное отступление, похоже, не сломило решимости нападавших, и вскоре они «исправятся»: литовских людей от города отбили и пеших людей «отнята». Финал уже известен: «литовские люди ис-под Торжку пойдоща ко Твери. Семен же с немцы стал дожидатца князь Михаила Васильевича в Торжку».

Итак, по всему видно, что бой под Торжком стал той первой большой победой, о которой так давно говорил и на которую так сильно надеялся Михаил Скопин. Победа эта произвела впечатление и на сторонников царя Василия, и на тушинцев. Вскоре не только в русских городах, но и в лагере «царя Димитрия» заговорили о походе Скопина на Москву. «Когда стали приходить известия, что на защиту Москвы идет с немцами Шуйский, то наши принуждены были отступить», — записал весной 1609 года в своем дневнике поляк Йозеф Будила^[465]. Этот же бой показал в действии все новшества военной науки, которую Делагарди освоил в Нидерландах, а Скопин по книгам изучал в Москве. Давний вопрос Скопина: как пехоте противостоять атаке конницы, теперь получил наглядное разрешение, дальше предстояло успех под Торжком развить и постепенными, шаг за шагом, действиями упрочить.

Первый шаг — посланный Скопиным отряд под командованием Лазаря Осинина и Тимофея Шарова освободил 8 мая город Порхов: «И набаты и знамяна и коша воровские поймали все, и топтали их на пятнадцати верстах, и взяли их на том бою литовских и русских воров живых 180 человек». Этому же отряду Скопин поручил вернуть Псков под руку царя Василия; он даже пообещал в отписке Шуйскому, что «Псков тебе государю добьет челом вскоре».

Однако дела под Псковом складывались совсем не так радужно, как извещал о том царя Скопин. Псковичи все еще держали сторону «царя Димитрия» и жили, как писал Иван Тимофеев, «по своей воле». Лазарь

Осинин и казак Тимофей Шаров с небольшим отрядом в 300 человек прибыли сюда для вразумления псковичей еще до прихода наемной армии, однако псковичи вовсе не собирались вразумляться и решили воевать с царскими людьми. «А во граде тогда не бе ни наряду, ни зелия, но мало бе и оружия ручнаго, но колие заострив выходиша из града»^[466]. Вот так, вооружившись кольями, псковичи и вышли из города навстречу новгородскому отряду и «сошлись с ноугородцкою силою ото Пскова за десять верст»^[467]. Новгородцы в столкновении взяли верх, и псковичи, не преуспев на поле боя, отошли под стены города. «И много побиша граждан новгородцы, гнавше и до града, а во град не дерзнуша внити, поне же бе град велик и людей множество, а их тогда не бе много...»^[468]

Но до вечера еще было далеко, упрямства псковичам было не занимать, и сражение вскоре возобновилось. На этот раз бой был «болши первого», однако псковичей вновь ждала неудача, и тогда они, «видя свое неизможение», затворились в городе, «седоша в осаде», о чем с гонцом было сообщено в Новгород. Новгородцы сожгли посад в Завеличье и ушли от Пскова ни с чем. Побитые псковичи, «яко вторьи жиды, разъярився», выволокли из тюрем брошенных туда «добрых» людей и жестоко мучили их, обвиняя в том, что это они призвали новгородцев на Псков.

Осаждать псковскую крепость — это Скопин хорошо знал по событиям Ливонской войны — можно было долго. Крепостные сооружения Пскова были в XVI веке окружены каменными стенами с высокими башнями, устроенные внутри стен и башен проходы соединяли боевые ярусы с бойницами. Проездные башни запирались окованными железом воротами, доступ в город через устье реки Псковы при впадении ее в реку Великую преграждали Нижние решетки с двумя каменными башнями, в верхнем течении Псковы — Верхние решетки. Над решетками, где возвышалась Гремячья гора, была возведена башня с тайником, закрывавшим врагам доступ к самим решеткам. После возведения деревянной стены, защищавшей город в Запсковье от Гремячей горы до реки Великой, Псков приобрел пятую линию защиты, не считая четырех каменных^[469]. Никто не смог преодолеть этих мощных крепостных сооружений — ни польский король Стефан Баторий в XVI веке, ни знаменитый шведский полководец Густав Адольф в XVII веке.

Могли предвидеть воевода Василий Скопин-Шуйский, обороняя Псков в 1581 году, что спустя всего 28 лет его сын будет также сражаться за Псков, но не с поляками или немцами, а со своими же соотечественниками! Но, похоже, Шуйских, когда-то оборонявших их крепость, псковичи

предпочли забыть.

Поразмыслив, Скопин решил отложить до времени покорение несговорчивых псковичей: ведь ему предстоял долгий и тяжелый поход на Москву — как написал автор «Нового летописца»: «подъем вскоре к Москве».

Гораздо успешнее, чем под Псковом, складывалась ситуация весной 1609 года на Волге. Разосланные Скопиным по разным городам отряды добились значительных успехов: воевода Никита Вышеславцев взял в апреле город Романов на Волге, вскоре к нему присоединились Углич, Владимир, Кашин, Пошехонье^[470]. Это уже был второй шаг к Москве.

В апреле после тяжелых боев тушинцев изгнали из Ярославля. Примерно в это же время другой воевода, Давид Жеребцов, занял Кострому. Конечно, тушинцы не смирились с потерей таких крупных и стратегически значимых волжских городов, рати Лисовского еще не раз пытались выбить «мужиков» с Волги. Особенно тяжело приходилось ярославцам: их город, как они сами писали, «ворам... болнее всех городов» нужен. С 30 апреля по 5 мая тушинцы несколько раз ходили на приступ Ярославля, применяя все возможные в то время средства: «щиты, и с огнем, с смолеными бочками, с приметом и с вогненными стрелами». Уже и острог был ими взят — некто Гришка Каловский, служка Спасского монастыря, предательски открыл врагам ворота, — и часть города они сожгли. Однако ярославцы и пришедшие к ним на помощь ратники из других городов стояли насмерть и острог отбили, многих тушинцев взяли в плен вместе с их осадными приспособлениями и знаменами. «Драка, — как писали сами ярославцы, — у нас ежечас».

Однако победу было праздновать рано, из перехваченных писем становилось ясно, что тушинцы ждут подкрепления. Просили помощи и сами ярославцы, прежде всего людьми, пушками, порохом и свинцом. Их отчаянные просьбы читали в письмах жители Соликамска и Вологды: «А и сами, господа, ведаете, что без людей и без наряду и каменный город яма...» Скопин прислал в Ярославль воеводу Федора Леонтьева, «а с ним русских и немецких многих ратных людей»^[471].

Строгановы и устюжане слали необходимые пушки, зелье (порох), селитру, свинец, собирали посошные деньги, нанимали на них «вольных людей охочих»^[472]. Конечно, платили «охочим людям» не как «немцам», намного меньше: один рубль на человека, — да к тому же городов и земель своим, в отличие от шведов, отдавать было не нужно. Присылали своих ратников северные города: Вологда, Белозерск, Устюг, Каргополь, Соль

Вычегодская, шли отряды из Тотьмы, с Важи, Двины, из волжских городов Костромы, Галича^[473]. Так, совместными усилиями, Ярославль все же отстояли.

И не только один Ярославль. К середине 1609 года многие верхневолжские города приняли сторону царя Василия. А уже и Скопин с наемниками подходил к Твери, из Нижнего Новгорода шел с «понизовской ратью» Федор Шереметев, из Смоленска двигались полки, посланные воеводой Шеиным... Царь не скупился на похвалы, благодарил за усердную службу и обещал пожаловать за радение таким «великим жалованьем, чего у вас и на разуме нет».

Сидевшие в московской осаде вместе с царем Василием люди роптали на своего правителя, называя его «орлу бесперу и неимущу клева и ногтей»^[474], обвиняли в бездеятельности, — «скипетроносец же словом дая, делом же не производя, понеже велика беда царствующий град тогда обдержаж»^[475]. Оказавшиеся в осаде вместе с москвичами иностранцы досадовали и на промедление, по их мнению, Скопина и Шереметева. «... Это длилось так долго, что едва не пришел конец, ибо против всякого чаяния Москва больше года выдерживала осаду, пока эти освободители подходили к ней и соединялись вместе», — ворчал застрявший в Москве голландский купец Исаак Масса^[476].

Когда же начали освобождать один за другим заволжские города, Москва наконец почувствовала облегчение: часть дорог, по которым в город приходило продовольствие, уже была освобождена, да и сами москвичи, насидевшись в осаде, начинали делать вылазки, о чем с радостью сообщали своим родным в письмах. «Государу моему батюшку Несвитаю Филипьевичю сынишко твой Ивашка челом бьет. Буди, государь, здрав на многие лета, — писал своему отцу из Москвы в Пешехонье Иван Зайцев. — А похочешь, государь, про меня ведать, и яз, дал Бог, по девятую пятницу на Москве жив. Да пиши, государь, ко мне о своем здравье и про братию и про сестры»^[477]. Конечно же в Москве только и говорили, что о Ярославле и его защите: «А у нас на Москве вас сказывают в Ярославле... Да отпиши ко мне про все подлинно, и которые убиты наша братия за вора в измене. А мы живем на Москве, дал Бог, здорово, и приходили на Духов день воры и литовские люди к Москве; и мы, прося у Бога милости, на них ходили и побили их на голову, а живых добре много взяли, и чаем у Бога милости и на врагов победы. Князь Михайло Васильевич идет со многими людьми и с немцы, а ждем его с часу на час; а у вас то ведомо?» Оборона

Ярославля и ожидание Скопина — вот главные события, о которых говорили и писали в то время в раздираемой войной стране.

О том, как успешно развиваются события в России, Скопин извещал Делагарди в записке, посланной 30 апреля. В ней он перечислял перешедшие на сторону царя Василия и освобожденные от тушинцев города, писал об успехах московского войска, которое разбило «воров и литовских людей» недалеко от Москвы, и о том, как уезжают от самозванца его приспешники обратно в Литву, распадаются ряды сторонников лжецаря. Все это должно было убедить шведского военачальника, а через него и короля Карла, что дела в Московском государстве идут на лад, осталось совсем немного — и победа будет за нами ^[478].

Похоже, наметившийся перелом касался не только военных действий и побед на поле боя, главное — города и уезды уже не стояли в стороне от борьбы, выжидая, кто из царей возьмет верх, а втягивались в общее дело, создавали земское войско, вооружали его и снабжали всем необходимым. Заканчивалась тревожная зима 1608/09 года. Весеннее обновление ожидало природу, и люди с нетерпением ждали избавления от зимних холодов и разлада Смуты.

В эту весеннюю пору Скопин с войском выступил из Новгорода...

Как полякам изменило счастье под Тверью

После молебна в Софийском соборе, получив благословение митрополита Исидора, князь Михаил с теми воинами, с которыми он держал оборону Новгорода, «и с болшими с немецкими людми» под командованием Якоба Делагарди вышел 10 мая из Новгорода, чтобы идти на освобождение Москвы^[479]. Когда-то посланец австрийского дипломата Сигизмунда Герберштейна резво проскакал 600 верст из Новгорода до Москвы за трое суток. Михаил Скопин придет в Москву спустя почти год — весной 1610 года, пройдя длинный путь, на котором его будут ждать потери во время кровопролитных сражений с тушинцами, измены наемников, пополнение войска отрядами ополченцев из заволжских и северных русских городов и, главное, освобождение городов от войск самозванца.

Впрочем, и в начале этого трудного и долгого пути никаких иллюзий относительно наемников Скопин конечно же не имел. Но хорошо вооруженные и опытные вояки были нужны сейчас, когда свое войско, большей частью еще не умелое и не обученное, только создавалось. И потому Скопин готов был вести длинные и любезные разговоры с Делагарди, преподносить ему дорогие подарки, писать благодарные письма шведскому королю Карлу и перед всем миром зачитывать его ответные послания. Если для освобождения от изменников, рвущих страну на части, нужно было бы каждый день писать королю, то Скопин готов был заставлять писцов и переводчиков ведрами изводить чернила, только бы дело шло на лад. Один в поле не воин — это Скопин хорошо усвоил, сидя запертым в Новгороде.

Помимо наемников и перебежчиков из тушинского лагеря, которые будут прибавляться в войске Скопина от города к городу и от победы к победе, пришли войска из Смоленска, посланные воеводой Шеиным. Правда, отряд был немногочисленным — всего три тысячи человек, но это были опытные воины под командованием воеводы Якова Бярятинского и Семена Ододурова. Сводный отряд из городов Смоленской земли по дороге освободил Дорогобуж, Вязьму, Белую и с четырьмя трофейными пушками подошел к Торжку на соединение со Скопиным^[480]. Скопин был рад приходу энергичного и решительного Якова Бярятинского, с которым успешно сражался в 1606 году под Коломенским против отрядов Болотникова, да и на воинов его можно было положиться, — смоляне не в

одном бою были проверены.

Старинный торговый путь от Новгорода до Москвы, по которому двигалось войско Скопина, шел через Волок Ламский, Торжок и Тверь. Тверь занимала важное стратегическое положение: во-первых, она стояла на Волге — главной водной магистрали, соединявшей многие города этого края, во-вторых, город находился всего в 167 километрах от Москвы, и с его взятием открывалась прямая дорога на столицу. Именно поэтому Скопину было так важно занять Тверь, а тушинцам не менее важно не отдавать город.

Перед походом на Тверь по традиции Скопин обратился к своему войску с речью, содержащей «премудрый своя, и добромысленная, и жалованя словеса ко всем своим ратным людем, и просил у всех ратных своих, чтобы идти подо Тверь на полския и литовския люди вскоре, безо всякаго мешкания, чтобы литовским людем про то вести не учинилося»^[481]. Наемникам, впрочем, речи были не нужны — они ждали денег и возможности пограбить богатый город на Волге. В середине июля объединенное войско подошло к Твери.

Продвижение войска Скопина и Делагарди не осталось в тайне от тушинцев. Зборовский и Кернозицкий со своими отрядами заранее вышли из города и заняли северный берег Волги, чтобы не дать возможности войску Скопина переправиться через реку. Численность их войска определяют одинаково и польские, и шведские источники. «Чтобы воспрепятствовать переправе через реку и прибытию подкреплений в Москву, предводитель врагов занял ближайший берег с 5 тысячами человек», — пишет Видекинд. Ту же цифру называет и поляк Николай Мархоцкий: «Мы отправили против иноземцев и Скопина пана Зборовского с его полком. Придали ему и других людей, и запорожских казаков, что пришли из-под Новгорода, так что все его войско составляло около четырех тысяч человек». Однако к своим четырем тысячам пан Зборовский запросил еще подкреплений против «немецкой силы». «Мы же не смогли ему помочь, — пишет Николай Мархоцкий, — так как были потрепаны в битве с гуляй-городами, да и невозможно было так быстро собрать разрозненное войско, а оголять свои позиции тоже было опасно. Подмогу мы все же послали, правда лишь с тысячу человек»^[482]. Таким образом все войско тушинцев под Тверью составляло пять тысяч.

Теперь посмотрим на численность войска Скопина. До Твери Скопин рассылал отряды своих людей, усиливая их частями наемников, «промышлять против воров» и в Порхов, и в Старую Руссу, и во Ржев, и к

Великим Лукам, и к Торопцу, и к Ярославлю^[483]. По одной из его «отписок» царю выходило, что в Тверь он послал «дворян и детей боярских и стрельцов и казаков и охочих людей... да немецких людей, француз и шкот 3600 человек». Прибавив к этому три тысячи ратных людей, посланных воеводой Шеиным, мы получим численность войска в 6600 человек. Это вполне сопоставимо с силами поляков.

Скопин, «не доходя Твери за десять верст, перелез Волгу на пустее месте, прииде к Твери»^[484]. Тверь расположена на стрелке рек Волга, Тверца и Тьмака, которые делят город на четыре части — четыре конца: Затверечье, Заволжье, Затьмачье и Загородье. В Заволжской части форпостами, ограждающими город с севера, стояли в те времена Никольский и Отрочь монастыри; посадки в Затьмачье и Загородье были укреплены острогом. Центральную часть города опоясывал земляной вал, на нем возвышались мощные бревенчатые стены с боевыми башнями, а за ними располагался тверской кремль, который сегодня можно увидеть лишь изображенным на иконах и древних планах. «На одном берегу, где Тверь ближе к Москве, имеется крепость, напротив которой вливается в Волгу Тверца», — написал видевший тверской кремль воочию иностранный путешественник^[485].

Там, недалеко от древнего города, и произошло в середине июля сражение войск Скопина с тушинцами. Самое подробное и красочное его описание оставил в своем объемном труде швед Видекинд, приписав главную роль в битве, разумеется, Якобу Делагарди и его наемному войску. «Впереди врагов была легкая конница в панцирях с луками и короткими копьями, затем смешанные силы казаков, поляков и московитов с пиками и множество бояр. С нашей стороны левое крыло занимали французские всадники, а также немецкая и шведская пехота, правое — с финляндцами защищал сам главнокомандующий»^[486]. В центре, видимо, стояли полуполки аркебузирова и пикинеров, а на флангах, во второй линии, — русские войска. За спиной войска Скопина и Делагарди, примерно в двух километрах от города, находился их лагерь.

Когда войска выстроились перед началом сражения друг против друга, неожиданно начался сильный ливень. Пока французские кавалеристы пытались зарядить свои промокшие пистолеты и бомбарды, польские гусары устремились в атаку. С дикими криками, напоминавшими гиканье татарской конницы, оцетинившись копьями с развевающимися прапорами, трепеща «крыльями», в устрашающих противника шкурах поверх панцирей неслись польские всадники, словно соревнуясь в скорости со все

усиливающимся ливнем. Замешкавшиеся французы оказались беззащитными перед польскими копьями и не выдержали — дрогнули. «Они (поляки. — Н. П.) быстро расстроили и обратили в бегство левое крыло французской конницы». Французская тяжелая кавалерия, воины которой именовались *жандармами*, отличалась высокими боевыми качествами. Французские кавалеристы поэскадронно — в каждой эскадроне насчитывалось до четырехсот всадников — вступали в бой, успешно расстраивая ряды пехотинцев. Но вот пики французские жандармы в это время уже не использовали, предпочитая огнестрельное оружие и сабли в ближнем бою.

В военной науке рубежа XVI и XVII веков серьезно обсуждался вопрос: какое оружие лучше для конницы — копье или пистолет? Военный историк Дельбрюк назвал это даже спором двух исторических эпох — эпохи рыцарства и кавалерии. Огнестрельное оружие того времени было еще очень несовершенно, в завесе порохового дыма прицельным фактически был лишь первый выстрел, поэтому результата добивались одновременным залпом стрелков первой линии, да еще с близкого расстояния. К тому же мушкеты и аркебузы того времени требовали длительного заряжания, что делало конных стрелков в этот момент безоружными перед противником и требовало их защиты со стороны пехотинцев. Однако под Тверью, судя по всему, французская кавалерия оказалась без должного прикрытия. И польско-литовская конница, в которой еще были живы рыцарские традиции и где предпочитали холодное оружие огнестрельному, сумела воспользоваться своим преимуществом. Так в июле 1609 года под Тверью копье победило пистолет.

«Русские, стоявшие во второй линии, напуганные летящими со всех сторон стрелами, бросились на запасные отряды шведов; ряды, давя друг друга, сбились. Вслед за ними страх охватил многих немцев и финнов; они отступали внутрь ближайших лагерных укреплений, причем грабили лагерный скарб шведов, которые все еще жарко бились»^[487]. Итак, на первом этапе боя причиной успеха поляков стала внезапность их атаки и несогласованность действий пехоты и конницы союзного войска, действовавших изолированно.

Положение, по мнению Видекинда, спас Делагарди: «Он бросился вперед вместе со всеми и, окруженный силами финляндцев, ударил на три главных хоругви, разбил их, многих истребил, а остальных загнал внутрь стен». И только продолжавшийся ливень и сгустившиеся сумерки спасли тушинцев от окончательного разгрома.

Польские источники подтверждают бегство центра польского войска во время боя: «Середина же наших была смята, и те, кто там стоял, бежали с уже выигранной битвы и лишь через несколько миль опомнились и вернулись к войску. Тем, кто стоял по бокам, пришлось снова громить неприятеля, погнавшегoся за нашими»^[488]. Видекинд уточняет, что многие из тех, кто преследовал бегущих поляков во главе со Зборовским, были перебиты, а из оставшихся на месте и оборонявшихся копьями и саблями «никто не был и ранен. Преследовавшие Зборовского, услышав о поражении наших на левом крыле, воротились назад и развернули строй под насыпью».

Уточняя и дополняя друг друга в деталях описания картины боя, шведские и польские авторы расходятся в главном: итогах сражения. Шведский историк расценивает бой под Тверью как безусловную победу войска Делагарди, польский же современник — как поражение Скопина и Делагарди: «Пан Зборовский... под Тверью... провел удачную битву: оба наших крыла, правое и левое, вытеснили неприятеля с поля и одержали победу... В этой битве полегло больше тысячи немцев, а наших погибло очень мало, достались нам и пушки».

По мнению поляка, наиболее стойко проявила себя в бою наемная пехота, «которая осталась на поле боя без движения», притом что немцы потеряли в бою больше тысячи человек. Отметил он и новую черту, появившуюся у русского войска:

«Москвитяне хоть и уступили поле, но не были рассеяны и имели свежие силы». Вот эти-то свежие, не разбежавшиеся силы и дали возможность Скопину на рассвете 13 июля, когда перестал идти ливший два дня дождь, атаковать не ожидавших нападения и мирно почивающих в городе поляков.

...Незаметно подступила темнота, размывая и делая неясными очертания берегов близкой Волги. Легкий пар поднялся от воды, засветились огни в домах на противоположном берегу реки. Ливень с хлестким ветром, что накануне сбивал с ног, словно устав, перестал, и его сменил мелкий и легкий, как водная пыль, похожий на осенний, дождь. Появилась надежда, что к утру он и вовсе прекратится. Посланная князем разведка донесла, что поляки празднуют в городе победу, повсюду шум и веселье, даже часовые на постах сильно навеселе. Скопина это донесение лазутчиков явно обрадовало. Потолковав в своем шатре с Семеном Головиным, князь Михайло Васильевич лично пошел проверять караулы. Он шел мимо обозных телег, костров, вокруг которых сидели его воины,

отдавал распоряжения. «Завтра, все решится завтра», — глядя на дальние просветы, думал воевода Скопин.

А когда край горизонта лишь начал светлеть, воевода проснулся и быстро откинул полу шатра. Дождь прекратился, плыли легкие клубы первой сизой дымки рассвета, утро едва начиналось. Скопин легко поднялся на ноги, улыбаясь утренней свежести и своим мыслям, вышел в одной рубахе из шатра и по сырой траве легким шагом прошел к берегу реки. В задумчивости Михаил смотрел на Волгу. Реки — молчаливые свидетели прошлого. О чем бы поведали они, если бы смогли заговорить? О том, как образовывались и распадались государства, сменялись династии, строились и разрушались города на их берегах, купцы и воины правили по ним свои корабли — а они все так же безмолвно несли свои воды, как и сотни, тысячи лет? Что предстояло увидеть этой древней реке сегодня, 13 июля 1609 года?

Тихо было вокруг. Тихо и спокойно было и на сердце у воеводы. Глядя на восток, откуда не раньше чем через час начнет подниматься солнце, он горячо молился перед будущим сражением. А вскоре часовые увидели, как Скопин возвращался к шатру, чтобы спустя несколько мгновений отдать приказ об атаке...

Пожалуй, самую беспристрастную оценку сражения под Тверью дал автор «Нового летописца»: «И литовские люди русских людей и немецких столкнули и урониша немецких людей не мало. Князь Михайло ж Васильевич с немецкими людьми отойде и ста, отшед, недалече; и стояше тут день да ночь. На другую же ночь пойде со всеми людьми ко Твери и, пришед, тверской острог взяша, литовских людей побили на голову, а достальные седоша в городе»^[489].

Наиболее же красочно живописал «брань жестокою» современник событий С. И. Шаховской: «От стрельяния же пищалнаго смутися воздух и отемне облак и не видяше друг друга и незнающе, кто бе от кого страну, и бысть падение многое, падают трупие мертвых ото обою страну. По сем поляци на полки немецкие и на русские нападоша и женуша их трудом велим, и бысть сеча зла, и гнаша поляцы во след их не мало время, и по сем возвратишася во град и почиша». Итак, Шаховской, как и поляки, расценил итог первого дня битвы, как поражение русских и наемных войск. Увидев большое число погибших, Скопин, по словам автора «Летописной книги», «разъярися зело» и на следующий день напал на беспечно спящих в городе поляков: «Они же востро входят и литовское воинство посекают, нагих по улицам влечаху и трупие их мечи отсекаху и богатство их грабят»^[490].

Польский источник подтверждает, что инициатива предпринятой на рассвете 13 июля атаки и ее исход целиком являются заслугой Скопина: «Когда наши после этой победы беспечно стали жить в Твери, Скопин, узнав об этом через шпионов, ударил на рассвете на нашу стражу, ворвался в город и легко разгромил наших, не ожидавших нападения»^[491].

Наконец, еще один источник, в котором описывается штурм Твери, — это отписка самого Скопина, посланная им в Ярославль и Вологду. По сути, это единственное свидетельство, оставленное непосредственным участником битвы. В отличие от всех предыдущих, текст Скопина по-военному лаконичен и прост, что выдает характер автора документа, лучше владевшего мечом, чем пером: «...За час до свету пришел я с государевыми с русскими и с немецкими людьми подо Тверь, под острог, и воры и литовские люди из острогу вышли и с нами бились до третьего часу дни». Можно представить, какого накала достигал многочасовой бой, но только представить — никаких подробностей в отписке Скопина нет, лишь короткий отчет о происшедшем: «Тверской острог взятем взяли, и литовских людей многих побили, и наряд и зелье и знамена и литавры многие поймали, и топтали их и побивали за острогом по большой по Московской да по Осиповской дороге на сороки верстах»^[492].

Мархоцкий подтвердил, что поляки бежали из Твери «в страшном замешательстве». Одни уходили из города в поле — те все были порублены, другие затворились в тверском кремле, третьи, кто мог добежать до коней — «чуть ли не без седла» уходили к своему главному обозу. Вот уж действительно, как написал один из поляков, «счастье изменило нам под Тверью» в тот день.

После боя 13 июля Скопин четыре раза водил свои полки на штурм тверского кремля — но все безуспешно. И только узнав о продвижении к Твери отрядов Сапеги, Скопин отдал приказ отойти к селу Городня, что в 35 километрах на юго-восток от Твери, и перейти на правый берег Волги. Впрочем, дальнейшие события заставят вскоре и самих тушинцев оставить город.

Приказ Скопина отойти от города принес раздор в лагерь союзников. Несогласованность действий между войском наемников и воинами Скопина проявилась еще на поле боя. Польский современник прямо объяснил причину неудачи войска Скопина в бою 10 июля: «Обе стороны сражались храбро. Но русские и немцы действовали врозь: русские подались (отступили. — *Н. П.*), немцы, не имея подкрепления, тоже двинулись за ними и дали нам одержать победу, наши взяли в этой битве 11

пушек и 14 знамен»^[493]. Отход Скопина от Твери вызвал новую волну недовольства в наемной армии, которая хотела вознаградить себя грабежом богатого города за участие в жестоком сражении.

Грабеж захваченного или сдавшегося на милость победителя города был в те времена рядовым явлением, в войске даже назначался специальный голова для «грабежу», а от каждого подразделения — знамени — выделялось по одному человеку. Выбранные люди клялись ничего не утаивать, себе до времени не забирать и все награбленное отдавать полковому командиру. Устанавливались и некоторые правила поведения грабителей в захваченном городе. Так, в «Уставе ратных дел» особо оговаривалось, что в захваченном городе нельзя разорять церкви, «никакому человеку не коснуться блуда ради насильством, ни неволю, и держати в том великою грозу, а которые такой закон преступят, наказати таких смертным наказанием»^[494]. Однако само появление таких статей в «Уставе» говорит как раз об обратном: в практике военной жизни того времени эти запреты вряд ли кто соблюдал.

Скопин прекрасно знал, что ожидает жителей Твери в случае взятия города наемниками. Рассказы очевидцев о страшной резне, устроенной когда-то войском Понтуса Делагарди в Нарве, Михаил помнил с детства. Дать добро на разграбление города — это означало потерять управление над войском: вкусившие крови во время грабежа солдаты перестают быть воинами и становятся мародерами. Достаточно, посчитал Скопин, что наемники захватили добра из брошенного поляками обоза, — это вполне вознаградило их за тяжелый бой 11 июля. К тому же штурм Твери принесет не только потери войску, но и приведет к потере времени, а осажденная Москва и другие города теряют терпение и ведут счет на дни. Потому Скопин принял решение увести свои войска за Волгу. «Немцы же хотеша приступати к городу, — поясняет автор „Нового летописца“ причину размолвки Скопина с наемниками, — князь же Михайло Васильевич пожале людей и не повеле им приступать к городу... А немецкия люди, осердяся, поворотили назад, пошли к Нову городу»^[495].

Итак, опять предстояли уговоры, обещания и поиск денег для оплаты наемникам. Скопин чувствовал себя будто застрявшим посреди топкого болота в непроходимом лесу верхом на чужом, непослушном коне. Едва всадник нащупывал ровную почву, как конь начинал выбрасывать передние ноги, пытаясь вскочить на кочку и одновременно сбросить седока, поневоле съезжавшего к лошадиному крестцу; когда же норовистое животное вытаскивало из топкой грязи задние ноги, взбрыкивая, то седок едва не

перелетал через его голову. Мудрено было удержаться на таком коне в седле, да еще и не свалиться в болотину, иногда хотелось, устав от борьбы, лечь набок, да так и остаться в бездействии.

«Вот уж действительно, своего коня не имея, на чужом не ездят, — горько и устало заключал Скопин по дороге в лагерь, вспоминая народную мудрость. — Придется приложить все силы, чтобы, наконец, обзавестись своим».

«Калязинское сидение»

Город Калязин еще с древности широко и вольготно расположился на правом берегу Волги. Напротив него, на противоположном берегу, преподобный Макарий Калязинский в XV веке основал Троицкий монастырь. Макарий Калязинский при жизни прославился даром исцеления, а после своей кончины в 1483 году почитался как чудотворец. Когда же его прославили в лике святых на Московском соборе 1547 года, к нему на поклонение в Калязин приезжали Иван IV, Борис Годунов с супругой и детьми, а уж сколько простых людей пешком приходило — не счесть! Как сказал один из усердных паломников, который и на Святую гору Афон хаживал: «Напрасно трудился я, и без успеха совершил такой дальний путь на Святую Гору мимо Калязинского монастыря. Ибо можно спастись и в нем живущим...»

Укрепленный город представлял собой удобное место для размещения войска: из Калязина было легко попасть в Углич, Ярославль, оттуда открывалась дорога на занятый пока еще тушинскими войсками богатый Переславль. Если бы не бунт среди наемников, Скопин бы наверняка пошел на Москву, но случившийся разлад после тверской битвы заставил его изменить планы, выбить тушинцев из Калязина и остановиться в городе.

...Воевода Скопин ехал вдоль Волги и осматривал три слободки, раскинувшиеся по берегам реки, да деревянную крепость на горке — вот и весь город Калязин. Редкая для этих мест жара, стоявшая которую неделю, утомила и без того усталое войско; пехотинцы в потемневших от пота рубахах, всадники с отекавшими ногами, уставшие от надоедливых слепней лошади — все жаждали отдыха и воды, мечтали о них. Крепость после ухода тушинцев была разорена, часть посада сожжена, и как напоминание о недавних боях в крепости лежали тела убитых калязинцев и трупы лошадей. Припасов в городе не осталось вовсе, кормить войско было нечем, потому Скопин решил обосноваться в Троицком монастыре. Он отдал приказ спешиться и разбить лагерь под его стенами. Обрадованные ратники расседывали лошадей, сбрасывали доспехи, оружие, одежду и, не особенно выбирая место, бросались в воду. Прохлада воды приносила облегчение обожженной коже и затуманенной духотой голове.

К вечеру, когда жара спала, поставили шатры, разожгли костры и начали готовить нехитрое походное варево. Скопин проверил, как

расположились его ратники, сам обошел часовых и только после этого прилег у шатра. День, озаренный не спешащим уйти за горизонт солнцем, завершался. Неброская зелень островков среди реки потемнела, по воде скользнула крылом пролетевшая птица, и вот уже мягкая августовская ночь накрыла лагерь темным, расшитым яркими звездами покрывалом...

«Швейцарцы заканчиваются, когда заканчиваются деньги», — вспомнил он слова, услышанные им когда-то в Москве от одного из немецких наемников. — «Похоже, не только швейцарцы, но французы, и немцы, и шведы, и финны, — вообще все наймиты», — размышлял Скопин, глядя на обустройство своего неприхотливого воинства и невольно сравнивая его с наемниками Делагарди. И в опыте, и в умениях, и в качестве вооружения — во всем «немецкая кованая рать» превосходила его воинство. За исключением одного: надежности.

Между тем в войске Делагарди кипели нешуточные страсти. Ожидая несложного похода по охваченной гражданской войной стране, где и войска-то порядочного не сохранилось, наемники никак не ожидали, что здесь их ждут суровые испытания и жестокие битвы. Среди финской конницы и пехоты начался бунт, который пытались погасить шведские военачальники и сам главнокомандующий Делагарди, но — безуспешно.

Бунты были такой же неотъемлемой чертой наемного войска, как и постоянное требование жалованья, которое, к слову сказать, редко когда выплачивалось полностью и вовремя. Захваченные в плен наемники, если их оставляли в живых, не смущаясь, переходили на сторону врага. Завербовавшиеся в наемники были выходцами из разных социальных слоев, среди них встречались сыновья разорившихся дворян, знатных горожан, бюргеров и крестьян и даже бродяги и преступники. Поэтому поддержание дисциплины в таком пестром по социальному и национальному составу войске, сложном для управления, далеко не всегда ограничивалось речами, в ход шли древки алебард и кулаки, а нередко приходилось прибегать и к воинским судам, присуждавшим провинившимся казнь через повешение, колесование или отсечение головы ^[496].

Недовольство, возникшее среди финнов, распространилось на немецкие и французские войска, которые прямо заявили, что их ведут вглубь страны на верную гибель, не заплатив при этом полностью обещанного жалованья. Если денег не будет, заявляли смутьяны, в лучшем случае они силой возьмут с собой командиров и знамена и вернутся назад, к границе, а в худшем пусть Делагарди «не сочтет низостью, если они

перейдут во вражеский лагерь, чего, однако, они никогда не сделают, пока мужество будет подсказывать им иной выход»^[497]. Не пройдет и года, как они воплотят свои угрозы в жизнь, позорно изменив Выборгскому договору, и перейдут на сторону поляков во время Клушинской битвы 1610 года, что приведет к полному разгрому русского войска и низложению царя Василия.

Надо сказать, угрозы наемников не были пустыми словами и в июле 1609 года. Может быть, предполагал Видекинд, им попросту надоело воевать. Странное объяснение мотивов поведения наемников, для которых война — ремесло, единственный способ заработать. А вот две другие возможные причины — нежелание идти «в такие места, откуда они не смогут воротиться», и награбленное добро — явно тянули их назад, к границе, заставляли бунтовать. Когда угрозы и увещания не помогли вернуть войско в повиновение, Деллагарди и остальным командирам пришлось обнажить мечи.

Правда, прибегать к смертной казни шведский военачальник не стал, побоялся: все же Тверь на Волге — это не пограничная Сестра, а центр России, и как дальше обернутся события, никто не знает. А у него есть точные инструкции короля Карла: в случае невыполнения Скопиным обязательств захватить приграничные русские города и уезды, которые создадут барьер между Швецией и Речью Посполитой, а хорошо бы даже и всю Новгородскую область, — для выполнения такой задачи наемники вполне могут пригодиться^[498].

В результате большая часть войска в начале августа все же ушла. Деллагарди пришлось сопровождать их к границе — чтобы, как уверял в своем сочинении Видекинд, они не начали по дороге грабить русские города. Впрочем, присутствие главнокомандующего вовсе не избавило население от грабежа. Как заметил другой наемник на русской службе Конрад Буссов, «иноземные воины, которых он привел с собой, тоже не оставили на месте ничего, кроме слишком горячего или слишком тяжелого». Даже повидавший виды «рыцарь удачи» и тот удивлялся, как «эта земля так долго могла выдерживать все это»^[499].

Если читать сочинение шведского историка не критично, то легко можно впасть в заблуждение относительно подлинной роли Деллагарди в русских событиях того времени. То Деллагарди благородно сопровождает наемников до границ, спасая русские города и села от разграбления, то истово просит помощи из Финляндии, болея за общее дело, и даже оставляет своего верного друга Сомме обучить войско, в котором никто и

не знает, с какой стороны зарядить ружье. Но если вспомнить о последующих событиях 1611–1617 годов, то образ шведского военачальника предстает перед нами совсем в ином свете. Не случайно он повел в июле 1609 года наемное войско не куда-нибудь к границе, а именно к Новгороду — вожделенному для шведов городу, который после смерти Скопина и низложения царя Василия тот же Делагарди захватит и вместе со шведскими войсками будет удерживать долгие шесть лет.

Да и бескорыстие явно не входило в число достоинств шведского генерала. Эта «молния войны», как высокопарно именовал его Юхан Видекинд, действовала стремительно, но лишь в том случае, когда дело касалось его личных интересов. Едва появившись в России, в апреле — мае 1609 года, он отправляет из Новгорода в Або и Выборг свыше тысячи соболей, из которых только 80 штук (два сорока) — подарок Василия Шуйского. Торговля соболями приносила баснословные доходы и в те времена: так, в 1610 году Эрик Андерссон получил от Делагарди тысячу соболей стоимостью в 3660 рублей в Або, еще 400 соболей стоимостью в 1220 рублей было отправлено им в Гданьск; полученные от шведского генерала соболя продали там втридорога. Впрочем, фантастические доходы от перепродажи русских мехов за границей не мешали бравому генералу обогащаться и по мелочам: сидя в завоеванном им Новгороде, он не побрезговал присвоить себе две конфискованные у крестьянина лисицы, которые были предметом судебного разбирательства^[500]. Не упустил он своей выгоды и при чеканке монет в захваченном в 1611 году Новгороде, уменьшая содержание серебра в монетах.

Всего за два года пребывания в России (1609–1611) Делагарди не только успешно погасил все свои задолженности стокгольмским кредиторам, но и сам мог уже давать в долг шведской казне и королю, причем на весьма выгодных для себя условиях — под 16 процентов годовых. Не обидел он себя и во время заключения Столбовского договора в 1617 году: из 20 тысяч рублей полученной от России контрибуции неленивый в дележе добычи генерал оставил себе три тысячи. Во время переговоров он постоянно жаловался на то, что Василий Шуйский недоплатил ему за его верную службу^[501]. Пришлось русским послам напомнить генералу, что он «в своем крестном целовании царю не устоял», а за якобы недоплаченное ему царем вполне вознаградил себя в течение пяти лет пребывания в России «правежом и грабежом» жителей русских городов.

Открыв для себя «русский Клондайк», Делагарди обогащался и после

заклучения мира с Россией: он взял в аренду вновь присоединенные к шведскому королевству Корелу и Орешек и организовал прибыльную торговлю дешевым русским зерном в Европу. За 1618–1627 годы он вывез 112 тысяч бочек зерна из Корелы и 36 тысяч — из Орешка. При существующей в те годы громадной разнице цен на высококачественный русский хлеб на внутреннем рынке и амстердамской хлебной бирже прибыль от торговли зерном составила 260 тысяч риксдалеров^[502]. Так что нарисованный Видекиндом на страницах его сочинения светлый образ храброго и честного полководца был весьма далек от оригинала. Поэтому никак нельзя согласиться с теми исследователями, что скорбят по поводу недооценки роли Делагарди в русской истории, объясняя неблагодарность современников их «ксенофобскими настроениями»^[503]. Думается, жители Новгорода, Корелы и Орешка сумели сполна оценить уникальные способности шведского генерала, дав им верную оценку.

Когда в 1609 году Делагарди подошел к Новгороду, новгородцы поступили мудро, не открыв ему и его головорезам городские ворота и не впустив их в город. Поэтому часть войска вместе со своим военачальником расположилась на Валдае, остальные расплзлись по стране, грабя беззащитное население. «Шведские солдаты вознаградили себя за все: даже жены и дочери крестьян были в полном их распоряжении», — свидетельствовал очевидец^[504].

Получая нерадостные известия о грабежах и насилиях, чинимых шведами, Скопин старался как можно скорее направить эту прислушивающуюся лишь к звону монет армию куда следует, то есть на тушинские войска. Тогда, летом 1609 года, Скопину пришлось отправить не одну делегацию к наемникам, чтобы напомнить им и о заключенном договоре, и о полученных ими деньгах: «А Яков пошел к Нову городу, и князь Михайло Васильевич послал за ним уговаривати дворян»^[505]. Очень не хотел, видно, шведский военачальник уходить от Новгорода, если многочисленные посланцы «едва его уговориша».

А Скопин опять писал отписку за отпиской. 10 августа с грамотами к настоятелям монастырей и горожанам выехал в Устюг, Соль Вычегодскую, на Каму и в Пермь Василий Бадьин Зеленый. В грамотах Скопин снова просил «сколко кому мочно дать, денег, и сукон, и камок, и тафт, чтобы прося у Бога милости, тем московскому государству помочь учинити и от воров государство очистити и слободну учинити»^[506]. Теперь, когда дороги освобождались от отрядов Лжедмитрия, царь и сам рассылал из Москвы

грамоты. Так, он писал в Вологду и Ярославль о победе Скопина 13 июля под Тверью и об освобождении 17 июля Коломны воеводой Василием Мосальским. Радостно сообщая о победах своих воевод и об «очищении от воров» Коломенской дороги, царь Василий просил вологодцев и ярославцев передавать эти известия во все города и уезды и собирать ратных людей: «А которые будет ваши ратные люди, с нашея службы от воевод сбежав, живут ныне по домом, и вы б тех, сыскав и подавав на поруки, велели их высылали на нашу службу к воеводам нашим»^[507].

Главнокомандующий Скопин должен был определить, куда приходить вновь набранным ратникам, в каком месте соединяться с другими отрядами, наконец, какой город будут освобождать следующим на пути продвижения войска. Одни ратники оставались с ним под Калязином, другие шли к Шереметеву. Скопин тщательно следил за передвижением войск тушинцев, посылал разведку и выяснял, в каком городе Сапега и Лисовский и какими они располагают силами.

Интерес Скопина и поляков друг к другу, надо заметить, был взаимный. Сохранились письма Лжедмитрия II, из которых явствует, с каким вниманием следили в Тушине за передвижением войска Скопина и какое значение придавали планам этого полководца. После битвы под Тверью тушинского царька известили будто бы о полной победе его войска, однако вскоре выяснилось, что результат сражения совершенно иной. «Получив ложное известие, что изменники и неприятели наши разбиты наголову, мы писали к вам о сем торжестве нашем, — сообщал Лжедмитрий II Я. П. Сапеге. — Но за тем воспоследовали противные вести: неприятель не только не разбит, но, напротив, почти на плечах нашего войска вошел в Тверь и так рассеял оное, что едва иной в рубашке успел прибежать в лагерь»^[508]. И потому надлежит Сапеге оставить Троицкий монастырь и идти на помощь самозванцу к Тушину. «Не должно терять времени за курятниками, — волновался тушинский правитель, — нужно спешить как можно скорее со всем вашим войском к главному стану...» А вот другое письмо самозванца от 8 августа 1609 года: «Пишет нам благосклонность ваша, что Скопин, заняв Калязин, переправясь на другую сторону (Волги), непременно имеет намерение, соединившись с Шереметевым, идти прямо к столице. А... мы имеем известие... что немцы от него отделились и возвращаются назад, да и Шереметев не имеет столько войска... только несколько сот человек». Но уже через четыре дня безмятежный тон письма резко меняется, появляется обеспокоенность активностью Скопина и звучит новое требование к гетману Сапеге

оставить его бесплодные попытки взять Троицкий монастырь и идти в Тушино: «Известились мы (что вы) снова замышляете о штурмовании Троицкого монастыря. Мы же от приведенных к нам языков за достоверное знаем, что Скопин переправляется через реку Костер между Дмитровым и Кохачевым (Корчевою? — Н. П). А потому убедительно просим, дабы... отложив штурмы, как наискорее приложили попечение — над этим неприятелем иметь бдительное око, дабы он каким-нибудь образом не подступил к столице»^[509].

В своих требованиях немедленно идти к Москве оба правителя — и Василий Шуйский, и «Димитрий» — были очень схожи: каждый из них считал поддержку его, правителя, главным делом полководцев, недаром царь Василий слезно молил Скопина в письмах о скором походе: «Мы на тебя надежны, как на свою душу».

Впрочем, в долгом московском походе, как и в Новгороде, Скопин решал не одни военные вопросы. Случалось, к нему обращались и с жалобами на несправедливые действия местных воевод. Так, настоятельница Сретенского женского монастыря в городе Кашине игуменья Александра подала Скопину челобитную на кашинских воевод, которые нарушили право монастыря не давать своих крестьян в работы. Видимо, не только для ратников, которые ходили с ним в поход, он был главным военачальником, что вполне естественно, но и для жителей окрестных сел, городов и монастырей, через которые шло войско, молодой Скопин стал главным представителем власти. Как в свое время новгородцы, они сумели разглядеть в нем справедливого правителя и рачительного хозяина. Воевода Скопин откликнулся на жалобу игуменьи, именем государя подтвердил прежние права небогатого монастыря, а кашинским воеводам строго наказал, чтобы они «игуменью Александру с сестрами и их монастырский вотчины крестьян от ратных и от сторонних от всяких людей от грабежу и от всякого насильства берегли накрепко»^[510].

Отписки Скопина и царские грамоты принесли пользу, и вскоре под Калязин начали прибывать воины. Ежедневно стекались новобранцы из Ярославля, Костромы и Поморья, собирали деньги в монастырях и городах, и везли их гонцы, хоронясь от тушинцев, на Волгу. «И приехала изо всех городов с казною и з дары ко князю Михайлу Васильевичю в Калязин монастырь»^[511]. Отдавали монастыри, города и торговые люди не от большого богатства, а порой последнее, напрягая все силы для завершения гражданской войны и установления желанного мира и покоя. Порой вместе с деньгами приходили к царю и слезные грамоты от «сироток», в которых

описывалось житье-бытье простых горожан и крестьян. «А у нас, сирот твоих, в сборе денег наскоре нет», — писал земский староста «Васка Елисеев сын Александров» из Соли Камской. «Милосердный государь царь и великий князь Василей Иванович всеа Руси! Смилуйся, пожалуй нас сирот своих: вели, государь, нам сиротам твоим, для поспешения твоего государева ратного дела из твоей государевы казны у Соли Камской, из таможенного и из кабацкого скопу, до своего государеву указу, денег дата, чтоб, государь, твоему государеву ратному делу мотчания и порухи не было...»^[512]

Скопин знал, с каким трудом собирались те деньги, потому не скупился на благодарности приславшим их, не забывал отправлять к ним похвальные грамоты. Из присланных денег часть («несколько тысяч», как написал Видекинд) Скопин выделил на оплату Сомме и оставшимся с ним наемникам, им же он прислал и лошадей. Другую часть определил для оплаты нового, ожидаемого из Финляндии войска.

Пока Делагарди сидел под Новгородом, Скопин времени не терял и собирал в Калязине свое войско. Первоначально с ним осталось всего три тысячи человек, а также тысяча наемников: 250 всадников и 750 пехотинцев под командованием Сомме^[513]. Последних уговорил вернуться Иван Ододуров, посланный к наемникам Скопиным: «А немец послал уговаривать Иваниса Ододурова. И Иванис немецких людей съехал и их уговаривал, и один только воротился Христошум с невеликим людьми». Еще три тысячи человек пришли к Скопину из поморских и волжских городов.

Молодых, необученных и неопытных воинов Скопин поручил готовить для сражений Христиерну Сомме, или Христошуму, как называли его русские. О том, чему и как обучал шведский военачальник русских воинов, подробно рассказывают иностранные авторы: «У него там ни дня не проходило даром: московитских воинов, имевших хорошее вооружение, но пока необученных и неопытных, он в лагерной обстановке заставлял делать упражнения по бельгийскому способу: учил в походе и в строю соблюдать ряды на установленных равных расстояниях, направлять, как должно, копья, действовать мечом, стрелять и беречься выстрелов; показывал, как надо подводить орудия и всходить на вал»^[514].

Конечно, обучение воинскому делу, умению владеть холодным и огнестрельным оружием было знакомо русскому войску. Прекрасное владение огнестрельным оружием показали царские войска в битве с отрядами самозванца под Добрыничами зимой 1605 года. В первой фазе

боя польской коннице и сражавшимся на стороне самозванца казакам удалось потеснить царское войско (кстати, первыми бежали с поля боя немецкие и французские наемники, не выдержав атаки польских гусар), но во второй фазе стрельцы, выстроенные в одну линию, встретили польских всадников и казаков одновременным залпом из мушкетов. Они вели огонь по шеренгам: две первые шеренги, опустившись на одно колено, стреляли по коннице в упор, в это время две стоявшие за ними давали одновременный залп и также опускались на одно колено, затем стреляли пятая и шестая шеренги, стоя в рост. Атака конницы самозванца, не выдержавшая такого отпора, была отбита, противник бежал, дело довершила поддержка артиллерии. Огонь на короткой дистанции, дружный залп по несущейся во весь опор коннице требовали от стрельцов хладнокровия, выдержки, слаженности действий и умелого владения огнестрельным оружием, чего можно было достигнуть лишь постоянными упражнениями.

Именно этим и занимался Скопин со своими войсками под Калязином. Интересно упоминание об обучении так называемому «бельгийскому способу» — видимо, под этим способом подразумевается разработанный Морицем и Вильгельмом Нассаускими способ обучения солдат строевой подготовке. Они разработали 50 необходимых для построения команд, при этом выработав главное правило: предварительная команда должна предшествовать исполнительной, например, «шагом — марш» или «равняйся — смирно». Во время обучения командиры добивались, чтобы каждый солдат четко знал свое место в строю, разбирался в том, что такое шеренги и ряды, учился строиться и маршировать тесно сомкнутым строем. В результате две тысячи нидерландцев легко строились за 20 минут, в то время как полк испанских солдат едва укладывался в час ^[515].

Вся армия нидерландцев была наемной, но строилась на национальной основе. Солдатам платили вовремя высокое жалованье, но заставляли их производить работы, которые в то время воины считали зазорными, например, рыть окопы и возводить насыпи, ставить укрепления. Выполняя все это самостоятельно, солдаты нидерландской армии осваивали искусство полевой фортификации, что позволяло их командирам захватывать и удерживать инициативу в бою ^[516].

Скопину и другим воеводам, которые наблюдали за обучением новобранцев шведским военачальником, было чему поучиться. Однако приемы построения полевой фортификации не были совсем уж новостью для русской армии. Знаменитые «гуляй-города» — дощатые крепости на

колесах, из-за укрытия которых выступали русские воины, — были старинным способом защиты пехоты против конницы. Правда, с развитием огнестрельного оружия, когда пули и уж тем более пушечные ядра стали легко пробивать доски «гуляй-городов», они начали утрачивать свое значение, однако и в Смуту поляки порядком пострадали от этих передвижных крепостей, будучи неоднократно, как признавался один из них, «потрепаны в битве с гуляй-городами». «Рогатки», «палисадники», «острожки», «частокол», «grodki» — так поляки называли защищавшие на поле русскую пехоту легкие деревянные укрепления, возводить которые, как они считали, научил русских Сомме. Не так уж и важно, кто первым додумался до этого изобретения; главное, приобретенная во время вынужденного стояния под Калязином наука не пропала даром, и уже первое столкновение с польскими отрядами показало, как русские воины применяли новые знания на деле.

О бое 18–19 августа, в котором участвовали в основном русские войска, иностранные авторы сообщают коротко. А бой между тем был жестоким. Посланный Скопиным отряд преградил дорогу тушинцам, которые пришли от Троицкого монастыря к Никольской слободе Калязина. Чтобы отличать в сражении своих, в войске Скопина придумали «положить признаки» — нашить знаки отличия. Первые стычки произошли у топкой «зело и ржавистой» речки Жабны, притока Волги, куда Скопин послал отряд под командованием Головина, Барятинского, Валуева и Жеребцова. «Литовские же увидевши московских людей, и абие яко лютыя звери устремишася на лов. Благодатию же Божию на том бою многих полских и литовских людей побили и поранили, мнози же от них в грязех погрясше, погибоша, прочий же в бегство устремишася к болшим людям в село в Пирогово»^[517].

Село Пирогово располагалось на другом берегу Волги, напротив Калязинского монастыря. Узнав об удачном исходе «затравки», Скопин вместе с войском переправился к Пирогову; здесь по его приказу был заранее сооружен деревянный острог, а перед ним — частокол, за которым и укрывались до времени пехотинцы с пищалями. Против опытных вояк — поляков и казаков — наскоро обученные пехотинцы, немногочисленная конница и скудные силы наемников вряд ли бы устояли, и с таким трудом собранное войско Скопина было бы наголову разбито, так и не дойдя до Москвы. Поэтому по приказу Скопина воины действовали осторожно — как заметил польский участник сражения, хитро: всадники выезжали из-за частоккола и «пускались на нас гарцем»^[518].

И все же Скопину не удалось избежать боя. Посланный в Переславль-Залесский отряд воеводы Семена Коробьина с заданием освободить город от тушинцев получил такой мощный отпор от полковника Сапеги, что был вынужден отступить к Калязину: «едва отъиде от них». Отступив, он привел за собой и преследовавшее его войско Сапеги: «Они ж под Калязин монастырь приидоша изгоном; и под Калязиным монастырем бывшу бою великому»^[519]. Весь день под стенами монастыря раздавались выстрелы, звенели в рубке сабли, ломались о кирасы поляков и немцев копья, раздавались крики на польском, французском, немецком, шведском языках, стояла густая завеса порохового дыма, заволакивавшего ясное августовское солнце. Когда же под вечер, казалось, силы всех были на исходе, услышала служившая молебен о русском воинстве братия монастыря вопли на родном языке: «О преподобие отче Макарие, моли Бога о нас!» — видно, действительно, последний час пришел, если русские люди вспомнили о чудотворце Макарии Калязинском. И увидели иноки, как все же не выдержали, дрогнули тушинцы, «русские же полцы гнаша литовских людей и бьюще и секуще до Рябова монастыря», что в 15 верстах от Калязина, «и многих литовских людей побили и поранили, и нарочитых панов многих живых поймали. И с великою победою и одолением возвратишася под Калязин монастырь со многою корыстию»^[520]. Так войско Скопина самостоятельно, практически без участия наемников, одержала еще одну победу, которая приближала его к Москве. Да и наемники, узнав о событиях под Калязином, все же решили вернуться к Скопину вместе с Делаярди.

Весть о победе Скопина под Калязином облетела многие города, с особенной радостью и надеждой встретили ее защитники Троицкой обители. От «языков», захваченных во время очередной вылазки из монастыря, воеводы узнали, что «подлинно литовских людей князь Михаил под Калязиным монастырем побил»^[521]. Это известие придало силы и уверенности защитникам монастыря.

Справедливости ради отметим, что существует иная версия происшедшего под Калязиным монастырем. И. О. Тюменцев полагает, что сражения как такового не было — тушинцы провели лишь разведку боем и затем вернулись к Троицкому монастырю. Причиной же их внезапного отхода историк считает известие о готовящемся вторжении в Россию польского войска под командованием Сигизмунда III^[522]. Как бы то ни было, но именно с этого дня, по словам одного из поляков, «Скопин пошел вверх, а нашим счастье изменило».

Кроме происшедшего под монастырем сражения, Калязин вошел в историю московского похода Скопина еще и как место переговоров со шведами о выполнении Выборгского договора. Делагарди, желая объяснить царю Василию свое бездействие и, главное, напомнить ему о необходимости присылки денег, отправил после Тверского сражения в Москву с посланием трех человек: Якоба Декорбея, Индрика Душанфееса и Анца Франсбека — так называют их имена русские источники. Из Калязинского монастыря посланцы генерала плыли по Волге до Ярославля, потом ехали до Владимира, где их встретил воевода Василий Бутурлин, одарил их дорогими подарками, после чего они повернули к Коломне, а оттуда отправились к Москве^[523]. О проделанном ими нелегком пути «шведские ротмистры» рассказали в Посольском приказе дьяку Василию Телепневу. Принимали посланцев генерала как нельзя лучше: им присылали корм и питье с царского стола, подарили серебряные с золочением кубки, бархат и атлас и по сорока соболей каждому.

На переговорах с посланцами, в которых принимали участие оба брата царя, было прочитано и письмо Делагарди к царю; этот документ замечательно демонстрирует как откровенные намерения шведов, так и характер самого генерала. Оказывается, Делагарди и его наемники потому оставили Скопина и засели под Тверью, что хотят «тот город ото всех врагов утеснения твоему царскому величеству верною рукою обороните»^[524], а о том, какое значение имеет этот город, царю и объяснять не надо — он-де сам хорошо это знает. Иными словами, сбылась давняя мечта тверичан: Тверь в начале XVII века, оказывается, стала важнее Москвы. От многочисленных штурмов крепости, пишет генерал, его «люди и лошади истомны стали», должны «опочинути» и дождаться «свежих людей» — подкрепления из Швеции, а потому они из-под Твери и не уходят.

На подмогу Скопину Делагарди послал отряд в две тысячи человек «для того, чтоб ево люди храбрее стали, а врагом бы страх и ужесть была». Посланцы Делагарди должны были не только «обстояние дел объявить», но и донести жалобу наемников о том, что «оне твоему царскому величеству здесь в земле... свою верную службу показали, а за то мало заплаты получили». По словам князя Михаила, пишет Делагарди царю, от Твери до Москвы «две дороги просты», вот по ним-то генерал и просит прислать из Москвы как можно скорее денег. Так и слышатся в этом письме уговоры Скопина идти быстрее к Москве — ведь до нее, что называется, рукой подать, но имеющий совсем иные намерения Делагарди остается в Твери и ловко вворачивает в письмо к царю полученную информацию о близости к

столице.

Одновременно со шведскими посланцами в Москву тайно пробрался и гонец самого Скопина, Василий Архипов. В целях безопасности он даже не вез письмо, а имел приказ князя его слова «передать речью»^[525]. Отправил его князь через три дня после Калязинского сражения — 21 августа, «в четверть часу в пятом ночи». В своем «сказании» гонец извещал о главном: «Немецкие люди просят Корелы, и за тем по ся места мешкают и идти без Корелы не хотят; а князь Михайло де Васильевич к немецким воеводам приказывал многожды, и сам им говорил, чтоб они шли ко государю не мешкали, и службу свою совершали». Когда они выполняют свои обязательства, говорил наемникам Скопин, то царь, посоветовавшись с «боярами и землею, за их службу за Корелу им не постоит», а сам он, воевода, «без государеву указу дати им Корелы не смеет». Сейчас же в Тверь к Делагарди приехал королевский секретарь с приказом от короля: без Корелы вглубь России «не хаживать».

Три недели, о которых говорилось в секретной части протокола, составленного в Выборге, уже прошли, наемники были на пути к Москве, и Корелу нужно было отдавать. Конечно, Скопин не мог взять на себя всю полноту ответственности за раздачу русских территорий, поэтому и ждал указаний из Москвы. Царь совещался с патриархом Гермогеном, «и с бояры, с дворяны, со всеми ратными людьми»; в результате приговорили: Корелу отдать^[526]. Туда были отправлены думный дворянин Федор Чулков и дьяк Ефим Телепнев для совершения передачи города и уезда шведским уполномоченным. Скопин в Калязине должен был подписать еще одну подтвердительную грамоту к Выборгскому договору.

Любопытно ответное послание царя к Делагарди. Пожалуй, в умении обходить каменистые пороги в трудно проходимых переговорах Василий Шуйский показал себя ловким гребцом. Все письмо содержит самый важный и самый главный для царя припев: надо идти на Москву не мешкая, не дожидаясь никаких новых подкреплений, и никаких отговорок от Делагарди царь принимать не хочет. Деньги из Москвы выслать в Тверь никак нельзя, ибо по дорогам, захваченным «ворами и польскими и литовскими людьми», не только денег не послать, но и отписки от Скопина приходят «с великою нужен»: «Воры стоят блиско Москвы и под дороги приходят украдом, а утаитися от них такой посылке никак не возможно»^[527]. Василий Шуйский, хитрый лис, показал себя в этой ситуации мастером торга: освободите от поляков дороги и Москву — будут вам все деньги сполна. Пока же расплачиваться с наемниками он поручил

воеводе Скопину, которому также написал послание.

Во-первых, Скопин должен добиться, чтобы Делагарди увел своих людей из Твери, — Тверь, конечно, важна, но оставить там должно своих, русских людей, а наемников спешно вести к Москве. Во-вторых, деньги для расчетов с наемниками привезет Скопину из Владимира Елизарий Безобразов — 12 тысяч ефимков, которые взяты у Федора Шереметева^[528]; ефимки Скопин должен раздавать не в убыток казне, а рассчитывать «по большей цене, как бы прибыльнее было». Казну царь приказывал везти со «всевозможным бережением», однако указанных денег для расчетов с наемниками явно не хватит, поэтому остальные Скопин должен будет собирать сам. Наконец, в-третьих, толмач Бажен Иванов, который приезжал с посланцами Делагарди, — единственный переводчик с французского, поэтому Скопину нужно держать толмача все время при себе, дать достойное жалованье и корм и смотреть, чтоб он с «немцами... поменьше водился». Этот самый толмач был русским, православным, его вывез когда-то из «цесарской земли» думный дьяк Афанасий Власьев. После он оказался в Новгороде и жил у Михаила Татищева, там-то его и нашел Михаил Скопин и взял с собой в московский поход. Видимо, говорил он по-французски настолько хорошо, что французы принимали его за своего, привечали, сажали есть вместе с собой, и тот даже в постные дни вкушал с ними скромную пищу — словом, Василий Шуйский опасался, как бы наемники не переманили и не увели толмача с собой^[529].

Выполняя распоряжение царя, 21 августа в Калязинском монастыре главнокомандующий русскими войсками Скопин и генерал-фельдмаршал Сомме договорились о том, что шведское войско как можно скорее прибудет в Калязин, а в Корелу для передачи города шведам отправятся послы царя. Однако в грамоте было поставлено ясное условие: послы отправятся в Корелу лишь тогда, когда прибудет наемное войско в Калязин.

Сомме лично обещал воеводе Скопину, что и «ему со всеми людьми от меня не отстать, нигде, никоторыми делы, да и тем воеводам, Якову Пунтусову со всеми людьми ко мне быти»^[530]. Особо подчеркивалось в грамотах обязательство наемников по дороге нигде «самовольства не чинити». 27 августа Скопин подписал аналогичную грамоту с королевским секретарем Карлом Олофссоном.

Выполнил Скопин и второе поручение царя: собрал деньги и расплатился с наемниками. Делагарди и его оскудевшая (по некоторым сведениям, до 1200 человек) армия получили от Скопина четыре тысячи рублей, да из Новгорода прислали еще две тысячи, да на пять тысяч рублей

соболей, — всего 11 тысяч. Иван Ододуров должен был раздать эти деньги и меха наемникам. Так что русская сторона пока выполняла условия Выборгского договора, дело было за шведами.

Глава восьмая
«СОЛНЦЕ К СОЛНЦЕМ ЗАЙДЕ»

Он много действовал, хоть мало жил.

Ф. И. Тютчев

Александровская слобода

Уже миновал Покров, осень перевалила на вторую половину, начали забываться теплые дни бабьего лета. А когда окончательно облысели кусты и застыли до будущей весны в немой наготе деревья, повеяло вдруг от ранних сумерек и распутицы под ногами такой тоской, что хоть завывай вместе с порывами неумолимого хлесткого ветра или плачь наперебой с надоедливым дождем. Вот она — поздняя русская осень во всей своей полноте явилась. Короткие дни и хмурые утра отзывались в душе тяжестью и унынием.

Михаила Скопина, которому в ту осеннюю пору исполнилось 23 года, огорчало и тревожило многое. Больше года назад начался его поход на Москву, а тушинское войско, по сведениям перебежчиков, хоть и разваливалось на части, но все еще было сильно и многочисленно. Отряды «царика» нередко навещали города, еще недавно с таким трудом отвоеванные царским войском, и пытались вернуть их под власть самозванца, — так, от тушинцев пострадали Владимир и Нижний Новгород, все еще был под ними Суздаль, тревожные вести приходили из Вятской земли; отовсюду у Скопина просили помощи, надо было посылать на помощь отряды, расплыть свои и без того небольшие силы от главной цели — Москвы.

А в сентябре новая беда свалилась на Русское государство. Недостаточно ему было прежних самозванцев, еще один претендент объявился — на сей раз сам король Польский Сигизмунд III решил предъявить права на русский престол. Он с войском перешел границу и осадил Смоленск.

С болью и тяжелым сердцем слушал Скопин печальные новости из осажденного Смоленска, которые сообщали в своих письмах родные и близкие воюющим вместе с ним смоленским дворянам. «Государю моему Михайлу Филиповичю жена твоя, Огафья, с детми челом бьют... А пожалуешь, государь, похоть про нас ведать, и мы, государь, в бедности в Смоленске в осаде одва чуть живы, да сидим заперты четыре недели, за неделю до Дмитровой субботы, — писала Михайле Неелову его жена, жалуясь о своих бедах. — А хлеба, государь, нынешнего с обеих поместий яравого ничево не увезли, воры не дали, а и ржи, государь, посеяли девять четвертей в Худкове, а в Лосеве две четверти. А живата в осад не увели нисколка, потому что корму нет, толка конь голубой да кобылица»^[531]. И

мрачнели лица воинов — смоленских дворян и детей боярских, и не от того, что домашние урожаи не уберегли, а от мысли о том, что сделают с их семьями поляки, если город не выстоит, возьмет его король приступом; грех так думать, — но пусть уж лучше от голода умрут или от обстрела.

То, что город подвергают сильному обстрелу, в письмах тоже сообщали. Вот мать двух смоленских воинов — Михайлы Дивова да Павла Самарина — пишет им: «Король пришел под Смоленск, бьет по городу и по хоромам день и ночь. И мы себе не чаем живота, и будем и мы помром, и вас Бог простит».

Получив известия о приходе польского короля, воины из самого Смоленска и из других городов Смоленской земли начали просить князя Михаила отпустить их домой, чтобы защитить и город, и свои семьи: «слезно плаката... и много молиша его». Скопин утешал своих ратников «благоумилными словесы», говорил, что Смоленск никак нельзя отдавать, нужно, чтоб держался: о том и царь пишет воеводе Шеину. Но уходить сейчас, убеждал воинов Скопин, означает развалить с таким трудом созданное войско — последнюю и единственную надежду всей земли. Вот, Бог даст, снимут осаду с Троицкой обители — и всеми земскими силами пойдут на помощь смолянам, изгонять Сигизмунда из России: «Он же повеле им от своего боярского полку не отлучатися и ждати от Бога милости и одарения на государевы неприятели»^[532].

Не радовали Скопина и отношения с «заклятыми друзьями» шведами. Делагарди наконец появился под Калязином вместе со своим разноплеменным, но очень небольшим воинством на исходе сентября. Встретили их, конечно, с почестями, оба полководца сделали вид, что прежние обиды забыты. Делагарди остался приемом доволен: еще бы, особенно после того, как Скопин прислал для его воинов гонца с мехами на сумму 14 974 рубля^[533]. На вопрос Скопина: почему Делагарди привел такой маленький отряд и где же остальные наемники, генерал, не затрудняясь, немедленно дал ответ: ждут на границе. Мол, посол Эрик Олафсон и полковник Теннессон стоят с пополнением в Выборге, и еще один отряд ждет в Нарве, но они хотят, чтобы им вперед заплатили жалованье, и вот теперь, когда деньги получены, можно их послать с гонцом на границу. Генерал Делагарди и об инструкциях Карла IX не забыл — ввернул о городе Кореле, который все еще не передан шведам.

Пришлось Скопину скрепя сердце по указанию царя подписать 17 декабря новый договор, подтверждающий прежние условия. Теперь по просьбе царя Василия шведы обязались выслать дополнительно еще

четыре тысячи человек к прежним пяти тысячам, при этом особо подчеркивалась их цель пребывания в России: всюду преследовать поляков и очистить Русское государство «от воров».

Но и король Швеции своего упускать не пожелал — по требованию Карла был добавлен новый пункт: кроме Корелы с уездом Россия должна Швеции «полное воздаяние воздати... чего велеможный король у государя нашего царского величества по достоянью попросит, города, или земли, или уезда»^[534], то есть ради сохранения престола Василий Шуйский был готов отдать или, по меньшей мере, пообещать отдать шведам уже не только Корелу, но и другие города и земли — воистину шведские аппетиты во время пребывания за русским столом росли быстро. Рука Скопина не поднималась подписывать такой договор, но он — солдат, его дело выполнять царский приказ.

То, что решение опираться на помощь наемного войска было ошибочным, Скопин к этому времени понял окончательно. Особенно это стало для него ясно после боя на речке Жабне, когда победу одержали и без наемников. Разбежавшиеся по всей стране, жадные до чужого добра «псы войны» сейчас не решали, а только создавали новые проблемы в и без того уже порядком измученной стране. Из-под Нарвы опять пришли неутешительные вести: пополнение наемников под командованием француза Пьера Делавилля, не дожидаясь выплаты жалованья, уже грабит окрестные села; заставить их идти воевать под Москву — все равно что собирать в дырявый мешок рассыпавшийся горох.

Скопин вспомнил, как удивлялись иностранцы дешевизне жизни в Московии, впервые оказавшись здесь: за масло, сыр, мясо они платили лишь малую часть того, что привыкли платить на родине; и жилье, и перевозки — все было для них удивительно дешево; как сказал один нидерландский купец — «в России все можно купить за щепотку соли»^[535]. Но брать даром для наемников, конечно, привычнее. Пытался Скопин в письмах уговорить царя отказаться от услуг наемного войска, но тот и слушать его не захотел. К тому же в последнее время Михаил чувствовал, что царь изменил свое отношение к нему — видно, опять к советам брата своего Дмитрия прислушиваться стал. Вот уж действительно: «Вещати умеют мнози, а разумети не вси».

В Москве ходили слухи, будто в войске только и говорят: «Царем надо Скопина, он молод и удачлив, к людям милосерден, а царь Василий жесток и несчастлив»^[536]. Князь Михаил, конечно, видел, как к нему относятся его воины, и слухи те до него доходили. Что скрывать, кому не лестно такое?

Но на переправе коней не меняют — сейчас не о шапке Мономаха думать надо, а о победе над тушинским «цариком». А царь Василий, Михаил знал доподлинно, всегда был скрытен и недоверчив, доносы особенно любил слушать.

Московские слухи подтверждал в своем донесении в Париж и неизвестный французский агент. «Шуйский известен как человек гордый и жестокий, что причинило величайшее смущение в народе, — извещал он французский двор. — Говорят, что он, будучи сам весьма богат и могущ, намерен оставить власть и позволить чинам свободное избрание, причем полагают, что Скопин предпочтен будет всем. Из сего видно, что все москвитяне, как люди (не)постоянные и обманчивые, присоединятся к сказанному Скопину, оставив и Дмитрия, и короля, и всякую другую партию...»^[537] Скопин, конечно, не мог знать текста этой депеши, которую обнаружат спустя много лет в Публичной королевской библиотеке Парижа. Но если бы знал, то понял, как правильно он поступил с посланцами Прокофия Ляпунова, недавно приехавшими к нему в Александровскую слободу.

Человек нетерпеливый, нрава необузданного, Прокофий Ляпунов, наслушавшись разговоров о возможных кандидатах на престол вместо царя Василия — а их называли немало: и Василия Голицына, и Михаила Скопина, и сына короля Сигизмунда III Владислава, и самого Сигизмунда, — решил опередить всех. В Александровскую слободу приехала из Рязани от него «станция» — отряд с грамотой, в которой Прокофий подробно расписал, почему не может долее царствовать Василий Шуйский: и стар он, и неудачлив, и доносчиков привечает, и с колдунами ворожит. Чего только не припомнил Ляпунов и каких «укорных словес» не приплел, желая подтолкнуть князя Михаила к борьбе за престол: «здороваша на царстве», тем паче что и борьбы-то, как он считал, никакой не будет — все и так поддержат родовитого Скопина^[538]. Одного не учел дворянин Ляпунов, когда-то прощенный царем Василием за измену и отправленный им на воеводство в Рязань, что не всяк может служить, как они с братом, — сегодня вашим, завтра нашим; некоторые свой долг до самого смертного часа помнят.

Под многими словами той грамоты мог бы подписаться князь Михаил, но как потом людям в глаза смотреть? Сам Василий когда-то подыскивал престол под царем «Димитрием» — так ведь тот самозванцем оказался, а царь Василий все же избран на Земском соборе; помнил Михаил слова апостольского послания, что любая власть — она от Бога. Грамоту он эту

конечно же на глазах посланцев изорвал, а их повелел, позвав слуг, арестовать, связать и под усиленной охраной, чтобы не сбежали по дороге, отправить в Москву. Но посланцы все как один бухнулись в ноги князю и завопили о своих семьях, которые останутся без кормильцев, да о несладком своем житье в Рязани, где «Прокофьево насилие» цветет буйным цветом.

Скопин не сомневался, что в Москве их не пощадят: будут пытаться, пока они не расскажут все, даже то, о чем никогда и не знали, а потом, если выживут, может быть, и простят. Ну что ж, а при блаженной памяти царе Иване Васильевиче, который здесь вот, в Александровской слободе, в своем опричном, «вдовьем» уделе жил, — так после пыток точно казнили бы, не помиловали изменников. Внезапно, будто рядом, прозвучал в памяти Скопина истошный крик: «Измена!», и на миг промелькнуло перед его глазами то, что он хотел бы забыть навсегда: искаженное ужасом лицо новгородского владыки Исидора, дрожащими губами шепчущего молитвы, разъяренная толпа на Софийской площади и на земле растерзанное, неживое тело воеводы Татищева с неестественно вывернутой шеей.

Он мотнул головой, словно пытаясь отогнать страшное видение, отвернулся от все еще вопящих рязанцев.

— Не хочу я вашей крови, — наконец произнес он, по-прежнему не глядя на них, — поезжайте к себе в Рязань. — И помолчав, добавил: — А воеводе своему передайте, чтобы мне он таких грамот больше не присылал, пусть царю нашему Василию, которому он крест целовал, прямит и служит лучше.

Нужно ли описывать радость пощажённых гонцов, которые норовили руки целовать «милостивому боярину», а дорогой домой дружно решили, что лучшего царя, чем воевода Михайло Васильевич Скопин, и желать не нужно.

«Видно, шила в мешке не утаишь, если в Москве стало известно, что я их отпустил, — размышлял невесело воевода под тягостный свист ветра за окном. — Наказывает меня Господь за смерть Михайлы Татищева, недаром говорится: „Уклонися от зла и сотвори благо. Взыщи мира и пожени и“» (Пс. 33, 15). В палате с низким сводом, где пировал когда-то сам царь Грозный со своими опричниками, обгоревшая свеча закапала воском и дубовый стол, и свитки грамот, а воевода все сидел наедине со своими тяжелыми думами. «Значит, отсюда, из слободы, кто-то уже „порадел“, донес царю о приезде „станции“, и о том, что я отпустил рязанцев восвояси, а не отправил их, как того следовало, в Москву», — Скопин еще раз взял в руки письмо, в котором ему сообщали: царь Василий и его братья

«на князь Михаила нача мнение держати»^[539].

Спустя год князь Дмитрий Михайлович Пожарский в аналогичной ситуации поступит именно таким образом: когда неугомонный Прокофий Ляпунов пришлет к нему в Зарайск грамоту с предложением мстить царю Василию за смерть воеводы Михаила Скопина, Пожарский немедленно известит об этом предложении царя^[540].

Скопин заметил, что царь теперь к его советам вовсе не прислушивается. Вот и сейчас, осенью, чтобы покончить с войском Сигизмунда III, Василий отправил в Швецию специальное посольство с просьбой увеличить наемные войска. И шведский риксрод согласился помочь царю Василию, — что в общем-то было понятно: если польский король или его сын сядут на русский престол вместо Шуйского, то шведам не то что Корелы, но ни одной крепости в Лифляндии не видать, как своих ушей. Вот потому они готовы поддерживать царя Василия сколь угодно долго.

Доходившие из Корелы вести не могли не радовать Скопина. Владыка Сильвестр не позволил отворить ворота крепости и впустить шведов. Так и сидят Федор Чулков да дьяк Ефим Телепнев в Ладоге и пишут оттуда, что «корельские посадские и уездные люди в Кореле заперлися», никого не пускают к себе, и потому передать город шведам невозможно^[541]. Именно на это в свое время и рассчитывали Василий Шуйский и Скопин. Хорошо, что царь своего обещания не забыл, не предал корельцев, а послал своих воевод Ивана Пушкина, Алексея Безобразова да дьяка Никиту Дмитриева с жалованьем за год для стрельцов корельского гарнизона, что означало: царь по-прежнему считал город своим, а городских стрельцов — состоящими на царской службе^[542]. Слава богу, шведы и поляки не разведали про ту поездку царских воевод, но, поговаривают, о разногласиях самого Скопина с царем полякам уже стало известно.

Особенно интересовался трениями между Скопиным и царем король Сигизмунд, стоявший со своим войском под стенами Смоленска. По его просьбе обстановку под Москвой ему постоянно докладывал гетман Роман Ружинский. «Василий Шуйский в распре с Михаилом Скопиным, и каждый из них промышляет сам по себе, — писал гетман королю. — Не мешало бы написать письмо Скопину; по имеемым мною от лазутчика уведомлениям, не трудно было бы его привлечь на сторону вашего королевского величества»^[543]. Король Сигизмунд не преминул воспользоваться советом Ружинского и отправил 13 марта 1610 года письмо Скопину. В нем он

обвинял царя Василия Шуйского в том, что тот не только сел на трон «по своему хотению», но и многих «думных и всякого стану людей народу московского невинне убивает», поэтому «бояре и думные люди» отказываются признавать его царем и желают возвести на престол королевича Владислава. Если Скопин примкнет к этим самым «боярам и думным людям» и захочет привести «сына нашего... на великое господарство Московское... для успокоения его», то есть государства, то он, Сигизмунд, возражать не будет, а Скопину за это обещает всякие милости ^[544].

Одновременно с этим посланием гонец повез из-под Смоленска и другое письмо — написанное польскими сенаторами в Боярскую думу, где Скопин был назван первым среди бояр, даже впереди братьев царя. В этом письме также содержалось предложение вести переговоры об «успокоении» Московского государства. Однако ответа польский король на свои послания не получил — очевидно, что воевода Скопин предпочитал иной путь возвращения тишины и мира на родную землю.

А между тем дела Сигизмунда под Смоленском шли совсем не блестяще, люди уходили из войска короля, тяжелых пушек, способных разрушить Смоленскую крепость, не было — словом, победа их была совсем не очевидна. В октябре 1609 года Лев Сапега признавался в письмах жене: «Не то самое плохое, что Москва не хочет сдаться, а то, что нам нечем их добывать» ^[545]. Смоляне рассчитывали на подмогу Москвы и ждали прихода Михаила Скопина с его войском; королю сообщали, что полководец собирается идти на Смоленск сразу после освобождения Троицкого монастыря и Москвы, когда подсохнут после весенней воды дороги.

Если бы полякам удалось привлечь Скопина на свою сторону, то участь Василия Шуйского, очевидно, была бы решена еще до Клушинской битвы. Расчет поляков был прост: или Скопин согласится поддержать польского короля и этим ускорит падение Смоленска и воцарение Владислава, или откажется — и ускорит свою кончину..

Благословение затворника Ирinarха

Ночью неожиданно — это происходит каждый год неожиданно — подморозило, и на землю тихо лег первый снег. Пронзительный посвист ветра, что накануне вечером бередил душу и не давал уснуть, затих, природа словно очистилась ливневыми рыданиями, успокоилась, и земля покрылась чистым белым платком. Ранним утром, в неясном еще свете наступившего дня, Скопин шел на воскресную службу по хрусткой траве безлюдного, чуть припорошенного белым поля за слободой и радовался возникшему в душе ощущению чистоты и свежести, нечаянного обновления, щедрой рукой преподнесенного ему в дар.

Он вспомнил, как в сентябре, неожиданно для тушинцев, да и многих недоброжелателей в Москве, посланный им отряд под командованием шурина Семена Головина — надежного и верного помощника — захватил Переславль-Залесский. Вскоре и сам главнокомандующий с войском вошел в город, так долго остававшийся в руках тушинцев. Скопин проехал по берегу Плещеева озера, осмотрел стены и храмы города, отслужил благодарственный молебен. Здесь же, в Переславле, его начали одолевать сомнения: следует ли двинуть войска сначала к осажденному уже больше года Троицкому монастырю или идти сразу на Москву? Сил пока еще маловато, надо бы укрепиться, подождать, когда подойдет со своей ратью из Владимира Федор Шереметев, а на наемников надежды уже нет. Но из Москвы торопили, оттуда доходили тревожные вести: не сговорился ли уже с поляками воевода Скопин, если он медлит идти к столице, которая всего в двух днях перехода? Противники царя Василия сеяли панику, распространяли слухи, что Скопин в город и вовсе идти не думает, мол, это все — ложь, царские выдумки, а москвичи напрасно терпят нужду — если сейчас, осенью, хлеб опять подорожал, что же будет дальше?

Посоветоваться Скопину было не с кем. Семен Головин, конечно, верный соратник и смелый воин, но здесь нужен человек, опытный в сражениях иного рода. Может быть, Якоб Делагарди? Этот хитрый лис хоть и молод, а многое уже повидать успел, — но он все больше со своими воеводами совещается или новые условия по оплате выдвигает. Видно, инструкции короля своего выполняет — что ни день, гонцы письма ему привозят из Выборга. Да и боялся Скопин довериться кому-либо; в свое время они с матерью пострадали от доноса во времена Бориса Годунова — едва не погибли, а всему виной были неосторожно сказанные слова о

царской семье. Но необходимость открыть кому-нибудь сердце в трудную минуту, помочь разрешить сомнения — такая естественная человеческая потребность — одолевала Скопина и требовала своего разрешения.

Помог, как всегда, случай. Услышал он от одного из своих воевод рассказ об удивительном старце, который подвизался в Борисоглебском монастыре под Ростовом. Старец тот еще в детстве удивлял всех окружающих, и своих родителей в том числе. Однажды, когда ему было шесть лет, он слушал рассказ о преподобном Макарии Калязинском — Калязинский монастырь располагался рядом с тем селом, где жил мальчик, — и неожиданно горячо воскликнул: «И я стану монахом!» Повзрослев, он действительно принял постриг и много лет жил в монастыре Святых Бориса и Глеба на реке Устье близ Ростова. Там он неустанно молился, держал строгий пост, не пил хмельного, и в жару, и в холод ходил босой и носил на себе ветхое рубище, а под ним — тяжеленные железные вериги для смирения плоти. Руки его никогда не оставались праздными: он шил одежду для нищих, вязал власяницы. Много он претерпел насмешек и поруганий от братии монастыря и даже от игумена; случалось, изгоняли его, и тогда уходил он в другую ростовскую обитель, но все же местом его спасения стал Борисоглебский монастырь. Жил он не вместе с братией, а в затворе, где молился неисходно, как иноки древних времен в пещерах, — да и келья его, тесная и узкая, и впрямь напоминала пещеру или гроб.

За такие подвиги дал ему Господь удивительный дар прозорливости: видеть духовными очами то, что другим людям неизвестно, потому из многих городов приходили к нему люди за благословением и даже старцы из далеких монастырей.

Говорили, что однажды во сне — а спал старец, обвязанный железной цепью, лишь час-два за ночь — ему было страшное видение: град Москву в 117-м году от Сотворения мира (то есть в 1609-м) захватили поляки, все царство русское пожгли, а народ посекали и пленили. Заплакал старец и решил идти в Москву, известить о том царя Василия. Царь его принял, выслушал, но удивился его босым ногам и веригам, а царица Марья полотенца вышитые стала старцу дарить. Старец ничего не принял, сказал: «Я приехал не за подарками, а возвестить тебе правду». Побывали и поляки в монастыре преподобного, когда из-под Калязина отошли, и к затворнику Иринарху заходил сам гетман Сапега в келью. «За какого царя, — спрашивал, — ты, старец, молишься?» Но затворник нисколько его не убоился: «Я в России рожден и крещен, — отвечал старец, — и за русского царя Бога молю». Посмотрел Сапега на узкую, как могила, келью старца, из которой и взять-то нечего, подивился его веригам железным, а еще более

стойкости духовной и сказал своим воинам: «Правда есть в батьке велика: в коей земле жити, тому царю и прямити». И не посмел никто тронуть старца Иринарха, хотя монастырь тот поляки и разграбили. Сапеге же старец посоветовал не только что из Ростова, но из Русской земли вовсе уйти как можно скорее и вернуться на родину — иначе примет он здесь смерть.

Рассказ о борисоглебском затворнике Скопин уже слышал в Москве от матери, а сейчас, оказавшись рядом с Ростовом, еще больше утвердился в своем желании получить совет и благословение старца. На следующее утро он отправил верного человека в Борисоглебский монастырь, наказав сказать слово в слово: «Боярин и воевода князь Михайло Скопин просит у тебя, отче, благословение». Вскоре его человек вернулся. Старец, сказал он, жив, из кельи своей по-прежнему не выходит, молится денно и нощно о спасении России от бед, а монастырь сильно разорен, братия мала. Но Скопину он велел передать просфору и свое благословение: «Дерзай, Бог поможет ти!»^[546]

С этого времени сомнения уже более не одолевали Скопина, дерзновения ему было не занимать, теперь он твердо знал, куда ему следует идти вместе с войском, и дела его после того явно пошли в гору. Наконец, пришел к нему «в сход» воевода Федор Шереметев со своей ратью, набранной в волжских городах, — а это шесть тысяч человек^[547]. Теперь войско Скопина насчитывало уже 18 тысяч^[548], и наемники в нем были каплей в море. С такими силами можно и в бой идти!

После успешного освобождения Переславля Скопин решил прямо двигаться к Троицкому монастырю и отправил на помощь сидящим в осаде отряд ратников, другой передовой отряд он послал в Александровскую слободу. Бои у Александровской слободы, по данным дневника Сапеги, произошли между 19 (29) октября и 24 октября (4 ноября) 1609 года^[549]. Едва заняли слободу и по приказанию воеводы соорудили в ней деревянный острог вместо сожженной поляками крепости, как разведка донесла о приближении тушинского войска. Скопин решил, что это Сапега двинулся из-под Троицы, объединившись с отрядом Ружинского, — в таком случае поляки представляли собой грозную силу. Но вскоре к Скопину привели языка, который рассказал, что между польскими гетманами вражда, и потому Сапега идти с Ружинским отказался, только людей своих немногих прислал. Это меняло ситуацию.

Свою неудачу на Ходынке под Москвой, когда он проспал нападение войска Ружинского, Скопин не забыл, поэтому Александровскую слободу со всех сторон, на дорогах и подъездах, окружил заставами, поставил в них

небольшие отряды, везде рассылал разведку, чтобы брать языков и узнавать планы противника. О службе одного из воинов Скопина в московском походе — окольного Михайлы Вельяминова — рассказали в челобитной царю через много лет после окончания Смуты его дети. Окольный Вельяминов был участником всех событий московского похода Скопина. Он вышел вместе с князем Михаилом из Новгорода, сражался за Тверь, у Калязина монастыря, был ранен. Ходил затем под Переславль и под Троицкий монастырь «для языков», был послан Скопиным в Суздаль. Судя по результатам разведки, окольный Вельяминов задания всегда выполнял успешно: «Да отца ж, государь, нашего да с ним Григорья Валуева посылал боярин князь Михайло Васильевич под Троицу для языков, и отец, государь, наш языки поймал многие и заставки побил»^[550].

В конце октября к селу Каринскому под слободой были посланы передовые силы войска, которые по своему обыкновению построили заранее «палисадник и рогатки» и встали в неудобном для атаки польской конницы месте. Оттуда сотни царского войска — конница и пехота — делали вылазки и снова возвращались под защиту укреплений и дружный огонь мушкетов. Неделью продолжались стычки, пока замерзшим полякам не удалось навязать наконец войску Скопина бой. Передовые силы все же не выдержали натиска польской кавалерии и бежали до самой слободы: «Литовски же люди русских столкнуша и топташа их до самых надолбов»^[551].

Скопин предусмотрел такое развитие событий, поэтому основные силы расположил за стенами наскоро сооруженного Александровского острога. Предчувствуя скорую победу, польские гусары лихо преследовали бегущих и не ожидали встретить у стен острога сильное войско. Подпустив поляков ближе, Скопин встретил их мощным залпом из мушкетов, а затем ударил по польским хоругвям, смял их и отогнал от Александровской слободы. Даже шведский историк Видекинд впервые в своем сочинении воздал должное войску Скопина и отметил, что в тех событиях «наибольшую славу решительным вступлением в бой приобрели московиты»^[552].

Как признавались потом сами поляки, «под Москвою... Скопин очень теснил наших (буквально: „сильно хвосты нашим прищемил“). — Н. П.) построением укреплений, отрезывал им привоз съестных припасов, а в особенности тем, кои с Сапегою стояли под Троицею»^[553]. На дорогах караулили разъезды, которые нападали на польских фуражиров.

Скопин являл собой тип полководца, который вникал во все

подробности жизни своего войска: от состояния духа воинов до тщательного планирования будущего сражения; не ленился он заниматься вопросами подготовки новобранцев, отличался личной храбростью на поле боя, оставаясь при этом человеком, по отзывам многих, не лишенным милосердия, чем снискал несомненную любовь у всех, знавших его. «И вся полки своя премудро и стройно учредив, и везде полков сам дозираше, и своим боярским премудрым смыслом утверждаше их, и благоразумными словесы полки своя утешаша, и сам многую свою силу и премудрую храбрость показа, пред всеми полки напущающе»^[554], — горячо писал о нем современник событий.

Пока польские гетманы Ружинский и Сапега выясняли между собой отношения, завидуя друг другу и враждуя, инициатива явно перешла в руки царского войска. Теперь Скопин смог освободить от осады Троицкую обитель.

«Троицкое стояние»

Осада обители началась в сентябре 1608 года, когда первые отряды тушинского «царика» подошли к Троице и расположились на Клементьевском поле перед монастырем. Их общая численность составляла примерно от 10 до 15 тысяч человек^[555]. Что могли противопоставить им защитники обители?

В то время в монастыре, как и сегодня, находилось 300 монахов, многие из них в миру были воинами, имели немалый опыт в осадном деле; на подмогу царь из Москвы прислал отряд стрельцов, казаков и детей боярских под командованием воевод Григория Долгорукова и Алексея Голохвастова. Вместе с жителями окрестных деревень и сел, искавшими под стенами монастыря защиты, общее число участников обороны не превышало две с половиной тысячи человек, то есть, по меньшей мере, в четыре раза уступало нападавшим.

Монастырь представлял собой мощную крепость с каменными стенами, правда, во многих местах сильно обветшавшими и давно требовавшими ремонта. Общая протяженность их составляла более километра, высота — от 8 до 15 метров, толщина — не меньше 6,5 метра. На углах и посередине стен располагалось 12 башен с бойницами для верхнего, среднего и нижнего, или подошвенного, боя. В монастыре имелись ружья, пушки, порох, на случай осады приготовили продовольствие. Однако, несмотря на все эти приготовления, по человеческим, мирским законам шансов устоять у осажденных, не имевших больших воинских сил, даже под защитой монастырских стен и артиллерии практически не было. На это и рассчитывали тушинские воеводы.

В монастырь был послан боярский сын с грамотой, в которой польские воеводы убеждали настоятеля монастыря и братию сдаться: «Помилуйте сами себе: покоритесь великому имени государю нашему и вашему. Да аще учините тако, будет милость и ласка к вам государя царя Дмитрия...» Если же защитники отвергнут предложение сдаться, то все «умрут зле». На «прельстительную грамоту» Сапеги и Лисовского защитники ответили достойно: и десятилетний ребенок в монастыре посмеялся бы над вашим советом сдаться, хотя вы «и ложною ласкою, и тщетною лестию, и суетным богатством прельстити нас хотите. Но ни всего мира не хотим богатства противу своего крестного целования»^[556]. Получив такой ответ, тушинцы

начали обстрел крепости из орудий.

В день Архистратига Михаила 8 (18) ноября, во время обстрела, в Троицком храме шла вечерняя служба. Все, кто был на ней, чувствуя свой последний смертный час, со слезами молились так, как молятся только в страшный шторм на тонущем корабле, когда помощи и ждать уже не от кого. В этот момент стоявшие в храме с ужасом увидели, как пушечное ядро пробило железные ворота собора рядом с ракой преподобного Сергия и прочертило след на иконе Николая Чудотворца. Это отверстие на кованых воротах сохранилось до наших дней, зримо напоминая о временах Смуты.

Когда даже многочасовая артиллерийская стрельба не смогла разрушить монастырские стены, осаждающие попытались рыть подкопы, чтобы подложить в них порох, однако в монастыре от пойманных языков узнали, где ведутся работы, и смогли предупредить взрыв. Пытались тушинцы ходить в первую осень и на штурм, но сидельцы мужественно и успешно его отбили. Захваченные тогда штурмовые лестницы, деревянные щиты и туры — плетеные корзины для земли, защищающие орудия, — пошли в дело: их внесли в монастырь и использовали для растопки печей.

Осажденные не только отсиживались за стенами монастыря, они совершали и вылазки, брали языков, случалось, захватывали польские подводы с продовольствием. Особенно памятной для Сапеги и Лисовского стала вылазка осенью 1608 года, когда три отряда вышли из разных ворот монастыря, отогнали тушинцев от крепостной стены, взорвали обнаруженный подкоп, захватили много ружей, порох, пушки, сожгли осадные туры и вернулись в монастырь. Эта контратака сидельцев заставила Сапегу отойти от монастыря и стать лагерем на дальних подступах.

Зимой приступы почти прекратились, но осажденные столкнулись с новой бедой: из-за нехватки в монастыре продовольствия и свежей воды началась эпидемия цинги: «на всякий день погребают человек по 15–20... а стрельцы и казаки все лежат лоском, цынга смертная, ноги пухнут, да с того и помирают»^[557]. В разгар болезни умирало до ста человек в сутки, монахи не успевали отпевать умерших, к весне способных носить оружие оставалось не более двухсот человек. Настоятель монастыря архимандрит Иоасаф прибег к древнему способу борьбы с болезнью: устройству обыденной церкви. Постановили устроить придел в храме Пресвятой Богородицы, и на следующий день число умерших стало сокращаться, новые больные больше не появлялись^[558]. Когда осада монастыря уже была снята, очевидцы рассказывали: голод в обители был такой, что «лошади,

стоявшие в конюшне, от голода изгрызли и съели деревянные косяки»^[559].

В конце июня 1609 года, когда вести об успешном продвижении войска Скопина дошли до монастыря, польские отряды предприняли новую попытку взять штурмом так и не сдавшуюся крепость. К этому времени в монастыре в живых осталось только 40 из 300 человек братии и 200 воинов, способных держать в руках оружие. Вместо воинов на монастырские стены встали монахи, женщины, дети; воевода Григорий Долгоруков в самом опасном — «утлом» — месте стены, где предполагался, по сведениям, полученным от языков, штурм, встал сам, на другом таком же месте поставил своего сына Ивана.

Штурм продолжался «с первого часа ночи до первого часу дни», войско Сапеги ходило на приступ стен с «огненным с верховым боем, и с щитами, и с лестницами, и с проломными ступами»^[560]. В отражении штурма участвовали все, кто жил в монастыре: стрельцы отходили от пищальных бойниц только если заканчивался порох, даже раненые, оторвав край рубахи и перевязав рану, продолжали вести огонь. Женщины варили в котлах смолу, дети носили на верх крепостных стен камни, крестьяне выливали сквозь специальные отверстия в стенах на штурмующих негашеную известь и вар — словом, все помогали, чем могли. Особенно отличились Гурий Шишкин — управляющий левым клиросом монастырского хора, сотник Николай Волжинский и монастырский служка Гриша Рязанов: они вовремя заметили, что тушинцы проникли на Пивной двор, и, позвав стрельцов, смогли выбить оттуда «воров» и поляков. К середине дня приступ был отбит.

В канцелярию тушинского царька полетела депеша, в которой были представлены имена активных участников штурма из числа жителей Переславля и перечислены потери. Редко в том списке встретится имя наемника «немчина» или «литвина», все больше имена людей русских, которые ходили на приступ своей же православной обители: «Дворяне и дети боярские: Матвей Иванов сын Болшево, убит. Таир Редриков, ранен из пищали в голову». Редриковых участвовало в штурме трое человек, все отличились «явственно». «Томило Андреев сын Егосов, голова у него с города прошибена камнем... Богдан Замятнин сын Айгустов, правая рука розшибена камнем. Офанасий Тимофеев сын Винков, голова у него с города прошибена бревном... Охотники: Прокофей Жуков, ранен из самопала по голове скользь»^[561]. А сколько еще убитых значилось в том скорбном списке, кто был собран насильно по соседним деревням и селам или воевал против своих же родных, знакомых, сослуживцев добровольно,

против тех, с кем еще недавно вместе ходил походами в царском войске, а теперь видел их по другую сторону крепостной стены Троицкой обители?! Так исполнилось, по словам безымянного автора повести, псаломское слово: «Боже, приидоша языцы в достояние Твое и оскверниша церковь святую Твою, положиша руския грады яко овощная хранилища, и трупие раб Твоих брашно птицам небесным и зверем земным и пролияша кровь их яко воду во градех русских...»^[562]

Конечно, тяжелая жизнь в осажденном монастыре не могла не посеять в какой-то момент рознь среди его защитников, вынужденные ограничения породили у кого-то подозрения в измене и предательстве. Причиной конфликта между воеводой Григорием Долгоруким с его служивыми людьми и братией монастыря стал вопрос о еде и питье. Воины считали, что монахи излишне экономны, не дают им вдоволь пропитания, держат на одном хлебе, и самое главное, по мнению служивых людей, — не выдают спиртное после боя, а сами едят и пьют вдоволь. Казначей Иосифа Девочкина обвинили даже в том, что он собирался открыть монастырские ворота и впустить поляков, и подвергли пыткам.

В оправдательном письме царю иноки писали, что обвинения их в излишней скаредности ложные: «Запасом, государь, всяким с ними делимся и не оскорбляем никого»; готовят для всех одинаково — что для братии, что для ратных людей. Собирали монахи и деньги «с братьи, по рублю с человека, а с иных по полтине», чтобы раздавать их ратным людям, которым не платит опустевшая государственная казна. Особой заботой были окружены даже в тех тяжелых условиях больные и раненые; им приносили каждый день «из хлебни мяхой хлеб, да из поварни шти да каша брацкая, а из келарские по звену рыбы на день человеку». Сама же братия уже давно перешла на «две ествы» в день, без всяких добавок: каша и щи, одно звено рыбы на четверых, в пост только сухари и хлеб, кисель на воде, а меда и квасу давно не варят — нет дров, чтобы согреть воды^[563].

Слух о готовящейся измене в монастыре был ложным: современные исследования убедительно доказали, что за всю осаду монастыря ни один его защитник не изменил, никаких тайных связей с польским лагерем не было, и подвергнутый пыткам и скончавшийся казначей пострадал безвинно^[564].

К началу осени, когда войска Скопина успешно продвигались по Волге, Сапега и Лисовский были вынуждены оставить в лагере лишь часть своих сил и уйти сначала под Калязин, а затем к Александровской слободе. Пользуясь моментом, Скопину удалось прислать осенью на помощь

осажденным отряд в 900 человек под командованием Давида Жеребцова и затем в начале января 1610 года еще один, в 500 человек, под командованием Григория Валуева. Оба отряда действовали удачно, с малыми потерями прошли через лагерь тушинцев и вошли в монастырь. Обрадованный Скопин вновь послал своего человека к старцу Иринарху просить благословение: «И старец послал благословение князю и просфиру и повеле итти под Троицу: „Дерзай, князь Михайло, и не убойся! Бог ти поможет“»^[565].

Проход отрядов Жеребцова и Валуева помог уточнить дислокацию осаждавших и оценить, какими силами они располагали. Теперь Сапега и Лисовский оказались между двух огней, превратившись из осаждавших в осажденных: одновременный удар войска Скопина и воевод из монастыря по сильно поредевшему лагерю тушинцев, к которому уже давно был затруднен подвоз продовольствия, мог быть сокрушительным. Поэтому, не дожидаясь легко угадываемого развития событий, 12 января 1610 года польские гетманы отдали приказ об отходе от стен Троицкой обители.

Так, вопреки всем правилам воинской науки, немногочисленному, изнуренному болезнью и голодом гарнизону монастыря удалось в течение шестнадцати месяцев выдерживать осаду опытного, сильного, одержавшего не одну победу войска. Как известно, сражения выигрывают не только силой оружия, дух воинов имеет не меньшее, если не большее значение, что доказали защитники монастыря. Еще до начала осады вся монастырская братия искренне молилась своему единственному на тот момент заступнику: преподобному Сергию, чтобы помог он укрепиться духом и не оставить, не отдать на поругание и разграбление монастырь, где покоятся его святые мощи.

Все русские источники описали случаи многочисленных явлений преподобных старцев — Сергия и ученика его Никона — во время осады. Не только защитники, но и враги видели, как двое старцев ходили по стенам, один из них кадил, а другой окроплял святой водой монастырь. Поляки стреляли в старцев, но не смогли причинить им никакого вреда. После этого видения некоторые православные казаки ушли из войска, дав слово никогда больше не воевать с единоверцами, а один из них, усовестившись, перебежал в монастырь и рассказал о случившемся^[566].

Многие очевидцы и участники осады объясняли отход войска Сапеги от Троицы страхом тушинцев, рожденным чудесными явлениями: «Выходцы же и переезчики сказываху, отчево поиде Сапега от монастыря: видяху бо предивная чудеса».

Повторим, что явления эти наблюдали не в самом монастыре, а со стороны противника, о чем поведали перебежчики. В Святки, в ночь с 11 на 12 января, они видели, как из монастыря выехали три старца и поехали мимо лагеря сапежинцев, нисколько не скрываясь, по Московской дороге. Отправленные Сапегой в погоню казаки гнались за старцами почти до самой Москвы — «до Яузы от Москвы за пять верст». Но удивительное дело — ехавших на тощих клячах старцев резвые кони тушинских вояк догнать не смогли и, охваченные страхом такого необъяснимого явления, преследователи прекратили погоню. Вернувшись в лагерь, они захватили обоз и тотчас же, не мешкая, двинулись от монастыря к городу Дмитрову, никем не преследуемые, но «с великою ужасию»^[567], гонимые лишь страхом.

Фактически уход тушинцев из-под Троицы не только означал крах их затеи с захватом монастыря, но и ускорил поражение всего войска самозванца и конец Тушинского лагеря. Известия о стойкости защитников передавали друг другу по всей России, что неудивительно: монастырь явил в те тяжелые годы едва ли не единственный пример силы духа и стойкости, образец, которому нужно следовать, что для многих в то «шаточное» время было очень важно.

Когда противник без боя оставил Троицкий монастырь и ушел в Дмитров, Скопин привел к обители свое войско. Он объехал вдоль стен монастыря, осмотрел брошенный противником лагерь, места недавних боев, разрушенные кое-где обстрелом участки стен. Спешившись, вошел в монастырь и направился в Троицкий собор, где ему показали пробитые вражеским ядром кованые ворота храма и прочерченный след на иконе. Долго молился Михаил у мощей преподобного Сергия. Полководцу и войску предстояло последнее, самое трудное сражение — за Москву.

Конец Тушинского лагеря

Теперь, когда путь на Москву очистился, царь прислал на помощь Скопину опытных воевод: Ивана Семеновича Куракина и Бориса Михайловича Лыкова. Число начальников выросло, а вместе с тем появилось и желание воевод местничать. Пока Скопин был единственным командиром и все вопросы решал единолично, соблазна «потягаться» родством ни у кого не возникало, да и не с кем было. Теперь, когда дела пошли на лад и появились в войске большие воеводы, самое время было выяснять, кто кому должен подчиняться, — вновь завелась опасная болезнь, от которой главнокомандующий пока лекарства не нашел, хотя урон от нее был очевиден. Посланные Скопиным в Суздаль против ушедшего туда отряда Лисовского воеводы Борис Лыков и Яков Барятинский «задуrowали», Барятинский, вместо того чтобы, не тратя время, отправиться в город, бил челом государю «о местах»; в результате время упустили, и пришлось от Суздаля, где успел укрепиться Лисовский, отойти ни с чем. Скопин не скрывал своей досады от неудачной попытки освободить город, в котором находилась родовая усыпальница Скопиных-Шуйских.

Второй отряд под командованием Ивана Куракина, Семена Головина и Григория Валугева Скопин отправил в феврале под Дмитров, вдогонку за уходящим Сапегой. Скопин торопил воевод, потому что из показаний языков знал: большую часть своего войска Сапега отправил за Волгу добывать припасы, а сам гетман с небольшим отрядом остался под защитой городских укреплений.

Зима 1610 года выдалась снежной. В войске Скопина и Делагарди активно действовали отряды лыжников. На прикрепленных к обуви деревянных лыжах — «тонких, длиной в пять футов, шириной в один, загнутых спереди назад»^[568] — «бегуны» неслись за польскими фуражирами, неожиданно нападали на них, отбивали награбленное по деревням добро, захватывали пленных. Там, где по глубокому снегу не могли проехать тяжелая польская конница и казаки, лыжники проходили легко и стремительно, представляя собой что-то вроде отрядов быстрого реагирования. Особенно успешно действовали они в ту зиму под Троицей, Дмитровом, Александровской слободой и соседними с ними городами.

Вдохновленные присутствием самого Скопина, прибывшего под Дмитров, его войска действовали более успешно, чем под Суздалем:

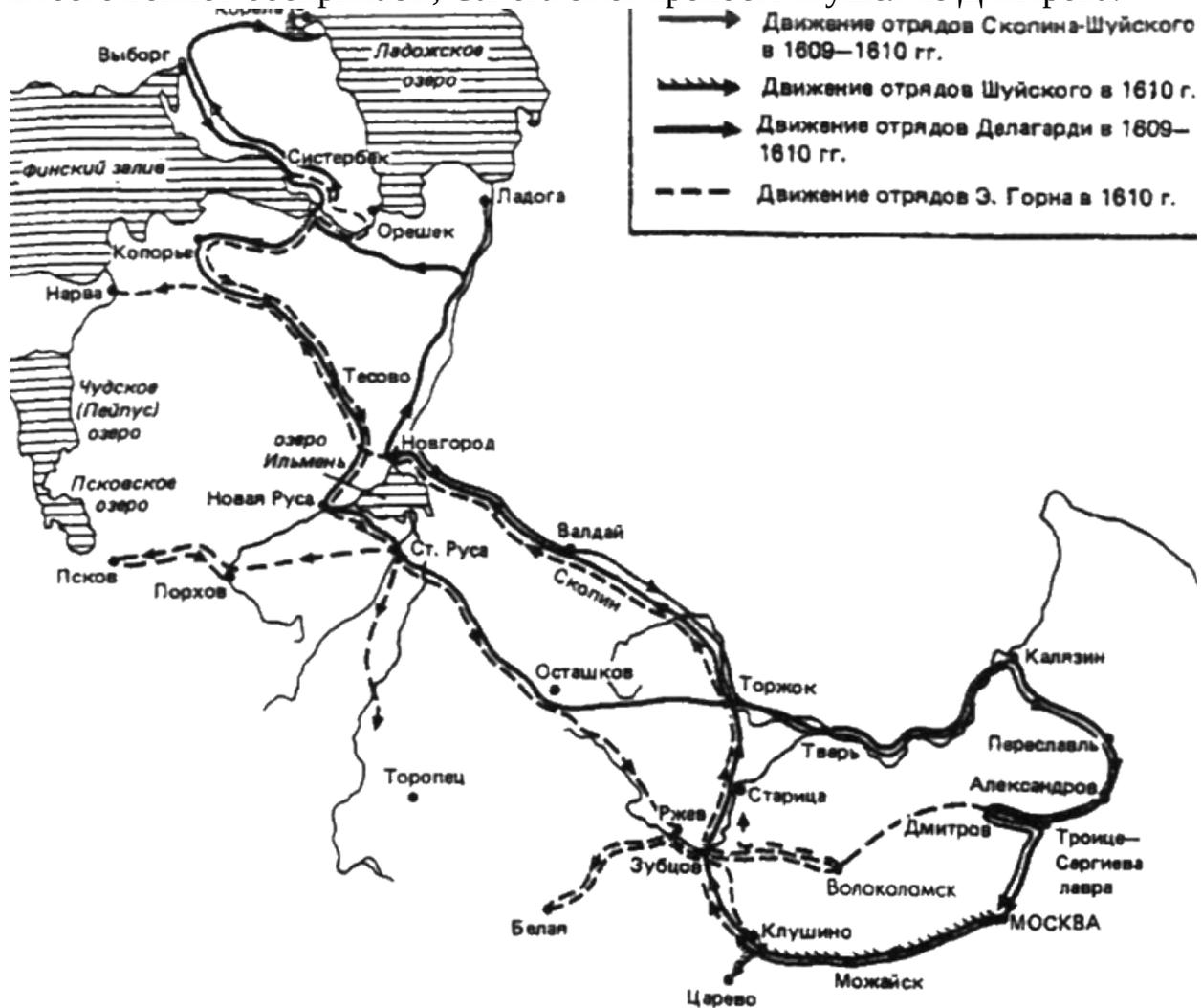
«Сапегу из Дмитрова выбили и многих у него людей побили»^[569]. Вышедший из города навстречу противнику Сапега такого натиска не ожидал, сражение проиграл и был вынужден отступить назад в крепость. И если бы три сотни донских казаков не прикрыли его отход огнем, то, возможно, и самого Сапегу, и крепость захватили бы с ходу. В это время в Дмитрове находилась «царица Марина», оставшаяся не у дел после бегства самозванца из Тушинского лагеря в Калугу. Когда она увидела, как вяло приступили поляки к обороне, то решительно бросилась к городскому валу со словами: «Что вы делаете, злодеи, я — женщина, и то не испугалась!» Так, благодаря ее мужеству, как считали польские воины, они «успешно защитили и крепость, и самих себя»^[570].

Третий отряд Скопин отправил в волжские города Старицу и Ржев, которые и были успешно освобождены от засевших там остатков тушинских войск. Под городом Белая русские воеводы столкнулись с неприятным для них явлением — немногочисленные оставшиеся в войске наемники Деллагарди, устав защищать интересы царя Шуйского, решили попробовать счастья на стороне противника: «немцы француженя почали изменять, отъезждяти к литве»^[571]. Это был тревожный сигнал, заставивший Скопина принять должные меры и полагаться в основном на свои войска — «московскую конницу», как писал Н. Мархоцкий. В начале марта 1610 года польские войска сдали город Можайск и отошли к Смоленску.

К этому времени в Тушинском лагере возникли серьезные разногласия, порожденные начавшимся еще осенью походом короля Сигизмунда на Россию: одни поляки стояли за продолжение службы «царю Димитрию», другие считали своим долгом присоединиться к войску польского короля. Первых было большинство. «Что же теперь, — говорили они, — идти на службу к кому-нибудь другому? Каким духом принесло короля на наше кровавое дело?»^[572] Более всего эта часть Тушинского лагеря боялась потерять обещанные самозванцем деньги: если король победит «Димитрия», то вряд ли он заплатит им за службу в предыдущие два года. Но и сторонники короля также сомневались, что в войске Сигизмунда они сумеют получить такие же высокие звания и должности, как в тушинском войске. Пока тушинцы спорили между собой, ездили к королю для выяснения его предложений по службе, «царь» тем временем успел сбежать из Тушина в Калугу, что серьезно осложнило положение его сторонников.

Такой очевидный разлад в лагере самозванца не мог не сказаться на

состоянии войска. Это красноречиво продемонстрировал эпизод, о котором рассказал Николай Мархоцкий. Когда Скопин большую часть своих людей увел из-под Дмитрова в Троицкий монастырь, то небольшой его отряд остался сторожить Сапегу, «обнеся свой обоз снежными валами». Так и не дождавшись возвращения своих посланных за провиантом людей, запертый в Дмитрове Сапега запросил помощи у своего соперника — гетмана Ружинского. Однако, как пишет служивший у Ружинского Мархоцкий, желающих идти на выручку своих не нашлось: «Кому мы ни предлагали, каждый отговаривался, ни один идти не хотел». В конце концов, пошел сам Мархоцкий и с ним 20 человек охотников, не считая двадцати донских казаков, которые сопровождали порох и пули в двух саях^[573]. Получив вместо воинов боеприпасы, Сапега сжег крепость и ушел из Дмитрова.



Военные действия в 1609–1610 годах

В первых числах марта 1610 года, после двухлетнего «сидения» под Москвой, войско самозванца, так и не сумев захватить столицу, оставило наконец свой лагерь в Тушине и ушло в сторону Иосифо-Волоцкого монастыря. Там тушинцы разделились: одни последовали за самозванцем в Калугу, другие отправились под Смоленск к королю Сигизмунду III, а третьи, видя успехи войска князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, переметнулись на сторону царя Василия Ивановича.

12 марта 1610 года войско Скопина-Шуйского без боя вошло в Москву.

Последний пир воеводы Скопина

Шли последние недели Великого поста, заканчивалась, уходила вместе с таявшим снегом длинная и такая тревожная зима 1610 года. «Русский человек без радуги не живет», — подметил уральский сказитель Павел Бажов. Да и как без нее, без радуги-то жить? Двухлетняя осадная жизнь москвичей — в голоде, холоде и постоянном страхе от стоявшего в двух шагах от Москвы тушинского царька, — похоже, завершалась. О неоднократных попытках самозванца захватить Москву напоминали стены сожженного деревянного города, мимо которого проезжал Скопин, и разграбленное казаками-тушинцами Красное село. «Неужели все позади? — с надеждой вопрошали сами себя москвичи. — И самозванцы, и бунты, и разбойники на московских дорогах, а главное, — всеобщее колебание и неустройство? Неужели преодолели Смуту?»

К несчастью, Смута родилась не в одном сложно переплетенном клубке социальных, политических и экономических причин; гнездилась она и в необузданно эгоистических устремлениях людей, в известных еще со времен Каина и Авеля пороках под названием: зависть и вражда. Как ни призывал преподобный Сергей Радонежский всех русских людей к единению — верному и единственному средству борьбы с внешней опасностью, — но тяжело воспринимал народ этот призыв. Искоренить вражду между своими оказалось не под силу даже такому талантливому и удачливому полководцу, как Скопин, — перед ней он оказался бессилён.

Практически все иностранные авторы мемуаров и русские летописцы оказались единодушны в определении причин разногласий, случившихся между братьями Шуйскими и Скопиным-Шуйским: зависть к воинской славе Скопина, усилившаяся в дни торжественной встречи народом своего любимого полководца. Не ожидали Шуйские такого мощного всплеска проявления народной благодарности к их родственнику, так быстро и внезапно пошедшему в гору.

Когда Скопин во главе войска въезжал в город, царский брат Дмитрий Шуйский, наблюдая триумфальное шествие, как рассказывали, не сдержался, выкрикнул, одолеваемый злобой: «Вот идет мой соперник!» Его слова услышали многие, стоявшие рядом, особенно они стали памятны уже после внезапной смерти молодого воеводы. Не раз, вспоминали потом очевидцы этой сцены, честолюбивый Дмитрий высказывал царю, не стесняясь присутствующих, свои нелепые и нелестные домыслы о

Михаиле^[574]. Видимо, и сама идея отправить Скопина в Новгород договариваться с наемниками, а потом и воевать вместе с ними, также принадлежала Дмитрию. Но дело обернулось иначе — Скопин не погиб, как, наверное, рассчитывал его родственник, не опозорил себя бегством с поля боя, в чем преуспел неудачливый и трусливый брат царя, а смог не только нанять наемников, но и использовать их умения и опыт для блага своей страны, и главное — добиться победы.

Победителей, как известно, не судят. Наверное, царский брат не знал этой мудрости, потому что едва Скопин оказался в Москве, как тут же был вызван к царю для объяснений. Не скрывавший ненависти к Скопину Дмитрий Шуйский припомнил ему отпущенных восвояси посланников Прокофия Ляпунова и обвинил молодого воеводу в попытке занять престол. Он даже приписал Михаилу самовольную раздачу русских земель наемникам в качестве награды за их усердие. Когда Дмитрий дошел в своих обвинениях до крайностей, царь остановил брата и даже, по слухам, ударил его своим посохом.

Военное дело приучает к решительности, а победы и почести народные утверждают полководца в правоте его действий. Скопин спокойно выслушал Дмитрия, которого своим соперником никогда не считал, и напомнил, что все договоры, где упоминалось о передаче шведскому королю русских земель, он направлял в Москву на царское утверждение и ни одной грамоты по собственной инициативе не подписал. Посланцев из Рязани он действительно отпустил — было дело, пожалел, — но престола таким недостойным способом никогда не искал, «и в уме не было». Но если сейчас, когда в руках врагов еще остаются русские города, а польский король стоит со своим войском под стенами Смоленска, начать сеять рознь между собой, тогда, действительно, недолго осталось жить Русскому государству, и лучше царю Василию добровольно отдать кому-нибудь другому царский венец^[575].

Эти с достоинством произнесенные слова одновременно и обрадовали царя, и заставили поволноваться, — уж очень самоуверенно вел себя молодой воевода, видно, что давно не был в Кремле, привык все решения там, вдали от Москвы, принимать самостоятельно. Ничего, нужно будет поскорее отправить его в смоленский поход и дать ему проверенных воевод в войско, чтобы присматривали за ним.

Народное признание и одержанные победы могли не только придать Скопину уверенности в словах, но и голову вскружить молодому воеводе. А самоуверенность породила дерзкий тон в разговоре с царем и тем ускорила

развитие событий. К слову, в песнях, посвященных Скопину, его «головокружение от успехов», которое приводит в конце концов к гибели воеводы, нашло свое место:

...Сильный хвастает силою,
Богатой хвастает богатством;
Скопин-князь Михайла Васильевич,
А и не пил он зелена вина,
Только одно пиво пил и сладкий мед,
Не с большего хмелю он похваляется:
«А вы глупой народ, неразумные!
А вы все похваляетесь безделицей;
Я, Скопин Михайла Васильевич,
Могу, князь, похвалится,
Что очистил царство Московское
И велико государство Российское;
Еще ли мне славу поют до веку,
От старого до малого,
А от малого до веку моего!»^[576]

Слухи о нелিপеприятном разговоре, состоявшемся в царском дворце, быстро облетели Москву. Якоб Делагарди настоятельно советовал Скопину как можно быстрее идти под Смоленск; ходили разговоры, что царь собирается отправить туда и своего брата, неумелого и трусливого. Радости воевать рядом с ним шведский военачальник не испытывал, поэтому по-дружески советовал Скопину уходить из Москвы: «Яков ему Пунтусов говорил беспрестани, чтоб он шол с Москвы, видя на него на Москве ненависть»^[577]. Делагарди был хитер и опытен, он быстрее Скопина разглядел угрожающую тому опасность и пытался ее предотвратить. К тому же доверенные люди не раз сообщали генералу, что среди недовольных царем Василием сложился верный кружок сторонников королевича Владислава, к которому уже отправили посольство. Этим людям поход Скопина на Смоленск сейчас был совершенно не нужен, поэтому, как опасался Делагарди, от молодого и талантливового полкововдца постараются как можно быстрее избавиться.

Царь между тем чествовал победителей, воздавал по заслугам: Михаилу Скопину был пожалован палаш в золотых ножнах, украшенный

драгоценными камнями, 18 марта в Грановитой палате был дан обед в честь «воеводы Карлуса короля свисково Якова Пунтусова». На Пасху, 8 апреля, царь пожаловал Семена Головина в окольные, всем наемникам заплатил сполна жалованье деньгами и мехами, офицеров войска Делагарди «почтил по случаю прибытия золотой и серебряной посудой из своей казны»^[578]. После пира в знак особой милости царь присылал Делагарди в дом блюда и вина со своего царского стола.

Михаил в это время радовался редкой возможности побыть с женой и матерью, которых не видел уже полтора года, встречался с друзьями и родными: скоро предстоял поход на Смоленск, и неизвестно, сколько он продлится. Когда наступили Пасхальные дни, с удовольствием принимал приглашения прийти в гости. Всем хотелось послушать из первых уст, как была освобождена Троицкая обитель, что в действительности произошло под Тверью и почему так долго стояли войска в Калязине. Но более других всех занимал вопрос: что будет дальше? Неужели Сигизмунд и впрямь может взять Смоленск: говорят, в его войске много и запорожских казаков, и опытных наемников, да и сами поляки вояки хоть куда, — что думает об этом Скопин? А самозванец — правду ли он убит «литовскими людьми» (о чем говорили тогда в Москве)^[579] или опять спасся и новое войско набирает? А «люторанка Маринка»? Не хочет ли она еще раз сесть на царство? Воевода и сам задавал себе эти вопросы, да вот только ответы не на все знал.

Рассказывал Скопин близким людям и о старце Иринархе, его благословении идти на штурм Троицкого монастыря. Когда же приехал из Борисоглебского монастыря в Москву ученик старца Александр, Скопин передал поклон старцу, подарки и вернул простой медный крест, которым Иринарх благословлял его на битву. А старец, приняв тот крест, долго молился в своей келье о князе Михаиле: «...Аки в Иерусалиме при благоверном царе Константине на сопостаты, тако и ныне, Господи, Твоею милостию невидимою прогнани бысть литва от лица православных христиан. Ты же, Господи, во веки сохраняевши нас. Аминь»^[580].

Отблагодарил Михаил и братию Соловецкого монастыря за оказанную ими молитвенную и денежную помощь войску во время похода к Москве. Как когда-то его отец отправил в монастырь водосвятную чашу, едва избежав смерти от рук Годунова, так и Михаил отправил в обитель свой парадный придворный кафтан, сшитый из дорогого, привезенного из Италии «золотного аксамиченного бархата»^[581]. В этом кафтане с высоким, шитым жемчугом воротником Михайло красовался на царской свадьбе.

Темно-красным шелком и золотыми нитями были искусно вышиты двуглавые орлы, единороги, птицы с расправленными для полета крыльями, похожие на его родовую скопу, — какого только узорочья там не было! Молодой воевода очень любил этот нарядный, стоивший немалых денег кафтан, потому и отдал, не задумываясь, вкладом в монастырь, где рукодельные трудницы сшили из него облачение для священников монастыря.

В те дни особенно всем хотелось видеть знаменитого воеводу крестным отцом своих младенцев, — от таких предложений не было отбоя. Принял Скопин приглашение и Ивана Воротынского быть восприемником его новорожденного сына. Кумой Воротынские выбрали жену Дмитрия Шуйского — княгиню Екатерину, в девичестве Бельскую, отец которой Григорий Лукьянович был более известен как Малюта Скуратов. Встречаться с семейством Шуйских Скопин не хотел, но и отказать Воротынскому не мог.

Мать уговаривала его не ездить туда, где будут Шуйские, она еще с Александровской слободы просила сына поостеречься, говорила ему: «лихи в Москве звери лютые, а пышат ядом змииным»^[582]. Михаил только посмеивался над ее страхами: кто на него, такого детину, руку поднимет? Но на пиру все же решил не задерживаться, чтобы не столкнуться с Дмитрием. Поэтому едва лишь гости расселись за столы, помолвившись, принялись неспешно есть и пить, зазвучали речи, — Скопин засобирался домой. В этот момент хозяин дома произнес заздравную речь князю Михаилу, а княгиня Екатерина подошла к Скопину с чашей. Не хотел Михаил ничего принимать из рук дочери Малюты, но по обычаю нужно было выпить чашу до дна — показав, что он доверяет и Екатерине, подносившей чашу, и хозяину дома Воротынскому.

Сразу после пира Скопин занемог — едва успел добраться до своего дома, как «очи у него возмутились, а лице у него страшно кровью знаменуется, а власы у него на главе стоя колеблются». Страдавшего непонятным недугом, при котором «утробе люто терзатися», молодого человека осмотрели присланные Деллагарди «доктуры немецкие», однако поделаться ничего не смогли.

Муки умиравшего, крепкого, недюжей силы 23-летнего мужчины, были ужасны: «он же на ложе своем в тосках мечющесь и биющесь и стонуцу и кричаще лютее зело, аки зверь под землею». Промучившись несколько дней, исповедавшись и причастившись, как и подобает христианину, 23 апреля, в день памяти великомученика Георгия, Михаил

Скопин отошел к Богу. Носивший имя предводителя воинства Архистратига Михаила, он и в мир иной ушел в день памяти другого святого воина — Победоносца Георгия. Печаль народная о нем была велика: «скорбела вся Москва», — как записал один из иностранцев.

В исторической литературе существует множество версий произошедшего. Суть споров сводится к двум вопросам: действительно ли Скопин был отравлен или скончался естественной смертью? И если смерть была насильственной, то кто его отравитель?^[583]

На первый вопрос сегодня можно ответить однозначно: Скопин действительно был отравлен. Комбинированный яд, содержащий соли ртути и мышьяка, исследователи обнаружили в останках воеводы: солей ртути оказалось в 10 раз больше признанного естественным фоном, превышали допустимую норму и соединения мышьяка; другие вредные вещества — свинец, сурьма, медь — отсутствовали. «Но и первых двух более чем достаточно, чтобы сгубить даже такого молодого, хорошо тренированного воина, каким Михаил Васильевич, несомненно, был», — пишет исследовательница^[584]. Да и сама картина его смертных мучений в сопоставлении с описанием симптомов отравления солями ртути и мышьяком подтверждает эту версию^[585].

Что же касается второго вопроса, то здесь ответить определенно трудно. Русские летописцы не сомневались, что отравителями Скопина стали братья Шуйские: «Тогда грех ради наших в Московском государстве бысть раздор в людех, царя Василия возненавидеша за многое кровопролитие, второе же, братия его племянника своего возненавидеша за храбрость его, князя Михаила Скопина, иже немец наят и отгна вора с литвою от царствующаго града, и вманив его к Москве отравною умориша», — пишет один из авторов^[586]. «Мнози же на Москве говоряху то, что испортила ево тетка ево княгиня Катерина князь Дмитреева Шуйскова, — вторит ему другой летописец. — А подлинно то единому Богу <известно>»^[587], — заключает он мудро.

Задумаемся, насколько основательны были обвинения царя Василия в смерти Скопина. Даже если предположить, что доверие к доносчикам у царя Василия было действительно безгранично, то не мог же он не видеть, что Скопин, удачно выполнивший все возложенные на него задачи, — по сути, его единственная надежда? Об этом Шуйский и сам в письмах Скопину не раз писал: «Мы на тебя надежны, как на свою душу». Конечно, родовитый, богатый, молодой и, как бы мы сегодня сказали, перспективный

Скопин мог, при желании, стать соперником царя. Но не доказал ли он своим поступком в Александровской слободе, как и всей своей предыдущей жизнью, что он привык к открытой борьбе с противником на поле боя, а интриги и доносы — не его стихия? Не случайно летописец, не одобрявший действий Прокофия Ляпунова, полностью отрицает вину Скопина, у которого «и в уме не было» бороться за престол. К тому же предстоял поход на Смоленск, и план похода, как и скорейшего доведения войны до конца, царь также поручал разрабатывать Скопину^[588]. Для царя готовить смерть своему талантливому воеводе — все равно, что бездумно рубить курицу, несущую золотые яйца.

Многие современники событий называли отравительницей князя дочь Малюты Скуратова, которая, по отзывам, была властолюбива и жестока не меньше своей родной сестры Марии, жены Бориса Годунова. Стремление расчистить дорогу к трону для своего мужа вполне могло стать мотивом преступления. Автор «Повести о преставлении и погребении князя Михаила Васильевича» прямо назвал ее виновницей преступления: «...и дьявольским омрачением злодеяница та... кума подкрестная, подносила чару пития куму подкрестному и била челом... И в той чаре — питие уготовано лютое, питие смертное»^[589]. Косвенным доказательством этой версии могут стать события, происшедшие уже после смерти Скопина: Дмитрий Шуйский попытается занять его место — поедет первым воеводой против Сигизмунда и потерпит сокрушительное поражение под Клушином. Палаш Скопина, который после смерти воеводы возьмет себе Иван Шуйский, не принесет братьям победы — в итоге они оба окажутся вместе с царем в позорном польском плену.

Существует еще одна версия случившегося, связанная с готовящимся походом под Смоленск. В песне о Скопине, написанной современниками событий, мысль отравить князя принадлежит неким боярам, которые и были инициаторами отравления:

В тот час они дело сделали:
Поддержнули зелья лютого,
Подсыпали в стакан, в меды сладкие,
Подавали куме его крестовой^[590].

Катерина Шуйская в этой версии — всего лишь орудие в их руках:

Она зная, кума его крестовья,
Подносила стакан меду сладкого
Скопину-князю Михаилу Васильевичу.
Примает Скопин, не отпирается,
Он выпил стакан меду сладкого,
А сам говорил таково слово,
Услышал во утробе неловко добре:
«А и ты съела меня, кума крестовая,
Малютина дочь Скурлатова!
А зазнаючи мне со зельем стакан подала,
Съела ты мене, змея подколодная!»

В исторической песне важна не фактическая канва событий, ею в народной традиции часто пренебрегают. Но не в угоду поэтической вольности или из неосведомленности авторов — как раз нет, ошибки и неточности здесь есть попытка домыслить, дополнить историческую реальность, представить ее такой, какой она должна быть. Если Малюта Скуратов — опричный палач — погибает в бою во время Ливонской войны, то в народной песне его казнят за попытку совершить очередное злодеяние; Михаил Кутузов умирает вскоре после изгнания Наполеона за пределы России, а в народной песне он принимает участие в разгроме армии Наполеона. То есть биография исторического персонажа, предстающая в народном сознании, позволяет выявить главное, суть происшедшего в жизни героя, стержень событий^[591].

То, что Екатерина Шуйская могла быть не инициатором, а всего лишь исполнителем замысла неких бояр, подтверждает и «Повесть о преставлении». «И по совету злых изменников своих и советников мысляше во уме своем злую мысль изменную», — говорит автор.

Но кто же были эти бояре? Те, кому больше всех мешал Скопин, — желавшие видеть в Кремле королевича Владислава или Сигизмунда, а не Василия Шуйского, те, кто насильно свел царя Василия с престола и отправил его в качестве пленника в Польшу, те, чье правление войдет в историю под названием Семибоярщины:

А съезжались князи бояря супротиво к ним,
Мстиславской-князь, Воротынской,
И между собою они слово говорили,
А говорили слово, усмехались:

«Высоко сокол поднялся
И о сыру матеру землю ушибся!»

Так народная песня представила еще одну, возможно, ближе всего стоявшую к истине, версию случившегося в апреле 1610 года в Москве.

Оплакивание Скопина, еще так недавно проезжавшего полководцем-триумфатором по московским улицам, было поистине всенародным. По словам автора «Повести о преставлении» к его дому собрались и юноши, и девы, и старики с молодыми, и матери с грудными младенцами — «со слезами и с великим рыданием»; съезжались и власть имущие, и вдовицы, и нищие, и богатые вельможи. Приходили и царь Василий с братьями, и патриарх Гермоген, и священство, — «и не бе места вместитися от народного множества».

Пришли проститься и воевавшие вместе с ним воеводы и ратники, хорошо его знавшие. В их словах слышна не только скорбь по боевому товарищу, но и искреннее сожаление об утрате замечательного полководца, кто «грозно, и предивно, и хоробро полки уряжал». Примечательно, как обращаются они к Скопину: «О господине! Не токмо, не токмо, но и государь наш, князь Михайло Васильевич!» — в войске действительно видели его будущим государем.

Приходил прощаться со Скопиным и Якоб Делагарди, которого некие «московские вельможи» не хотели пускать в дом. Главнокомандующего шведскими войсками, не раз усмирявшего бунтующих наемников, привыкшего обнажать меч чаще, чем произносить речи, остановить было не так-то просто: с «грубными словесы» он конечно же прошел туда, куда устремлялся, — проститься со своим боевым товарищем. Выходя из дома Скопина, он дал покойному самую высокую в его устах оценку: «Такого государя не найти больше не только в вашей, московской земле, но даже и в нашей, немецкой!»

Когда же послали на торг за гробом для усопшего, то оказалось, что найти дубовую колоду — гроб — по росту Скопина невозможно, так велик ростом был воевода. Пришлось выдолбить с двух концов самую большую колоду, положить в нее тело и нести в церковь на отпевание. Когда же привезли «гроб каменей велик», то и в него тело не вместились, «понеже велик бе возрастом телес своих», как заметил автор «Повести», — по речению пророка Давида, «больше сыновей человеческих».

Погрести боярина Михаила Васильевича в родовой усыпальнице Шуйских и Скопиных было в то время нельзя: в Суздале хозяйничали

отряды Лисовского, поэтому было решено до времени освобождения города положить тело покойного воеводы в Чудовом монастыре Кремля. Но московский народ, сумев отблагодарить Скопина при жизни, воздал ему должное и по смерти: «И слышавше народное множество, что хотят тело его в Чудов монастырь положить, и возопиша всенародное множество, яко единими усты: „Подобает убо такового мужа, воина и воеводу, и на супротивныя одолителя, яко да в соборной церкви у Архангела Михаила положен будет и гробом причтен царским и великих князей великие ради его храбрости и одоления на враги...“» ^[592].

«Глас народа — глас Божий», — рассудил царь и объявил: «Достоинно и праведно сице сотворити», и народ понес своего любимца в Архангельский собор. Оплакивали воеводу и богатые, и нищие, и хромые, и слепые, и безногие, и царь, и патриарх — «аще у ково и каменно сердце, но и той на жалость розлиется, зря своего народа плачущесе», — заключает автор «Повести». Горе матери и вдовы князя Михаила и вовсе нельзя описать словами, слуги едва смогли привести их домой, но и там они «плакахуся горце и захлебающе, стонуще и слезами своими стол уливая», а слезы их, как речные струи, на пол со скамьи лились...

На следующий день к погребению воеводы пришло «всенародное множество». От плача по умершему не слышно было голосов поющих во время отпевания. С кем только из библейских полководцев не сравнивали Скопина: с Иисусом Навином, Гедеоном, Вараком, Самсоном — победителем иноплеменников: уехал с малыми силами, а вернулся со многими, с Давидом, отомстившим врагам, с Иудой Маккавейским. А кто-то из слуг князя пророчески заметил, что такому телу не суждено в земле истлеть: «Вем бо его телесную чистоту, купно же и духовную».

На плите у гробницы начертали следующие слова: «Великого государя царя и великого князя Василия Ивановича всея Руси племянник Михайло Васильевич Шуйский Скопин по государеву указу, а по своему храброму разуму Божея помощию над враги польскими и литовскими людьми и рускими изменники, которые хотели разорить государство Московское и веру христианскую попрасть, явно показав преславную победу и прииде к Москве, Божиим судом в болезни преставися лета 7118 апреля в 23 день на память великомученика Георгия последний час дни» ^[593].

Так народ оплакивал потерю талантливого полководца и свою собственную надежду на быстрое завершение Смуты. Оплакивал своего военачальника и царь. Как сказал о нем Н. М. Карамзин: «Василий погребал вместе с ним свое Державство» ^[594]. Московское государство

вступало в самую тяжелую пору Смутного времени, названную современниками *Лихолетьем*...

ПОСЛЕСЛОВИЕ

После смерти Скопина главнокомандующим в армию был назначен брат царя Дмитрий Шуйский. 24 июня 1610 года у деревни Клушино, недалеко от Гжатска, с таким трудом собранное, обученное и завоевавшее не одну победу войско было разбито польской армией под командованием гетмана Станислава Жолкевского. Командующий царским войском бежал с поля боя первым, бросив войско, знамена, обоз, даже свою саблю, едва не утонул в болоте, потерял там своего коня и босой, на крестьянской кобыле появился в Можайске.

Большая часть войска Делагарди во время сражения перешла на сторону поляков: «не бившеся, шляпами своими замахавшее, к полским людем поидоша»^[595]. Самого шведского военачальника наемники, не получившие сполна обещанного жалованья до битвы, едва не убили. Все у Дмитрия Шуйского было, как у Скопина, — то же войско, те же наемники во главе с теми же военачальниками, даже излюбленные приемы Скопина, его тактический почерк — строительство острожков — царский брат попытался применить, — не было главного: Божьей помощи и воинской доблести. Видно, не по силам оказался для братьев Шуйских палаш Скопина.

Вслед за поражением на поле боя братья Шуйские лишились и власти. 17 июля 1610 года царь Василий был низведен с престола, насильно вместе с женой пострижен и заточен в Пудовом монастыре, а затем с братьями отправлен московскими заговорщиками подальше от России — в Польшу. Там на сейме в Варшаве Рюриковичи претерпели небывалый для русских царей позор — вымаливая жизнь у короля Сигизмунда III, они в присутствии польской шляхты кланялись до земли и униженно целовали руку польскому королю. Но от смерти это их все равно не спасло: спустя всего два года, в 1612 году, 12 сентября скончался Василий Шуйский, через три дня, вслед за ним, умерла его невестка — Екатерина Шуйская и спустя еще два дня — его брат Дмитрий Шуйский^[596]. Такая почти одновременная их кончина породила множество толков и в Польше, и в России; все усиленно говорили об отравлении царственных пленников. Младший брат царя Иван, по прозвищу Пуговка, остался жив и вернулся в 1620 году на родину; перед смертью он передал наградной палаш Скопина князю С. В. Прозоровскому, который отдал его вкладом в Соловецкий монастырь.

Польша праздновала свой триумф, сравнивая покорение Московии с завоеванием испанцами Американского континента: «Московиты, может быть, лучше вооружены, но вряд ли храбрее индейцев». А в Английском государственном совете в 1612 году строили планы подчинения севера России, поскольку ее население вынуждено «предаться в руки какого-либо государя, который будет его защищать, подчинится правлению иностранца, так как в его собственной среде не осталось человека, способного принять это дело на себя»^[597].

Патриарх Гермоген активно препятствовал низложению царя Василия Шуйского и подписанию присяги королевичу Владиславу, отказался признать передачу Смоленска Польше. За поддержку собираемого по всей стране ополчения он был заточен поляками в Чудов монастырь, где умер мученически голодной смертью 17 февраля 1612 года, не дожив до дня освобождения Москвы. По его благословию Казанскую икону Божией Матери перенесли из Казани в полки ополчения, и она вошла вместе с воинством в Москву. В 1913 году патриарх Гермоген был причислен к лику святых.

Затворник Иринарх благословил князя Пожарского на московский поход, увидел освобождение Москвы и окончание Смуты. Узнал он также о том, что сбылось его предсказание гибели польским гетманам, если они не покинут Россию: Ян Петр Сапега умер в Москве от болезни в 1611 году, Александр Лисовский упал с лошади и скончался в 1616 году, в день памяти преподобного Сергия Радонежского, обитель которого гетман так долго осаждал. 13 января 1616 года на 68-м году жизни затворник Иринарх преставился и в том же году был прославлен в лике святых.

Прокофий Ляпунов попытался мстить за смерть Скопина, вошел в число заговорщиков, которые низвели царя Василия с престола. В 1610–1611 годах он принял участие в организации первого ополчения против поляков, стал одним из его руководителей. В апреле 1611 года он вместе с полками удачно заблокировал польскую армию в Москве, но погиб в результате интриги Заруцкого от казацкой сабли.

Якоб Делагарди после сражения под Клушином с остатками своей армии ушел на север, захватил в 1611 году Корелу, Новгород и оставался там с войском до 1617 года. После заключения Столбовского мира вернулся на родину, был шведским наместником в Ревеле, затем генерал-губернатором Лифляндии, а с 1632 года — одним из регентов королевы Швеции Кристины. Умер в богатстве и славе в 1652 году.

Семен Головин был отправлен царем в 1613 году с «судовой ратью» в

Астрахань, в 1614 году его назначали вторым воеводой в Ярославль, детей после себя не оставил и скончался в 1634 году.

Мать Михаила Скопина Алена Петровна пережила сына на 20 лет и скончалась 19 июля 1631 года. Она приняла постриг с именем Анисья и была погребена вместе с другими Татевыми в Троице-Сергиевой лавре^[598]. Жена Александра сразу же после смерти мужа приняла постриг с именем Анастасия, вместе со свекровью была насельницей Покровского Суздальского монастыря^[599], скончалась в 1619 году.

И все же дело Скопина было продолжено, строитель земского войска — по сути первого ополчения в самый тяжелый момент Смуты — не был забыт. Князь Дмитрий Пожарский в 1611 году вместе с Кузьмой Мининым возглавил новое ополчение против польских интервентов, отказался от услуг наемников и 26 ноября 1612 года освободил Москву. А Михаил Скопин-Шуйский вместо царского венца получил всенародную любовь при жизни и уважение потомков после смерти.

...Время жесткой рукой накладывает свой отпечаток на предметы, сделанные рукой человека, и на самих людей. Вглядываясь в любимые нами лица, мы замечаем и появившиеся лучинки морщин вокруг глаз, и изморозь седины, и грусть во взгляде — неумолимое время не красит, но, оставляя свой след, оно явственно напоминает о пережитом, придает новый облик человеку и тем делает его для нас ближе и роднее.

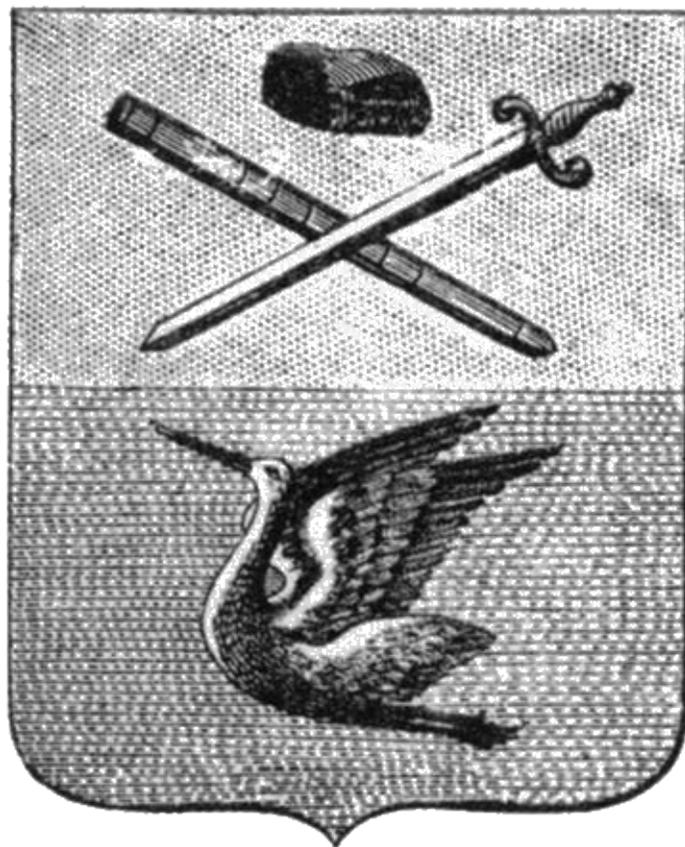
Подчас и в истории происходят подобные метаморфозы: случившиеся столетия назад события неожиданно приближаются к нам и лучше объясняют происходящее сегодня, а жившие давным-давно люди поразительным образом приходятся ко времени, их поступки и сказанные ими слова точны и уместны, будто произнесены сейчас.

Нам еще предстоит разглядеть и оценить заслуги Михаила Скопина-Шуйского по достоинству и понять удивительную современность происшедшего в начале XVII столетия в России.

ИЛЛЮСТРАЦИИ



Чаша водосвятная. Вклад князя Василия Федоровича Скопина-Шуйского в Соловецкий монастырь. XVI в.



Герб города Скопина Рязанской губернии



Стефан Баторий под Псковом. Ян Матейко. 1872 г.



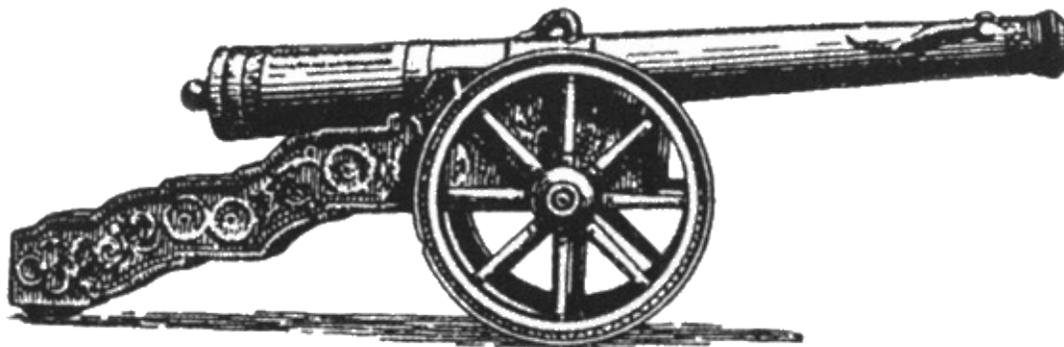
Понтус Делагарди. Неизвестный художник. XVII в.



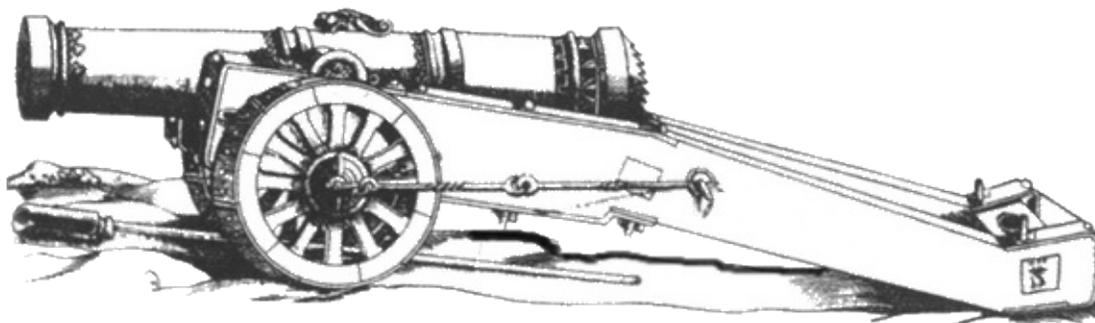
Ивангород. Современное фото



Стрельцы. Рисунки из книги А. В. Висковатова «Историческое описание одежды и вооружения российских войск». 1899 г.



Русская пицаль «Скоропея». 1590 г.



Немецкая пушка «Шарфмеце» («Злая девка»)



Царь Василий Иванович Шуйский. Портрет XVIII в.



Осада Москвы Болотниковым. Фрагмент карты Исаака Массы. Около 1607 г.



*Святейший Гермоген (Ермоген), патриарх Московский и всея Руси.
Икона. 1913 г.*



Приказ в Москве. А. С. Янов. XIX в.



Князь М. В. Скопин-Шуйский. Фрагмент памятника «Тысячелетие России» в Новгороде. М. О. Микешин



Якоб Делагарди. Неизвестный художник. 1606 г.



Князь Михаил Скопин-Шуйский встречается со шведским воеводой Якобом Делагарди близ Новгорода (1609 год). Рисунок Р. Штейна



Оборона Троице-Сергиевой лавры. С. Д. Милорадович. 1894 г.



Тверь. Гравюра по рисунку Н. Витсена. XVII в.



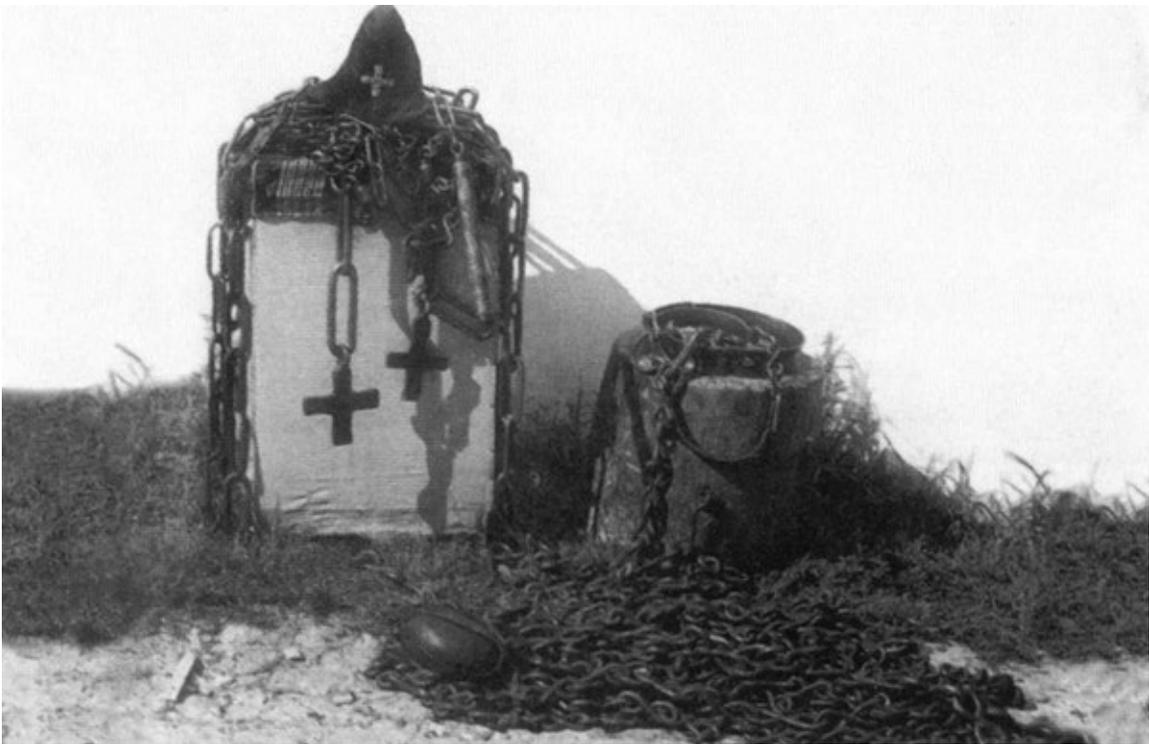
*Русская поместная конница XVI века. Рисунок из книги С.
Герберштейна*



Калязин. Современное фото



Келья затворника Иринарха в Борисоглебском монастыре. Современное фото



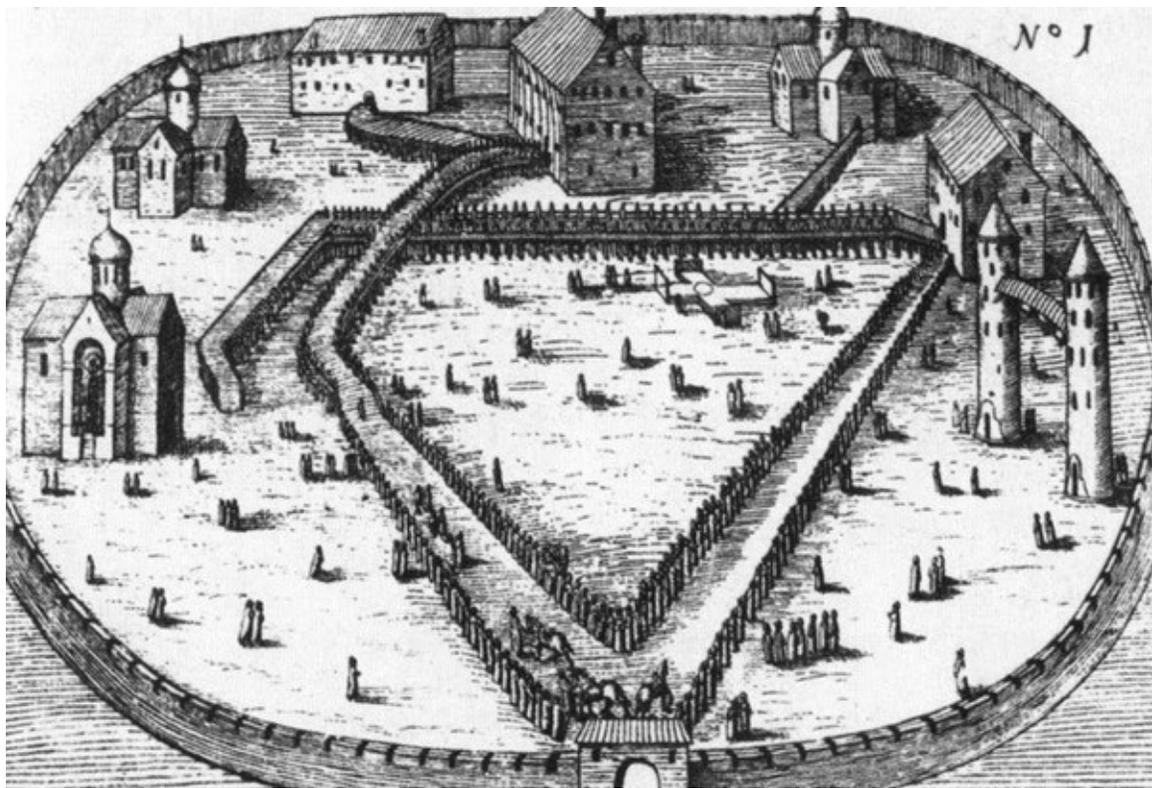
Железные вериги Иринарха Затворника и чудотворный крест, которым преподобный, по преданию, благословил М. В. Скопина-Шуйского и позднее Минина и Пожарского



Затворник Иринарх. Современная икона



Ростовский Борисоглебский монастырь. Современное фото



*Александровская слобода в XVI веке. Гравюра из книги Я. Ульфельда.
Начало XVII в.*



Князь Михаил Скопин-Шуйский принимает послов в Александровской слободе. Гравюра И. Барановского. XIX в.



*Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский на пиру у князя
Воротынского (1610 год). Рисунок А. Земцова из журнала «Нива»*



Палаш князя М. В. Скопина-Шуйского



Стихарь. Вклад князя М. В. Скопина-Шуйского в Соловецкий монастырь



Благословение преподобным Иринархом Затворником Борисоглебским православного русского воинства. Современная икона

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ КНЯЗЯ МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА СКОПИНА- ШУЙСКОГО

1586, ноябрь — рождение князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского.

1604 — первое упоминание Михаила Скопина в разрядных книгах в чине стольника.

1605 — пожалован самозванцем чином «великий мечник».

По поручению Лжедмитрия I «приводил ко кресту» жителей Ивангорода.

1606, май — участвует в свадебной церемонии Лжедмитрия I и Марины Мнишек, упоминается среди «мовников» царя.

Сентябрь — октябрь — первое сражение на реке Пахре с отрядом Истома Пашкова, участвует в бою под селом Троицким на Коломенской дороге.

Декабрь — назначен воеводой «на вылазке», обороняет Москву от болотниковцев.

2 декабря — командует полком в сражении у села Коломенское; по окончании боевых действий 20-летний воевода пожалован чином боярина.

1606/07, зима — командует «прибылым полком» под Калугой в сражениях против Болотникова.

1607, май — в сражении под Пчельней останавливает бегущее царское войско; в этом же бою убит его дядя Борис Татев.

Июль — октябрь — назначен воеводой Большого полка в сражениях под Тулой; за взятие Тулы пожалован Важской областью.

1608, январь — женитьба на Александре Васильевне Головиной; «дружка» на свадьбе царя Василия Шуйского.

25 июня — командует Большим полком в сражении с войском второго «Димитрия» на реке Ходынка под Москвой.

Август — назначен новгородским наместником и воеводой, едет «нанимать немецких людей» в Швеции.

Сентябрь — мятеж во Пскове, бегство Скопина из Новгорода, убийство новгородского воеводы Михаила Татищева.

Декабрь — первая «отписка» Скопина из Новгорода о сборе земского войска и денег для оплаты наемников.

1609, февраль — заключение договора между Россией и Швецией в Выборге.

5 и 15 апреля — князь Скопин и граф Делагарди подписывают в Новгороде подтвердительные грамоты на Выборгский договор.

10 мая — начало похода на Москву войска под командованием Скопина.

11–13 июля — сражение с тушинцами под Тверью.

18 августа — сражение под Калязином.

27 августа — князь Скопин и генерал-фельдмаршал Сомме подписывают в Калязинском монастыре новую подтвердительную грамоту на Выборгский договор.

9–24 октября — бои под Александровской слободой.

17 декабря — князь Скопин и граф Делагарди подписывают в Александровской слободе дополнительный договор о военной помощи России.

1610, 12 января — уход тушинских войск из-под Троице-Сергиева монастыря, окончание осады.

Февраль — бои под Дмитровом.

12 марта — войско под командованием Скопина-Шуйского вступает в Москву.

23 апреля — смерть Михаила Васильевича Скопина-Шуйского.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Платонов С. Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве. М., 1995.

Флоря Б. Н. Польско-литовская интервенция в России и русское общество. М., 2005.

Тюменцев И. О. Смута в России в начале XVII столетия. Волгоград, 1999.

Костомаров Н. И. Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский // *он же.* Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М., 1993.

Иконников В. С. Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский // Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца. Кн. 1.1873–1877. Киев, 1879.

Каргалов В. В. Московские воеводы XVI–XVII вв. М., 2002.

Назаров В. Д. «Оборонитель Московского государства» // Подвижники России. М., 2002.

Волков В. А. Войны и войско Московского государства. М., 2004.

Соколов А. Поборник Российской державы и Смутное время. Нижний Новгород, 2008.

notes

Примечания

1

Повесть о победах Московского государства. Л., 1982. С. 16.

Белокуров С. А. Разрядные записи за Смутное время (7113–7121 гг.). М., 1907. С. 105, 215, 223–225.

Абрамович Г. В. Князья Шуйские и российский трон. Л., 1991.С. 63–64.

Морозов Б. Н. Новосильцовы // Летопись историко-родословного общества в Москве. Вып. 1 (45). М., 1993. С. 34.

Четверть (или четь) составляла половину десятины. Десятина же в переводе на метрическую систему равнялась примерно одному гектару.

Павлов А. П. Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове (1584–1605). СПб., 1992. С. 163.

Бэкон Ф. История правления короля Генриха VII. М., 1990. С. 171.

Панова Т. Д. Кремлевские усыпальницы. История, судьба, тайна. М., 2003. С. 148.

Полное собрание русских летописей (далее — ПСРЛ). М., 1965. Т. 13. С. 455–457.

Абрамович Г. В. Князья Шуйские... С. 103–105.

Иконников В. С. Князь М. В. Скопин-Шуйский // Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца. Кн. 1.1873–1877. Киев, 1879. С. 103.

Досифей, архим. Географическое, историческое и статистическое описание Соловецкого монастыря. М., 1853. Ч. 1. С. 281; Сохраненные святыни Соловецкого монастыря. Каталог выставки. М., 2001. № 43. С. 158.

Павлов А. П. Государев двор... С. 27, 91.

Платонов С. Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI–XVII вв. М., 1995. С. 126.

Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 260.

Разрядная книга 1559–1605 гг. М., 1974. С. 142.

Борисов Н. С. Иван III. М., 2000 (серия «ЖЗЛ»). С. 532.

Вейнрокс Э. Х. Международная конкуренция в торговле между Россией и Западной Европой. 1560–1640 гг. // Русский Север и Западная Европа. СПб., 1999.

Волков В. А. Войны Московской Руси конца XV–XVI в. М., 2001. С. 166.

Разрядная книга 1559–1605 гг. С. 174.

Гейденштейн Р. Записки о московской войне (1578–1582). СПб., 1889.
С. 200.

Карамзин Н. М. История государства Российского. М.,1989. Кн. 3. Т. 9. С. 191.

Волков В. А. Войны Московской Руси... С. 171.

Первая война России и Европы // Родина. 2004. № 12.

«Повесть о приходе польского короля Стефана Батория под град Псков» // Воинские повести Древней Руси. Л., 1985. С. 372.

Карамзин Н. М. Указ. соч. С. 198.

Дневники походов Батория на Россию (1580–1581 гг.) *Пер. О. Н. Милеского* / Осада Пскова глазами иностранцев. Псков, 2005. С. 332.

Карамзин Н. М. Указ. соч. С. 207.

Дневники походов Батория на Россию... С. 341.

Там же. С. 409.

Там же. С. 412.

Дневники походов Батория на Россию... С. 415, 416, 421.

Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона. СПб., 1893. Т. 10. С. 329.

Дневники походов Батория на Россию... С. 438.

Письмо Ивана IV шведскому королю Юхану III // Иван Грозный / Под ред. С. В. Перевезенцева; сост. Д. В. Бармашов, С. В. Перевезенцев, В. В. Фомин. М, 2002. С. 132–135.

Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Т. 7. М., 1989. С. 221.

Козляков В. Н. Василий Шуйский. М., 2007 (серия «ЖЗЛ»). С. 41–42.

Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 3. Ч. 2. С. 37.

Павлов А. П. Государев двор... С. 31, 46.

Флетчер Д. О государстве Русском. СПб., 1906. С. 42–43.

Соловьев. М. История... Т. 7. С. 189–190.

Сохраненные святыни Соловецкого монастыря. Каталог выставки. № 43. С. 158.

Костомаров Н. И. Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский // *он же.* Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М., 1993; *Иконников В. С.* Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский; *Каргалов В. В.* Московские воеводы XVI–XVII вв. М., 2002; *Назаров В. Д.* «Оборонитель Московского государства» // Подвижники России. М., 2002; *Волков В. А.* Войны и войско Московского государства. М., 2004; *Соколов А.* Поборник Российской державы и Смутное время. Нижний Новгород, 2008; *Богданов А. П.* Михаил Васильевич Скопин-Шуйский // Вопросы истории. 1996. № 8.

Бусева-Давыдова И. А. Культура и искусство в эпоху перемен. Россия XVII столетия. М., 2008.

«О рождении князя Михаила Васильевича» // Изборник славянских и русских сочинений, внесенных в хронографы А. Попова. М., 1869. С. 379. К сожалению, в некоторых статьях и монографиях, посвященных Шуйским, неверно указывается год рождения Михаила — 1587-й.

Святитель Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский, апостол Сибири и Америки, в XIX веке писал по этому поводу: «День именин моих был 2 сентября, то есть в восьмой день по рождении. А в старину многие, держась буквы Требника, так давали имена» (Анисов Л. М. Просветитель Сибири и Америки: Жизнеописание святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2007. С. 21).

Разрядная книга 1475–1598 гг. С. 364, 379.

Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 3. Ч. 2. С. 181–182.

Разрядная книга 1475–1598 гг. С. 459.

После 7100 г. имя князя Василия Федоровича Скопина-Шуйского в разрядных книгах не встречается.

Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 3. Ч. 2. С. 67.

Олеарий Адам. Описание путешествия в Московию // Россия XV–XVII вв. глазами иностранцев. Л., 1986. С. 395.

Рабинович М. Г. Очерки этнографии русского феодального города. М., 1978. С. 160–163.

Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XV–XVII вв. Т. 1.4. 2. М., 2000. С. 140.

Иннокентий (Просвирнин), архим. Блаженны чистые сердцем. М., 2008. С. 82–83.

«О рожении князя Михаила Васильевича». С. 379.

Иконников В. С. Указ. соч. С. 105.

«О рожении князя Михаила Васильевича». С. 379.

Русская азбука в инициалах XI–XVI вв. М., 1998. С. 154.

Там же. С. 6.

Павлов А. П. Государев двор... С. 165.

Список надгробий Троицко-Сергиева монастыря // Горский А. В. Историческое описание. Ч. 2 // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1846. № 2.

Платонов С. Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве... С. 147.

Буссов К. Московская хроника 1584–1613 гг. М.; Л., 1961 (далее — *Буссов*). С. 81.

Вовина В. Г. Патриарх Филарет (Федор Никитич Романов) // Вопросы истории. 1991. № 7–8. С. 56.

Там же. С. 58.

Записки Джерома Горсея//Смута в Московском государстве. М., 1989.
С. 163.

Дело князя Бориса Михайловича Лыкова с князем Дмитрием Михайловичем Пожарским. 1609. Февр. 21 день//Русский исторический сборник, изд. Обществом истории и древностей российских. Т. 2. М., 1838. С. 268.

Его сестра была замужем за Борисом Петровичем Татовым. См.:
Козляков В. Н. Василий Шуйский. С. 284.

Существует предположение, что мать Василия, Ивана и Андрея Голицыных была урожденной Татевой. Мать Бориса Петровича Татев называет их в своем завещании «племянниками». Если это предположение верно, то Борис Петрович Татев приходился им двоюродным братом. См.: *Кобеко Д. Ф.* Родословные заметки о некоторых деятелях Смутного времени // Известия Русского генеалогического общества. Вып. 3. СПб., 1909. С. 6.

Записки Жака Маржерета // Смута в Московском государстве. С. 214.

«Записка о царском дворе, церковном чинопочинии, придворных чинах, Приказах, войске, городах и пр.» // Акты исторические (далее АИ). Т. 2 СПб., 1843.

Савелов Л. М. Лекции по генеалогии. М., 1994. С. 108.

Разрядная книга 1559–1605 гг. М., 1974. С. 351.

Забелин И. Е. Домашняя жизнь русских царей. М., 2006. С. 340–341.

«О рожении князя Михаила Васильевича». С. 385.

Карамзин И. М. История государства Российского. Т. 11. С. 35–36. Гл. 1, прим. 85; *Ненарокова И. С.* Государственные музеи Московского Кремля. М., 1987. С. 55.

Клоботюк В. В. Стольники на Руси // Вопросы истории. 1998. № 5.

«О рожении князя Михаила Васильевича». С. 380.

Вторая редакция хронографа // Изборник... А. Попова. С. 190.

Достоверная и правдивая реляция Петра Петрея (далее — *Петр Петрей*) // Смута в Московском государстве. С. 172.

Записки Ж. Маржерета. С. 212.

Житие Юлиании Лазаревской (Повесть об Ульяне Осорьиной) /
Исслед. и подг. текстов Т. Р. Руди. СПб., 1996.

Записки Ж. Маржерета. С. 206.

Гоголь Н. В. Тарас Бульба // Собр. соч. М., 1984. Т. 2. С. 51.

Записки Ж. Маржерета. С. 206.

Платонов С. Ф. Очерки по истории Смуты... С. 76–80; *Станиславский А. Л.* Гражданская война в России XVII в. М., 1990. С. 11–13; *Усенко О.* Терпи, казак... // Родина. 1993. № 10.

Иное сказание // Русская историческая библиотека (далее — РИБ). Т. 13. СПб., 1909. Стб. 37.

Платонов С. Ф. Очерки по истории Смуты... С. 160.

Волков В. А. Поместное войско (конец XV — перв. пол. XVII в.) // www.portal-slovo.ru

Буссов. С. 271.

Там же. С. 276.

Белокуров С. А. Разрядные записи... С. 5.

Боярские списки последней четверти XVI — начала XVII в. и роспись русского войска 1604 г. М., 1979. Ч. 2. С. 43–44.

Иное сказание. Стб. 35.

Белокуров С. А. Разрядные записи... С. 218.

Забелин И. Е. Минин и Пожарский. Прямые и кривые в Смутное время
// Русский архив. 1872. Т. 1. С. 406.

Забелин И. Е. Минин и Пожарский. Прямые и кривые в Смутное время. С. 887.

Собрание государственных грамот и договоров (далее — СГГид). М., 1819. 4.2. С. 192.

Там же. С. 202.

Там же. С. 174.

Мартин Бер. Московская хроника // Сказания современников о Дмитрие Самозванце / Изд. Н. Г. Устрялова. СПб., 1859. Ч. 1–2. С. 74.

Записки Станислава Немоевского. М., 1907. С. 109.

Там же. С. 114–115.

Иное сказание. Стб. 50.

Записки гетмана Жолкевского о Московской войне / Изд. П. А. Мухановым (далее — *Жолкевский*). СПб., 1871. С. 8.

См., напр.: *Карамзин Н. М. Указ. соч. С. 127; Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М., 1993. С. 419; Богданов А. П. Указ. соч. С. 50; и др.*

«Временник» Ивана Тимофеевича Семенова // Смута в Московском государстве. С. 84.

Масса Исаак. Краткое известие о Московии (далее — *Масса*) // О начале войн и смут в Московии. М., 1997. С. 82.

Там же. С. 84.

Разрядная книга 1550–1630 гг. Т. 2. Вып. 1. М., 1976. С. 228–229.

Записки Ж. Маржерета. С. 219.

Де Ту. История своего времени // Сказания современников о Дмитрие Самозванце. С. 339.

Козьяков В. Н. Василий Шуйский. С. 84.

Мартин Бер. Московская хроника. С. 48.

Там же.

Новый летописец // ПСРЛ. Т. 14. Вып. 1. СПб., 1910. С. 67.

«Временник» Ивана Тимофеевича Семенова. С. 84.

Разрядная книга 1550–1630 гг. Т. 2. Вып. 1. С. 229.

Савелов Л. М. Лекции по генеалогии. С. 105.

Записки Станислава Немоевского. С. 57.

Ключевский В. О. Терминология русской истории. Лекция II // Собр. соч. М., 1989. Т. 6. С. 111.

Горский А. А. Древнерусская дружина. М., 1989. С. 68–70.

Савелов Л. М. Лекции по генеалогии. С. 107.

Левыкин А. К. Военские церемонии и регалии русских царей. М., 1997.
С. 59.

Бычкова М. Е. Московские самодержцы. История возведения на престол. Обряды и регалии. М., 1995. С. 33.

Цит. по: *Левыкин А. К. Указ. соч. С. 61.*

Записки Станислава Немоевского. С. 43.

Белокуров С. А. Разрядные записи за Смутное время. С. 77–78.

Памятники литературы Древней Руси. Конец XVI — начало XVII в.
М., 1987. С. 424–425.

Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографической экспедицией (далее — ААЭ). Т. 2. СПб., 1836. № 48.

См., например: *Даннинг Ч. Царь Дмитрий // Вопросы истории. 2007. № 1; Богданов А. П. Михаил Васильевич Скопин-Шуйский.*

СГГид. Ч. 2. М., 1819. С. 210.

Буссов. С. 285.

Там же.

Записки Станислава Немоевского. С. 64–65.

Маржерет Жак. Состояние Российской империи и великого княжества Московии // Россия XV–XVII вв. глазами иностранцев. М., 1986. С. 275.

Буссов. С. 284.

Из рукописи ксендза Я. Велевицкого // *Жолкевский*. Прил. № 44. С. 174.

Записки Станислава Немоевского. С. 65.

Буссов. С. 284.

Из рукописи ксендза Я. Велевицкого.

Скрынников Р. Г. Самозванцы в России в начале XVII в. Новосибирск, 1987. С. 154.

Мельникова А. Булат и золото. М., 1990. С. 6.

Записки Станислава Немоевского. С. 151.

Форстен Г. В. Балтийский вопрос в XVI–XVII вв. СПб., 1894. Т. 2. С. 88.

Бочкарев В. А. Шведско-русские отношения в Смутное время и осада Пскова 1615 г. // Сборник Псковской губернской ученой архивной комиссии. Вып. 1. Псков, 1917. С. 69–71.

Рябошапко Ю. Б. Русско-шведские отношения на рубеже XV–XVII вв.
// Вопросы истории. 1977. № 3.

Видекинд Юхан. История шведско-московской войны XVII в. М., 2000 (далее — Видекинд). С. 25.

Белокуров С. А. Разрядные записи... С. 218.

Петр Петрей. С. 188.

Скотт В. Записка о России // Старина и новизна. Кн. 14. М., 1911. С. 253.

Соловьев. М. История... С. 240–242; 358–359.

Буссов. С. 286.

Ульяновский В. И. Русско-шведские отношения в начале XVII в. и борьба за Балтику // Скандинавский сборник. Вып. 33. Таллинн, 1990. С. 73.

Отривки из рукописи ксендза Я. Велевицкого. С. 137.

Исаак Масса. С. 127; Донесения о событиях в эпоху Лжедмитрия I, найденные в библиотеке кн. Барберини в Риме. Б. г., б. м.

Исаак Масса. С. 135.

Из рукописи ксендза Я. Велевицкого. С. 146.

Материалы по Смутному времени // Старина и новизна. Кн. 14. М., 1911. С. 526.

Из рукописи ксендза Я. Велевицкого. С. 128.

Там же. С. 171.

Копия с письма Плессена 3 сентября 1605 г. // Старина и новизна. Кн. 14. М., 1911. С. 241–242.

Буссов. С. 291.

Там же. С. 287.

Там же. С. 289.

Там же. С. 294.

Записки Станислава Немоевского. С. 57.

Разрядная книга 1559–1605 гг. С. 81.

Назаров В. Д. Свадебные дела XVI в. // Вопросы истории. 1976. № 10;
Михайлова И. Б. Служилые люди Северо-Восточной Руси в XIV — первой
половине XVI в. СПб., 2003.

Разрядная книга 1559–1605 гг. С. 81.

Записки Станислава Немоевского. С. 58.

Там же. С. 161.

Цит. по: *Флоря Б. Н.* Иван Грозный. М., 1999 (серия «ЖЗЛ»), С. 396.

Жолкевский. С. 25.

Карамзин И. М. История государства Российского. Т. 11. С. 77.

Скрынников Р. Г. Смута в России в начале XVII в. Иван Болотников. М., 1988. С. 26.

Разрядная книга 1550–1630 гг. Т. 2. Вып. 1. С. 233.

Петр Петрей. С. 194.

Геркман Элиас. Историческое повествование // Хроники Смутного времени. М., 1998. С. 232.

Шекспир У. Гамлет // он же. Трагедии. М., 2004. С. 289.

Цит. по: *Кулакова И. П.* Восстание 1606 г. в Москве и воцарение Василия Шуйского // Социально-экономические и политические проблемы истории народов СССР. М., 1985. С. 49.

Записки Ж. Маржерета. С. 227–228.

Там же.

Запись показаний одного из предводителей восставших. 1607 г. октября 10 // Народное движение в России в эпоху Смуты начала XVII в. 1601–1608. М., 2003. С. 174.

Записки Ж. Маржерета. С. 204.

Буссов. С. 325–326.

Из хронографа, принадлежащего историографу Карамзину // Изборник... А. Попова. С. 331.

Князьков С. Е. Материалы к биографии Истома Пашкова и истории его рода // Археографический ежегодник за 1985. М., 1986.

Соловьев С. М. История... Т. 7. С. 285.

Платонов С. Ф. Очерки по истории Смуты... С. 181–182.

Забелин И. Е. Минин и Пожарский. Прямые и кривые в Смутное время. С. 362.

Флоря Б. Н. Польско-литовская интервенция... С. 35.

Бельский летописец // ПСРЛ. Т. 34. М., 1978.

Белокуров С. А. Разрядные записи за Смутное время. С. 9, 42.

Там же. С. 9.

Разрядная книга 1550–1630 гг. Т. 2. Вып. 1. С. 235.

Записки Ж. Маржерета. С. 207.

Цит. по: *Епифанов П. П.* Войско и военная организация // Очерки русской культуры XVI в. Ч. 1. М., 1977.

См.: *Денисова М. М., Портнов М. Э., Денисов Е. Н.* Русское оружие. Краткий определитель русского боевого оружия XI–XIX вв. М., 1952; *Епифанов П. Л.* Оружие и снаряжение // Очерки русской культуры XVI в.

Белокуров С. А. Разрядные записи за Смутное время. С. 88, 145.

Там же. С. 89, 146.

Макиавелли Н. О военном искусстве // Искусство войны. Антология военной мысли. СПб., 2000. С. 86.

Боярский список 1606–1607 гг.// Народное движение в России в эпоху Смуты начала XVII в. в 1601–1608 гг. М., 2003.

Исследователи определяют численность армий таким образом: Е. Разин в 30–35 тысяч человек; Р. Скрынников в 20–30 тысяч, почти вдвое больше И. Смирнов: 60–70 тысяч. См.: *Смирнов И. И. Восстание Болотникова*. М., 1951. С. 266; *Разин Е. История военного искусства*. Т. 3. СПб., 1994. С. 101; *Скрынников Р. Г. Смута в России...* С. 115.

Macca. C. 134.

Там же. С. 327.

Английское известие о 1607 г. *Пер. И. И. Смирнова* / Исторические записки. Т. 13. М., 1942.

«Повесть о видении некоему мужу духовному»//РИБ. Т. 13. Стб. 183–184.

Богомольная грамота митрополиту ростовскому и ярославскому Филарету. 1606 г., 30 ноября // Патриарх Ермоген. Жизнеописание. Творения. М., 1997. С. 89; Восстание И. Болотникова. Документы и материалы. М., 1959. С. 196–197.

Богомольная грамота... С. 91.

Патриарх Ермоген. Жизнеописание. Творения.

Макарий (Булгаков), митр. История Русской церкви. Т. 5. М., 1999.

Богомольная грамота... С. 94.

Цит. по: *Вострышев М. И.* Патриарх Тихон. М., 1995 (серия «ЖЗЛ»).
С. 88.

Белокуров С. А. Разрядные записи за Смутное время. С. 43.

Macca. C. 136.

Дневник Самуила Маскевича с 1594 по 1621 г. // Сказания современников о Димитрии Самозванце. Ч. 2. С. 58.

Повесть о победах Московского государства. Л., 1982. С. 6.

Записки С. Немоевского. С. 150.

Новый летописец. С. 72.

Macca. C. 136.

Английское известие о 1607 г.

Макиавелли Н. О военном искусстве. С. 134.

Разрядные книги 1550–1630 гг. Т. 2. Вып. 1. С. 238.

Macca. C. 136.

Иное сказание. Стб. 109–110.

231

Macca. C. 137.

Изборник... А. Попова. С. 332.

233

Разрядная книга 1550–1630 гг. С. 236.

Древняя российская вивлиофика. Ч. 20. М., 1791. С. 81.

Английское известие 1607 г. о восстании Болотникова.

Епифанов П. П. Войско и военная организация. С. 365–369.

Бельский летописец. С. 245.

Песни, записанные для Ричарда Джемса в 1619–1620 гг. // Памятники литературы Древней Руси. Конец XVI — начало XVII в. С. 536.

Macca. C. 137.

Буссов. С. 328.

Народное движение в России в эпоху смуты... № 16. С. 101.

Новый летописец. С. 75; РИБ. Т. 13. С. 113.

Устав ратных, пушечных и других дел, касаемых военной науки. СПб., 1781. Ст. 82.

Макиавелли Н. О военном искусстве. С. 136.

Иное сказание. Стб. 111; *Белокуров С. А.* Разрядные записи за Смутное время. С. 11.

Изборник... А. Попова. С. 333.

Там же. С. 296.

Буссов. С. 332.

Горский А. В. Историческое описание Троице-Сергиевой лавры. Т. 2. М., 1879. С. 86; Древняя российская вивлиофика. Ч. 20. С. 81.

Macca. C. 137.

Князьков С. Е. Материалы к биографии Истомы Пашкова...

Епифанов П. П. Войско и военная организация... С. 366.

Разрядная книга 1550–1630 гг. Т. 2. Вып. 1. С. 240.

Изборник... А. Попова. С. 336.

Разин Е. А. История военного искусства. Т. 3. С. 123.

Макиавелли Н. История Флоренции. Л., 1973. С. 279.

Горский А. В. Историческое описание Троице-Сергиевой лавры. Т. 2.
С. 86.

Буссов. С. 333–334.

Послание дворянина к дворянину // Памятники литературы Древней Руси. Конец XVI — начало XVII в. С. 533–534.

Сказание Авраама Палицына // Там же. С. 272.

Новый летописец. С. 77.

Геркман Э. Историческое повествование. С. 239.

Буссов. С. 337.

Соловьев. М. История... Т. 8. С. 593, 597.

Новый летописец. С. 76.

Там же. С. 89.

Дневник Я. Велевицкого//Тушинский вор. Личность, окружение, время. Документы и материалы. М., 2001. С. 104.

Баркулабовская летопись// ПСРЛ. Т. 32. М., 1975. С. 191.

Дневник Маскевича // Тушинский вор... С. 59–60.

Мархоцкий Н. История Московской войны. М., 2000. С. 33–34.

Буссов. С. 341–342.

Белокуров С. А. Разрядные записи... С. 12.

РИБ. Т. 13. Стб. 1314.

Мархоцкий Н. История Московской войны. С. 30.

Буссов. С. 341.

Видекинд. С. 55.

Новый летописец. С. 76.

Народное движение в России... № 54. С. 173.

Разрядная книга 1550–1636 гг. С. 243; Новый летописец. С. 76.

Новый летописец. С. 77–78.

Онисим Михайлов. Устав ратных, пушечных и других дел, касающихся до воинской науки. Ч. 1. СПб., 1777. Введение. Существует и другая датировка «Устава» — время правления Лжедмитрия I. Однако автор этой версии, В. Д. Назаров, основывается исключительно на своих предположениях, поскольку, по его собственным словам, «нет прямых данных для предполагаемой гипотезы»; см.: Назаров В. Д. О датировке «Устава ратных и пушечных дел» // Вопросы военной истории. XVIII и первая половина XIX в. М., 1969. С. 217.

Онисим Михайлов (Анисим Михайлович Радишевский) завершит свою работу лишь к 1621 году.

Онисим Михайлов. Устав ратных, пушечных и других дел.

Там же. Ст. 26.

Епифанов. П. П. Оружие и снаряжение. С. 300.

Там же. С. 304.

Епифанов П. П. Войско и военная организация. С. 359.

Видекинд. С. 94.

Онисим Михайлов. Устав ратных, пушечных и других дел. Ст. 58.

Там же. Ст. 71.

«О рожении князя Михаила». С. 380.

Павлов А. Л. Государев двор... С. 34–35.

Древняя российская вивлиофика. Ч. 20. С. 80–82.

Чин бракосочетания царя Василия Ивановича Шуйского с княжною Мариєю (Екатериною) Буйносовой-Ростовской // Белокуров С. А. Разрядные записи за Смутное время... С. 269–271.

Домострой. М., 1990. С. 180–181.

Правда, в одной из разрядных книг имеется, видимо, ошибочная запись о том, что Дмитрий на свадьбе был. См.: *Белокуров С. А. Разрядные записи...* С. 120.

Дневник Марины Мнишек // Тушинский вор... С. 68.

Из Дневника Будилы // Там же. С. 169.

Тюменцев И. О. Смута в России в начале XVII в. Волгоград, 1999. С. 162.

301

Новый летописец. С. 77.

Изборник... А. Попова. С. 298.

Разрядная книга 1550–1636 гг. С. 244.

Мархоцкий Н. История Московской войны. С. 38.

Белокуров С. А. Разрядные записи... С. 122, 251.

Новый летописец. С. 77–78.

См.: *Разин А. Е.* История военного искусства; *Мархоцкий Н.* История московской войны.

Тюменцев И. О. Смута в России... С. 155.

Новый летописец. С. 78.

Там же. С. 78.

Мархоцкий Н. История Московской войны. С. 40.

Там же. С. 38.

Воззвание патриарха. 1609 г. // Патриарх Ермоген. Жизнеописание. Творения. С. 97; *Морозова Л. Е.* Ермоген, патриарх всея Руси // Вопросы истории. 1994. № 2. С. 162.

314

Разрядная книга 1550–1636 гг. С. 245.

Новый летописец. С. 78.

316

Там же.

Мархоцкий. С. 41.

Изборник... А. Попова. С. 299.

Устав... Ст. 28.

Повесть о победах Московского государства. С. 8.

Изборник... А. Попова. С. 341.

Патриарх Ермоген. Жизнеописание. Творения. С. 101–102.

Там же. С. 102.

Тютчев Ф. И. Море и утес // он же. Святилище души. Стихотворения. Переводы. Из писем. М., 2002. С. 63.

Мархоцкий. С. 44.

Там же. С. 49.

Изборник... А. Попова. С. 341.

Воззвание патриарха. 1609 г. С. 100–101.

Петр Петрей.

Форстен Г. В. Балтийский вопрос... Т. 2. С. 68–79.

Соловьев С. М. История... Т. 7. С. 489.

Народное движение в России... № 55. С. 173–174.

Новый летописец. С. 84.

Изборник... А. Попова. С. 299.

Коваленко Г. М. Договор между Новгородом и Швецией 1611 г.//
Вопросы истории. 1988. № 11.

Разрядная книга 1550–1636 гг. С. 247; *Белокуров С. А.* Разрядные записи... С. 14, 48, 123, 162, 187, 254.

Талина Г. В. Государственная власть и системы регулирования социально-служебного положения представителей высшего общества в период становления абсолютизма в России (1645–1688 гг.). М., 2001. С. 157, 253, 332.

«Повесть о некоей брани» // Смута в Московском государстве. С. 71.

Новый летописец. С. 81.

Изборник... А. Попова. С. 299.

Записки С. Немоевского. С. 265.

Изборник... А. Попова. С. 342.

Белокуров С. А. Разрядные записи... С. 122.

Древняя российская вивлиофика. Ч. 20. С. 70, 81, 82. *Татищев Ю. В.* Деятели Смутного времени. М., 1905; *Татищев С. С.* Род Татищевых. СПб., 1900.

Временник Московского общества истории и древностей российских.
Т. 8. С. 34.

Павлов А. П. Государев двор... С. 198.

Соловьев С. М. История... Кн. 4. С. 363.

Новый летописец. С. 84.

Собрание русских памятников, извлеченных из семейного архива графов Делагарди. Юрьев, 1896. С. 14–15.

Видекинд. С. 45.

Пискаревский летописец // ПСРЛ. Т. 34. М., 1978. С. 193.

Рябошанко Ю. Б. Русско-шведские отношения... С. 36.

Вибекинд. С. 59.

Там же. С. 42.

Там же.

Там же. С. 41.

Текст этого соглашения не сохранился. Мы знаем о нем из сообщений шведского историка Юхана Видекинда и текста позднейшего Выборгского соглашения.

Новый летописец. С. 84.

Мельникова А. С. Русские монеты от Ивана Грозного до Петра Первого. М., 1989.

См.: *Проскурякова Г. В.* Классовая борьба в Пскове в период польско-шведской интервенции: Автореф. дис. Л., 1954; *Тюменцев И. О.* Смута в России...

Псковская летописная повесть о Смутном времени // Памятники литературы Древней Руси. Конец XVI — начало XVII в. С. 147.

Тюменцев И. О. Смута в России... С. 203.

Псковская летописная повесть... С. 148.

Аракчеев В. А. Псковский край в XV–XVII вв. Общество и государство. СПб., 2003. С. 175.

Псковская летописная повесть... С. 148.

Там же. С. 150.

Мятлев Н. В. Челобитная Михаила Татищева. М., 1907. С. 7.

«Временник» Ивана Тимофеева. С. 109.

Дневник Марины Мнишек. М., 1995.

«Временник» Ивана Тимофеева. С. 111.

Тюменцев И. О. Список сторонников царя Василия Шуйского // Археографический ежегодник за 1992 год. М., 1994. С. 318.

Опись и продажа с публичного торга оставшагося имения по убиении народом обвиненного в измене Михайлы Татищева в 116 году // Временник Московского общества истории и древностей российских. М., 1850. Т. 8. Смесь.

Мельникова А. С. Булат и золото. С. 89–90.

Новый летописец. С. 85.

Макиавелли Н. О военном искусстве. С. 135.

Записки Ж. Маржерета. С. 221.

Там же.

Macca. C. 73.

Новый летописец. С. 85.

380

Там же.

Мархоцкий Н. История Московской войны. С. 50.

Видекинд. С. 41.

Тюменцев И. О. Смута в России... С. 247.

Новый летописец. С. 85.

«Временник» Ивана Тимофеева. С. 112.

Новый летописец. С. 88.

Рассказ «Косцы».

388

ААЭ. № 95.

АИ. Т. 2. № 156.

Бельский летописец // Тушинский вор... С. 410.

391

ААЭ. № 89.

392

ААЭ. № 99.

393

ААЭ. № 111.

394

ААЭ. № 112.

Новый летописец. С. 85–86.

Там же. С. 86.

397

ААЭ. № 99.

Введенский А. А. Значение Вологды как крупного торгово-промышленного центра на Севере и роль Строгановых в Вологде в XVI–XVII вв. // Север. 1928. № 7/8. С. 30–49.

399

ААЭ. № 134.

400

ААЭ. № 135.

Введенский А. А. Значение Вологды... С. 30–49.

402

ААЭ. № 111.

403

ААЭ. № 136.

404

ААЭ. № 140.

405

ААЭ. № 152.

406

ААЭ. № 88.

407

ААЭ. № 147.

Тушинский вор... С. 359–360.

409

ААЭ. № 137.

410

ААЭ. № 145.

411

ААЭ. № 126.

Мельникова А. С. Булат и золото. С. 96.

413

ААЭ. № 136.

Дело по обвинению дьяка Ивана Тимофеева и протопопа Амоса в утайке образов из опального имущества М. Татищева — см.: *Черепнин Л. В.* Новые документы о дьяке Иване Тимофееве — авторе «Временника» // Исторический архив. 1960. № 4.

415

Там же.

Народное движение в России... № 71, 75. С. 191, 195.

417

Опись и продажа с публичного торга...

Мархоцкий Н. История Московской войны. С. 50.

Видекинд. С. 45.

Текст новгородского договора не сохранился. Роспись известна по более позднему договору 27 августа 1609 года — АИ. № 258.

АИ. № № 158–159; *Видекинд*. С. 45–47.

423

АИ. № 160.

Похлебкин В. В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет в именах, датах, фактах. М., 1995.

Буссов. С. 356.

Там же. С. 351.

Новый летописец. С. 89.

428

АИ.№ 156.

429

АИ.№ 212.

430

Там же.

431

ААЭ. № 89.

432

Видекинд. С. 52.

Гейденштейн Р. Записки о московской войне. С. 177.

Цит. по: *Волков В. А.* Войны и войска Московского государства. С 328.

Видекинд. С. 51–52.

Петров А. В. Город Нарва, его прошлое и достопримечательности.
СПб., 1901. С. 105.

437

ААЭ. № 115.

438

Вибекинд. С. 52.

Боярские списки последней четверти... 1604 г. М., 1979. Ч. 1. С. 239, 247.

Тюменцев И. О. Список сторонников царя Василия Шуйского. С. 318.

441

ААЭ. № 112.

442

ААЭ. № 115.

Тюменцев И. О. Смута в России... С. 437.

Петр Делавиль де-Домбаль. Краткая записка о том, что произошло в
Москвии, от царствования Ивана Васильевича, императора, до Василия
Ивановича Шуйского // Русский вестник. 1841. № 1. С. 750.

Коваленко Г. М. Новгородские переводчики XVII в. // Новгородский исторический сборник. Вып. 7 (17). СПб., 1999.

Буссов. С. 84.

Жолкевский. С. 25.

Повесть о победах Московского государства. С. 9.

Новый летописец. С. 89–90.

450

Опись... С. 10.

451

Видекинд. С. 56.

Устав ратных, пушечных и других дел, касаемых воинской науки. С. 51.

453

АИ. № 189, 196.

454

ААЭ. № 115.

455

Там же.

Видекинд. С. 58–59. Выделено мной.

Там же. С. 59.

Новый летописец. С. 90; *Видекинд*. С. 60; ААЭ. № 122.

Тюменцев И. О. Смута... С. 439.

Жолкевский. С. 25.

461

Новый летописец. С. 90.

Мархоцкий Н. История Московской войны. С. 51.

463

ААЭ. № 128.

Разин Е. А. История военного искусства. XVI–XVII вв. М., 1999. С. 349–350.

Тушинский вор... С. 178.

Псковская летописная повесть... С. 150.

467

Новый летописец. С. 90.

Псковская летописная повесть...

Епифанов П. П. Крепости // Очерки русской культуры XVI в. Ч. 1. М., 1977. С. 323.

470

ААЭ. № 125.

471

ААЭ. № 121.

472

ААЭ. № 123.

473

ААЭ. № 127.

474

Иное сказание. Стб. 118.

475

Сказание Авраамия Палицына.

476

Macca. C. 146.

Письма Смутного времени // Хроники Смутного времени.
Приложение. М., 1998. С. 453.

Собрание русских памятников, извлеченных из семейного архива графов Делагарди. С. 15–16.

Эта дата сообщается в отписке Скопина царю: ААЭ. № 122. По другим сведениям, Скопин покинул Новгород 25 мая. См.: «Временник» Ивана Тимофеева. С. 127.

Белокуров С. А. Разрядные записи... С. 100; Видекинд. С. 65–66.

Повесть о победах Московского государства. С. 10.

Мархоцкий Н. История Московской войны. С. 54.

483

ААЭ. № 122.

Новый летописец. С. 91.

Герберштейн Сигизмунд. Записки о московитских делах // Россия XV–XVII вв. глазами иностранцев. С. 102.

Вибекинд. С. 70–72.

Там же. С. 70–71.

Мархоцкий Н. История Московской войны. С. 55

Новый летописец. С. 91.

Шаховской С. И. Летописная книга // Изборник... А. Попова. С. 301.

491

Из Дневника Будилы // Тушинский вор... С. 180.

492

ААЭ. № 130.

493

Из Дневника Будилы. С. 180.

Устав. Ст. 86.

Новый летописец. С. 91.

Дююи Э., Дююи Т. Всемирная история войн. Кн. 2. С. 175.

Видекинд. С. 72–73.

Хорошкевич А. А., Плигузов А. И., Коваленко Г. М. Апология Юхана Видекинда // Видекинд. С. 531.

Буссов. С. 158.

Хорошкевич А. А., Плигузов А. И., Коваленко Г. М. Указ. соч. С. 557–558.

Якубов К. И. Россия и Швеция в первой половине XVII в. Сб. материалов. М., 1897. С. 17.

Хорошкевич А. А., Плигузов А. И., Коваленко Г. М. Указ. соч. С. 534.

Пенской В. В. Попытка военных реформ в России начала XVII в. // Вопросы истории. 2003. № 11.

Иконников В. С. Князь М. В. Скопин-Шуйский. С. 130.

Новый летописец. С. 91.

506

ААЭ. № 137.

507

ААЭ. № 132.

Тушинский вор... С. 353.

Там же. С. 354–355.

510

ААЭ. № 139.

Новый летописец. С. 91.

512

АИ.№ 230.

Видекинд. С. 79.

514

Там же.

Бибиков Г. Н. Опыт военной реформы 1609–1610 гг // Исторические записки. 1946. № 19. С. 12.

Разин Е. А. Указ. соч. С. 352–353.

Сказание Авраамия Палицына. С. 266.

Мархоцкий Н. История Московской войны. С. 56.

Новый летописец. С. 91.

Сказание Авраамия Палицына. С. 266.

521

Там же. С. 266.

Тюменцев И. О. Смута в России... С. 452–453.

Акты времени правления царя Василия Шуйского (1606–1610)/ Собрал и редактировал А. М. Гневушев. М., 1914. № 91. С. 117–140.

Архивы иностранной коллегии: проезд в Москву шведских ротмистров Якоба Корбени и пр. Письмо царю Василию Шуйскому Я. Делагарди 17 августа 117 года // *Щербатов М. М.* История Российская. Т. 7. Ч. 2–3. СПб., 1791. Приложения. № 32. С. 143–148.

Там же. № 33. С. 148–149.

526

Там же. № 34. С. 151.

Там же. № 35. С. 153–165.

Акты времени правления... № 91.

529

Там же.

530

АИ.№ 255, 257,258.

Повесть о победах Московского государства. Приложения. С. 88–89.

Там же. С. 14.

Видекинд. С. 83.

534

АИ. № 274.

Вейнрокс Э. Х. Международная конкуренция в торговле между Россией и Западной Европой... С. 34.

Мархоцкий Н. История Московской войны. Приложение. С. 169.

Депеша французского агента к своему Двору о состоянии дел в России в апреле 1610 г. // *Жолкевский*. Приложение № 21. С. 51.

Новый летописец. С. 92–93.

539

Там же.

Там же. С. 97.

541

АИ.№ 258.

Белокуров С. А. Разрядные записи... С. 53; *Шаскольский И. П.* Шведская интервенция в Карелии в начале XVII в. Петрозаводск, 1950. С. 167.

Тушинский вор... С. 366–367.

Цит. по: *Флоря Б. Н.* Польско-литовская интервенция в России и русское общество. С. 153.

Там же. С. 107.

Житие преподобного Иринарха // РИБ. Т. 13. СПб., 1909. Стб. 1372–1385.

По данным Я. Сапеги; см.: Тюменцев И. О. Смута... С. 451.

Видекинд. С. 84.

Тюменцев И. О. Разгром сапежинцев войском Скопина-Шуйского в боях у Александровой слободы, Троице-Сергиева монастыря и Дмитрова в конце 1609 — начале 1610 г. // *Зубовские чтения*. Вып. 2. 2004. С. 67.

Народное движение в России в эпоху Смуты... С. 338–339.

Новый летописец. С. 92; Дневник Будилы. С. 181.

Видекинд. С. 87.

Жолкевский. С. 36.

Повесть о победах Московского государства. С. 12.

Николаева Т. В. Народная защита Троице-Сергиева монастыря в 1608–1610 гг. М., 1954; *Тюменцев И. О.* Страницы истории Троице-Сергиевой лавры: осадное сидение 1608–1610 гг. // Историко-археологический альманах. Вып. 2. Армавир, 1996.

Сказание Авраамия Палицына. С. 178–180.

557

АИ. № 242.

Тихон (Полянский), иеромонах. Путешествие в историю русских монастырей. М., 2002. С. 74.

Геркман Э. Историческое повествование. С. 246.

560

АИ. № 241.

561

АИ. № 237.

«О рожении князя Михаила Васильевича». С. 381.

563

АИ. № 240.

Тюменцев И. О. Страницы истории Троице-Сергиевой лавры... С. 218.

РИБ. Т. 13. Стб. 1383.

Сказание Авраамия Палицына. С. 199.

Новый летописец. С. 95.

Видекинд. С. 95.

Белокуров С. А. Разрядные записи... С. 54; *Шепелев И. С.* Освободительная и классовая борьба в Русском государстве в 1608–1610 гг. Пятигорск, 1957. С. 511.

Мархоцкий Н. История Московской войны. С. 62.

571

Новый летописец. С. 96.

Мархоцкий Н. История Московской войны. С. 56.

Там же. С. 63.

Геркман Э. Указ. соч. С. 247.

Видекинд. С. 107.

Исторические песни. Баллады / Сост. С. Н. Азбелев. М., 1991. С. 262.

Новый летописец. С. 96.

Белокуров С. А. Разрядные записи... С. 224–225; Буссов. С. 166.

579

ААЭ. № 155.

580

РИБ. Т. 13. Стб. 1384.

581

Сохраненные святыни Соловецкого монастыря... № 81, 100, 104.

«О рожении князя Михаила Васильевича». С. 383.

Версии подробно изложены в статье В. С. Иконникова «Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский».

Панова Т. Д. Некрополи Московского Кремля. С. 76–77.

Там же. Приложение 6. С. 217–218.

Псковская летописная повесть... С. 158.

Новый летописец. С. 97.

Видекинд. С. 108; АИ. Т. 2. № 282.

«Писание о преставлении и погребении князя Скопина-Шуйского» // Памятники литературы Древней Руси. Конец XVI — начало XVII в. М., 1987. С. 60.

Исторические песни. Баллады. С. 262–263.

Азбелев С. Н. Поэтизация исторических событий в былине // Русская литература. 1982. № 1.

«Писание о преставлении...» С. 64.

Панова Т. Д. Кремлевские усыпальницы. История, судьба, тайна. С. 76.

Карамзин Н. М. История... Т. 13. С. 128.

Повесть о победах Московского государства.

Козьяков В. Н. Василий Шуйский. С. 256.

История внешней политики России конца XV–XVII в. М., 1998. С. 208–209.

Горский А. В. Список надгробий Троице-Сергиева монастыря. Историческое описание. Ч. 2 // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1846. № 2.

Соколов А. Поборник Российской державы в Смутное время. Нижний Новгород, 2008. С. 16.